АРСЕН ТИТОВ



ТЕНЬ БЕХИСТУНГА

Annotation

Роман известного уральского писателя Арсена Титова “Под сенью Дария Ахеменида” — вторая часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 7,8 журнала «Урал» 2012 г.

Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.

Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.

Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.

В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».

Арсен Титов
Под сенью Дария Ахеменида

Глава 1

В первый день зимы прошлого, пятнадцатого, года мы вошли в Хамадан прямо с противоположной стороны, нежели чуть более двух тысяч лет назад в него вошел Александр Македонский.

У нас за спиной были Энзели, Решт, Менджильский мост, Казвин, Тегеран, Элче, Султан-Булаг, Аве — то есть мы позади себя оставили то, что этому герою древности еще предстояло. За его спиной были в современном названии Ханекин, Каср-и-Ширин, Сармиль, Керинд, Керманшах, Бехистун, Сахне, Кангевер, Бидессур, Асад-Абад, Зере, Шеверин — то есть то, что предстояло нам. Мы пересеклись в Хамадане, при нем называемом Экбатаной, и всякий из нас, не сговариваясь, ступил на путь другого. Но всякому из нас достался при этом свой путь.

Думается, без какого-либо толмача понятно, что речь идет о Персии. О том же, как мы в ней оказались, я попробую сказать самым кратким образом. Но начать речь мне придется едва ли не со времен царя Гороха, то есть с того момента, когда я оставил аул Хракере.

Нас с сотником Томлиным прежде всего доставили в Батум, и батумцы решительно захотели оставить нас у себя. Их предположение о быстрейшем нашем излечении под их неусыпной и сердечной опекой, высказанное более всех шумным поручиком Шерманом, безусловно, победило бы. Но препятствием стал влажный батумский воздух, которого не смогли перенести мои отмороженные легкие. Генерала Михаила Васильевича Алимпиева в городе не было. Он получил назначение командиром формирующейся бригады. Однако сменивший его в должности начальника штаба гарнизона подполковник Караулов, происходивший из терских казаков и отличившийся в Сарыкамыше, соотнесся с ним. Михаил Васильевич тотчас хотел настоять на отправке нас в Крым, но вовремя вспомнил о германских подводных лодках и крейсерах, без разбора отправляющих на дно наши суда даже под Красным Крестом.

— В таком случае я полагаю предоставить ему собственный выбор. Хотя в Тифлисе сейчас слишком жарко. А вот в Борджоме было хорошо! — сказал Михаил Васильевич.

Я выбрал Горийский госпиталь. А почему я выбрал именно его, не знаю. Вернее, я знаю, но не совсем. Или знаю, но не точно. Или знаю, но не могу объяснить. С самой минуты, как я осознал, что я остался без нее, без моей Ражиты, то есть лишь я осознал, что остался на этом свете один, я потянулся в Горийский госпиталь, будто мог там обрести свой дом, свой угол, который бы дал мне счастье забыться. Я понимал, что было подло требовать отправки нас в Горийский госпиталь, — по сути, к Ксеничке Ивановне. Но я потянулся туда. И слабых моих сил не хватило этой тяги утишить. Я опять походил на избалованного ребенка или, сказать точнее, пакостливого ребенка. Ведь я уже стал понимать, что мне никогда никого не будет надо. Во мне осела пустота. Она оказалась мучительней физических страданий, которые хотя бы были переносимы тем, что отбирали силы на себя. А пустота не стала давать мне ни секунды отдыха. Она распирала меня так, что я

ощущал себя бочкой и даже чувствовал сдавливающие меня ободья этой бочки. От физических страданий я хотя бы лишался сил и впадал в забытье. От пустоты я никуда уйти не мог. Я знал, что нам не свидеться даже там, где она была сейчас. Ведь я был христианином, а она мусульманкой. Да и более того, я предполагал, что там, где якобы она сейчас была, то есть на небесах, вообще нет ничего, нет ни ее, нет ни самих небес. Но я стал думать, не принять ли мне мусульманство, чтобы хоть этаким шагом оставить ее во мне самом.

Еще в гимназии мой одноклассник Сергей Фельштинский, выкрест по родителям и уже во втором поколении православный человек, после прочтения “Тараса Бульбы” признался мне, что его пленил образ Андрия — не Остапа, как бы следовало ожидать по общей нашей ребячьей оценке, а именно Андрия.

— Вот он — единственный настоящий образ! Он за любовь пошел на гибель! — в полном убеждении сказал мне Сергей.

— Он предал товарищей, Сережа! — попытался я разубедить его. — Ты же помнишь, как сказал Тарас: “Нет уз святее товарищества!”

— Боря, нет! Андрий подлинный рыцарь. За миг обладания прекрасной своей возлюбленной он пошел на гибель. Ведь он знал, что ему придется выйти против своих и, конечно, погибнуть. Но он пошел на это. Он пошел на это, Боря! Я хотел бы погибнуть такой смертью! — неколебимо сказал Сергей.

И теперь, то есть не теперь, а тогда, в июне позапрошлого года, я стал понимать Сергея, кстати, как написала мне сестра Маша, ушедшего в армию вольноопределяющимся и получившего в Карпатах тяжелое ранение.

Я лежал недвижный, весь обернутый в бинты и похожий на младенца Николу с иконы, а сам мечтал о мусульманстве, о продаже души — только бы обмануть себя верой о встрече с ней хотя бы там, после смерти. Я не верил в небеса, но лежал и мечтал о них.

Уже потом, когда я стал выходить в город, я пришел к сапожнику Вахтангу, персу, в прошлый раз сшившему мне сапоги. Он узнал меня. Я попросил научить меня какой-нибудь мусульманской молитве, любой, какую он знает. Он просьбы сильно испугался. Он, кажется, все понял так, что я пытаюсь вызнать его лояльность к нам. Отношения наши с Персией к той поре стремительно портились. Персия была буквально наводнена или, вернее сказать к ее безводному климату, как песком, была засыпана различного рода бандами, германскими и турецкими агентами, бесцеремонно толкающими персидское правительство, шаха и обывательские массы против нас. Как раз в эти дни был убит наш вице-консул в Персии Александр Кавер. Многие наши миссии подверглись нападениям, оставили свои места и искали защиты в Казвине, городе, где располагалась персидская казачья бригада полковника Прозоркевича, та самая бригада, которой ранее командовал генерал Ляхов и в которой служил Саша. Сообщалось, что в Персию сквозь малочисленную завесу казачьих постов из нашего Туркестана бегут немецкие и австрийские военнопленные, сбиваются в боевые подразделения, обучают местные племена современному бою. С турецкой же стороны в Персию постоянно прибывают регулярные части.

В такой обстановке мой визави, потомок Дария, гонявшегося за скифами в оны годы, сапожник Вахтанг, жутко моей просьбы испугался, и я ничего добиться не смог. Пустота осталась, хотя со временем чуть поослабла и утишила мое желание превратиться в Андрия Бульбу.

Кстати, нападение на мой аул столь сильного отряда четников возбудило наше командование. Губерния пошла писать — то есть плешивые штабсы и прокурорские чины сели на нас с сотником Томлиным верхом, взнуздали самыми суровыми мундштуками. Но в конце концов мои действия по командованию гарнизоном и управлению аулом были признаны отвечающими уставным и инструктивным нормам, хотя было объявлено нарушением этих норм переложение командования гарнизоном в ту ночь на подпоручика Леву Пустотина. Но зачтено мне было в заслугу то, что я своим поступком отвернул аул от четников.

Вот так было со мной. Мои руки, пробитые гвоздями, удалось спасти. Кто-то из четников постарался прибить меня, но он не задел сухожилий. Более-менее восстановился и нос. Из прямого он стал криво-горбатым, с поперечным шрамом. Но это было лучше, нежели он остался бы сплющенным, как часто остается от перелома.

Не то было с сотником Томлиным. Обморожение его оказалось непоправимым. Ему отняли несколько пальцев. Раны гнили. Несмотря на боль, жуткие бытовые неудобства и душевные терзания от сознания своей инвалидности, он держал себя так непринужденно, будто ничего не случилось. Он даже был доволен оборотом дела и говорил, что теперь сравнялся со своими бутаковцами.

— Они все померзли. Ну и я будто с ними померз! — говорил он.

Он подлежал увольнению со службы. Я уговаривал его согласиться на мое ходатайство перед генералом Юденичем о разрешении ему службы. Он отказывался и выходил из себя.

— Да не надо мне никакой службы, Лексеич! — отказывался он.

Однако, когда на мой запрос пришел положительный ответ, он внимательно и как бы что-то в уме считая поглядел на меня.

— В службу так в службу! — согласился он, а увидеть, доволен он или не доволен, было нельзя.

Вообще, он оказался несколько другим, нежели я мог предположить. Он был умным и образованным, всегда спокойным до холодности. Наши отношения были глубокими. Но с его стороны их нельзя было назвать приязненными. Я порой искал, отчего при этих отношениях он меня держится. Объяснить это только его инвалидностью и перспективой увольнения из армии, если бы я за него не ходатайствовал, было неправильным. Служба, конечно, была его жизнью. Но он ни разу даже намеком не поблагодарил меня. А порой мне казалось, что он за это ко мне даже в претензии, особенно когда был пьян. В пьяном виде он чаще был непереносим, нежели сносен, и мог позволить себе гадости.

— Ну что, ваше высокоблагородие, — начинал он говорить о том, как во мне все плохо вплоть до моего академического образования, раннего моего чина и

ордена. — Да и имя-то тебе, ваше высокоблагородие, дали соответствующее: Боооренька! — куражисто говорил он, хотя ничего “соответствующего”, то есть, надо полагать, очень уж неприличного, в моем имени не было.

А я, не терпящий от других даже случайного косого взгляда, от него терпел все. Я любил его вместо Саши. Он это видел. Возможно, он тоже любил меня вместо Саши. Но чувства своего не мог выразить и только вот таким образом издевался. Протрезвев, он замыкался.

За долготерпение его в госпитале любили, особенно сестрица Татьяна Михайловна. Мне казалось, что между ними даже складывалось чувство. На день именин и потом на Рождество она присылала ему по открытой почтовой карточке с нежным поздравлением. А он, будто у меня научился, не ответил.

Из госпиталя мы вышли вместе. Назначением мне было в Первую Кавказскую казачью дивизию генерала Баратова, только что превосходно себя проявившую в боях под Алашкертом и на Агри-Даге. Ее удар во фланг прорвавшему наш фронт турецкому корпусу решил исход всей операции. О дивизии много и восторженно говорили. Назначение было лестным. Я был введен в кадр, но по отсутствии вакансий — без назначения в должность. В условиях войны это было странным — ведь армии не хватало офицеров, тем более не хватало офицеров довоенного обучения, прошедших полный курс училищ, не говоря уж о моей академии. Но стало известно, что дивизия готовится для особой миссии, каковая осуществилась вскоре же, и вскоре же я был назначен в должность инспектора артиллерии корпуса, или, по новой моде к сокращениям, на должность инаркора Экспедиционного корпуса, развернутого из нашей дивизии приданием ей некоторых пехотных, пластунских, инженерных и артиллерийских частей. Артиллерию корпуса составили две казачьи и одна Туркестанская батарея. Сотник Томлин находился при мне с неопределенным кругом обязанностей, то есть вообще без обязанностей. Я было попытался определить его в Терскую казачью батарею, где некоторое время замещал должность командира, но все должности там были заняты. Должность адъютанта, например, там исполнял старый, призванный из учителей математики, капризный и очень о себе мнящий хорунжий Комиссаров, которого все не любили и откровенно сторонились. Хозяйственную службу вел вахмистр батареи подхорунжий Касьян Романович Косов, как и положено, с двумя каптенармусами — артиллерийским, отвечающим за боевое снабжение, и вещевым, отвечающим за все остальное. Ни при ком из них, равно же как ни при ветеринарном фельдшере, ни при огневых взводах, прижиться сотник Томлин не захотел, кажется, даже и не мог. И в конце концов само собой определилось ему быть просто при мне. Такой должности штат не предполагал. Но ему вполне хватало его маленькой инвалидной пенсии. Да и, как говаривала моя нянюшка, рты — не порты, где семеро раззявятся, там и восьмой — товарищ, разумея под портами не морские причальные сооружения и гавани, а обыкновенные штаны, которые ни на семерых, ни на восьмерых враз не оденешь.

Кажется, все определилось хорошо. Но по едва заметным приметам я видел, что он все время чем-то тяготился. Эти приметы укладывались, например, в короткие и редкие воспоминания какого-нибудь эпизода из прошлой службы на Кашгаре, сказанного так, что можно было после его слов предполагать явное его неприятие

нынешней службы.

— Ведь вот здесь шшемит! — иногда, особенно будучи пьян, тыкал он крючковатой культей себе против сердца.

С новыми боями и новыми смертями она, моя Ражита, от меня отдалилась. Если бы она была все время при мне, я бы, наверно, сошел с ума. Сколько это было ни эгоистично, но это было законом жизни, по которому живой должен был думать о себе. Пустота не ушла. Ободья ее сдерживали. Я был тупым в чувствах, и это меня устраивало.

И вот теперь можно сказать краткую справку, объясняющую нашу миссию, то есть наше пребывание Экспедиционным корпусом в этой стране, то есть в Персии.

Как некогда Нестор сказал о древнем нашем Отечестве, что земля наша велика и обильна, только вот порядку в ней нет, так и про Персию можно было бы сказать подобными же словами с тем лишь замечанием, что сказать так мог только европеец, ибо порядок, своеобразный порядок, которого европеец принять не в состоянии, в Персии все-таки был. И если принять этот порядок за фатальную неизбежность, то и в Персии можно было жить хорошо, как жили в ней хорошо даже те народы, которые персидскими обычаями подвергались презрению и глумлению. Например, перс боится попасть под дождь. И боится он попасть под него не потому, что по редкости его в этой стране дождь является чем-то необычным. Не потому, что непривычному персу дождь мог неприятно щекотать открытые части тела. А потому, что перс себе представлял страшную картину, как дождь прежде падает на человека, принадлежащего к нечистому, в его персидском воображении, народу, в которых они числят армян, евреев и гебров, и только потом стремится к персу, принося таким образом ему, персу, болезнь, горе и прочие напасти. И тем не менее, числясь в нечистых, армяне, евреи и гебры проживают в Персии во множестве. И живут они здесь весьма не бедно, большей частью гораздо богаче основной массы самих персов, что — если в шутку — наталкивает на мысль, а уж совсем ли не прав бедный перс в своем страхе перед дождем.

А если серьезно, то, по нашим европейским представлениям, здесь правит обыкновенный произвол, произвол чиновников от самого малого сельского старшины до самого большого визиря и самого шаха. И опирается этот произвол только на деньги. Я вполне разделяю это европейское мнение, так как насмотрелся довольно всякого, хотя, как уже сказал, вынес свое мнение о существовании в этом произволе своеобразного порядка. Но в целом ни душевного порыва во имя Отечества, ни подвига самопожертвования, ни преданнейшей безупречной службы, ни даже родственных чувств оценить это государство не в состоянии. Оно знает только одно мерило — деньги. Это мерило сделало свое дело. Например, военная служба — залог безопасности государства и его граждан — здесь пользуется крайним презрением. Воинские чины и должности здесь являются таким же предметом торговли, как знаменитые персидские ковры, как плохо пропеченные и грубые их лаваши, как вообще все. По курсу академии нам давали сведения о Персии даже такого характера, в которые я ни за что бы не поверил, не приведи меня судьба в эту страну. Тот же шах не постеснялся, например, продать должность султана, то есть командира батальона, за огромную сумму своему родному дяде, но

через некоторое время совершенно хладнокровно продал эту должность другому соискателю только потому, что тот заплатил больше. И дядя должен был принять сей поступок своего царственного племянника за особую к нему милость. Во всяком случае, дядя преподнес ему за лишение его должности султана весьма ценный подарок, который тот благосклонно принял.

Или вот пример из еще более близких мне сфер. Персидская артиллерия до недавней поры насчитывала тысячу стволов различного калибра. Но из них пригодно стрелять было только каждое десятое. Да и это каждое десятое орудие безвыходно пребывало в парках, никогда ни на какие мероприятия не вывозилось из боязни, что его украдут и армия вообще останется без артиллерии. Что сказать — логика чисто персидская. Однако же, пребывая здесь уже более года, я нашел в отношении персов к артиллерии еще кое-что. Мне показалось, что сюда примешивался не только страх потерять артиллерию, но и страх персов перед всем, что связано с артиллерией вообще. Еще Вано из госпитального моего городишки Гори, знавший Сашу по персидским революционным событиям, говорил об этом же, говорил, как персы боялись их бомб. Они, персы, будучи властителями огромных территорий и покорителями многих народов на протяжении тысячи лет, каким-то непостижимым образом остались в своей психике на уровне средневековья и не приобрели ни иммунитета, ни любви к стреляющему оружию. Безжалостные и упорные в бою на холодном оружии, они, поверхностно освоив ружье, до отчаяния не могли понять, зачем же надо было придумать еще и артиллерийское орудие. Собственно, само персидское название артиллерийского орудия несет эту психологическую неприемлемость. Ружье они называют словом “топ”. А артиллерийское орудие они называют словом “топхана”, что можно перевести как средоточие ружей, то есть ружья, которое в себе сосредоточивает силу многих ружейных выстрелов.

И если они смотрели на Вано и его друзей-боевиков, бросающих бомбы, как на слуг дьявола, то на меня, управляющего орудиями и поражающего противника на четырех-пяти верстах, даже не видя его, они смотрели как на самого дьявола.

Несправедливым было бы умолчать о глубокой, шедшей из самой глуби веков и тысячелетий культуре Персии, опять же резко отличающейся от европейской, но имеющей среди европейцев и среди русских подлинных ее ценителей. Уже здесь, в Персии, я познакомился с одним таким человеком, Евгением Викторовичем Дунаевым, служащим по Союзу земств, то есть занимающимся обустройством и снабжением госпиталей, питательных пунктов, бань, в общем, обустройством нашего тыла.

С давних пор эта страна была сферой борьбы между нами, Российской империей, и Британией. В конце концов мы установили свое влияние на северную часть Персии, а Британия — на южную. С началом же войны Германия и Турция стали прилагать все усилия перетянуть Персию на свою сторону. И это у них при абсолютной слабости центральной власти очень ловко получилось. Они не только возбудили население против нас и британцев, но они возбудили еще и соседний Афганистан, что, собственно, нетрудно было сделать после многократных попыток Британии установить над ним свое господство, но довольно трудно было сделать по

традиционно небрежительному отношению афганцев к персам, слывущим у них в военном отношении бабами. В такой обстановке было с чего персидскому правительству, извините, завихляться. Оно и завихлялось.

И летом же пятнадцатого года был усилен малочисленный отряд казаков полковника Гущина. Его отряд был доведен до двух полков Семиреченского казачьего войска и стал составлять своего рода завесу вдоль афгано-персидской границы до соприкосновения с такой же завесой со стороны британцев. Эта завеса представляла собой всего лишь разбросанные на тысячеверстном пространстве малочисленные казачьи разъезды, живущие помногу дней бивуаками, в отрыве от своих и в постоянной угрозе нападения, но и в сознании своей значимости на этой тысяче верст.

Нужно было видеть, как пожелтели карие глаза сотника Томлина при моем рассказе об этой завесе. Такая служба была самой природой сотника Томлина.

Он долго смотрел на меня, поджимал губы и крутил в круассан свой мягкий черный ус. Потом долго смотрел на хребет, будто за ним были его Кашгарка или Хорасанская область Персии, в которой завесой встали семиреченцы. Вечером я его застал за листом бумаги и было подумал, не пишет ли он прошение о зачислении его к семиреченцам. Но сотник Томлин рисовал схему Туркестана и пытался нарисовать схему Персии и Афганистана. Увидев меня, он оторвался от листа.

— Вот, ваш высокоблагородь. А подамся-ка я в вашу Хорасанку. Только что-то не вспомню, как она расположена, — укрыл он свое смущение народным говором.

Я нарисовал ему наш Хорасан и британский Сеистан, отметил тамошние города, близ которых, по моему разумению, должна была проходить завеса.

— Нууу, — сказал он, словно уже все понимая, но еще чего-то ожидая.

Не зная, что он еще ждет, я от нашей границы к Индийскому океану нарисовал несколько извилистую линию, долженствующую обозначить персидско-афганскую границу.

— Так от Хорасанки-то можно напрямки смыкануть на Кашгарку! — воскликнул он.

— Только смыкайте, сотник, мимо Мешхеда. Я из курса академии помню, Мешхед отличается особым наличием женщин легкого поведения и особым фанатизмом дервишей. Кто-нибудь да подзадержит. Да вдруг подзадержит надолго! — в тон ему сказал я.

— Туть! — скептически сказал он. — Это не преграда. И тех и других мы на Кашгарке плетовьем гоняли, как селезня по Заячьей горе!

И более он о Хорасанке не вспоминал, хотя явно там ему нашлось бы много больше работы по его устроению натуры.

Персидского шаха наши дела впечатлили. Он забыл про вихляния и, несмотря на угрозы со всех сторон, взял российскую сторону. При этом совершенно возбудилось местное духовенство.

— Если шах не удовлетворит желания нации и духовенства, — заявило оно о собственном желании держать сторону Германии, — он не только будет, подобно своему отцу, свергнут с трона, но подвергнет большой опасности всю династию!

И если слово “нация” не явилось плодом плохого перевода на русский язык, а было действительно употреблено, то вполне определенно можно было судить, где была изготовлена та лайковая перчатка, в которую была спрятана рука, составляющая это заявление.

Я, кажется, впал в литературные формотворчества и ернический тон. А положение наше в Персии и в позапрошлом пятнадцатом, и в прошлом шестнадцатом году было далеко не столь литературным. Наши силы состояли только из перечисленных полков, отдельных команд и батарей с небольшим количеством пограничной стражи. Надо знать, что казачьи полки, несмотря на громкие наименования, имели в штате только шесть сотен по сто двадцать шашек в сотне. То есть вся наша Первая Кавказская казачья дивизия четырехполкового состава имела менее трех тысяч шашек. И думаю, я не открою государственной и военной тайны, если скажу, что весь наш Экспедиционный корпус имел по списку двести девяносто офицеров, подавляющая масса которых были обер-офицерами, то есть в чинах от хорунжего и подпоручика до подъесаула и штабс-капитана, а также двенадцать тысяч шестьсот нижних чинов при девятистах восьмидесяти нестроевых. Заняли же мы территорию, которую всякий определит на карте по означенным мной населенным пунктам, взятым нами с бою. Одновременно мы растянули наши коммуникации, оставив на наиболее опасных участках небольшие пикеты и команды, на полторы тысячи верст — и верст не европейских и даже не российских, а азиатских, с абсолютным отсутствием дорог и с абсолютно недружественным населением, среди которого особо выделялись курды.

Командир корпуса, или, как стало принято сокращать слово, комкор, генерал Николай Николаевич Баратов получил полномочия диктаторского характера, то есть получил полномочия применять силу решительно и без промедления, но лишь в самых необходимых случаях, в остальной же деятельности силу только демонстрировать и отклонять шаха, правительство и вообще персидское общество от губительных действий дипломатией и уважением ко всему, что принадлежит к персидскому образу жизни. Полковник Иван Никифорович Колесников вместо того, чтобы ворваться в уже упомянутую святыню мусульман город Кум на плечах разгромленного неприятеля, остановил своих казаков возле городских стен и не вошел в город, пока не обсудил с местным духовенством расположение казаков вне мест, представляющих для мусульман особую святость, и тем не затронул религиозных чувств горожан. Пронеслась весть о гяуре Иване, отнесшемся к святому городу с самым должным уважением. Но надо не знать Азию, чтобы поверить в долговременность нашего успеха. Только оттаявшие глаза местных обывателей в следующую минуту под воздействием мулл и дервишей снова подернулись пеленой неприязни, а то и самой откровенной вражды. Азия любит только силу. И силу ей демонстрировать надо ежеминутно.

Вот таково было обстоятельство.

Я намеренно до последней возможности оставлял что-либо сказать о Ксеничке

Ивановне. Ее письма ко мне в Хракере я так и не прочитал. И Ксеничка Ивановна ни разу меня о нем не спросила.

Нас выносили из вагона на Горийском вокзале. Вокзальчик с небольшой площадью под пятой могучего хребта по-прежнему был намертво забит местным обывательским и эвакуированным людом. Коридор для санитарного транспорта, устроенный от вокзального здания в сторону багажных помещений, где стояли санитарные фуры, соблюден был плохо и тоже был забит людьми с мешками и баулами. Нас тащили абы как, лавируя между мешками, тюками, баулами с руганью и криком посторониться. Я в некотором отходе от своих болей спросил, нет ли здесь начальника вокзала Ивана Петровича. Никто меня не услышал. И я было взъярился. Но в это время кто-то увидел мою фамилию в сопроводительных документах и закричал:

— Капитан Норин! Где капитан Норин? Посмотрите номерной знак! Он из тяжелых!

Все носилки остановили. Санитары принялись меня искать по номеру, нашли и оповестили об этом. Ко мне пошел Иван Петрович, несмотря на раннее утро, находящийся здесь, пошли другие, кто знал меня, и пришла Ксеничка Ивановна. Никого из своего кокона я видеть не мог. Но ее приближение я определил по некоему застывающему во мне току крови. Оказалось, что я ждал ее. Вокруг меня толпились, охали, ахали мои знакомые, и сразу подойти ко мне Ксеничка Ивановна не могла. А я все равно почувствовал ее присутствие. Я могу соврать, то есть мне могут не поверить, но я ощутил ее запах, запах чистоты и именно только ей присущего тепла. Будто даже и дыхание ее, чистое, легкое, меня волнующее и одновременно утишающее ход моей крови, почувствовал я сквозь бинты. Я очень хотел крикнуть, чтобы расступились и пустили ее ко мне. Но крикнуть я не мог. Да и кто же услышал бы мое мычание из моего кокона, если бы я и крикнул.

Она смогла подойти ко мне, только когда носилки перед погрузкой на двуколку поставили на землю. Она подошла, и санитар сказал ей, видно, показывая на меня: “Вот!” И долгую половину минуты она не могла понять, где этот “вот”, так как этот “вот” был бревном, опутанным бинтами.

— Вот же, вот, сестрица! — снова сказал санитар.

Но она все равно молчала. А я подумал, сколько я пропащий, если ее, видавшую сотни увечных и мертвых людей, пережившую ужас Сарыкамышского вокзала, мой вид мог остановить. Наконец она склонилась ко мне. Я увидел лучистые и серые ее глаза. Они несли мне что-то такое, на что я, подлец, не имел права.

— Здравствуйте, Борис Алексеевич! — сказала она.

Глава 2

Теперь же я попробую сказать об обстоятельствах, по каковым мы оказались на Диал-Су, крупном левом притоке известной из учебников по древней истории реки Тигр в Месопотамии.

Девятнадцатого марта нынешнего, шестнадцатого, года нас, чинов штаба, спешно собрали в кабинет нашего начальника полковника Николая Францевича Эрна.

— Господа, Николай Николаевич имеет доложить весьма важное! — объяснил Николай Францевич спешность совещания.

— Союзнички запросили помощи! — не разжимая зубов, буркнул я соседу, капитану Каргалетели.

— Пустое, — так же не разжимая зубов, ответил он.

— Пойдем на Амару, — снова буркнул я.

— Куда? — спросил он.

— Господа офицеры! — подал команду Николай Францевич, подаваемую при входе старшего начальника.

В кабинет стремительно и мягко, привычно улыбаясь и искрясь хитроватыми глазами, вошел командир корпуса генерал Николай Николаевич Баратов. Ростом он был невелик, буквально с меня, очень подвижен, явный в молодости джигит и наездник, потомок ветви грузинского царственного рода, казак-терец. Так сухо и с долей фамильярности, подпущенной, чтобы не рассиропиться, характеризовали обычно мы нашего любимого командира.

— Прошу садиться, господа! — на лету сказал Николай Николаевич, полетел к карте на стене, откинул занавеску, взял указку, повернулся к нам и ткнул указкой, как шпагой, не глядя, себе за спину, точно попав в кругляш Багдада.

— Это Багдад, господа, — сказал он.

— А я что вам говорил! — снова не разжимая зубов, сказал я соседу.

— Это Багдад, некогда знаменитый город Гарун-аль-Рашида. А это расположение союзников, — махнул Николай Николаевич указкой туда и сюда южнее Багдада, но точно по линии расположения британских войск.

— Боюсь, что вы оказались правы, — половиною губ в мою сторону сказал капитан Каргалетели.

— А это мы, — черкнул Николай Николаевич дугу по Персии и еще одну дугу по линии Кавказского фронта. — Как вы знаете, господа, такое расположение Кавказского фронта стало возможным благодаря блестящей победе наших доблестных войск под Эрзерумом всего месяц с небольшим назад. Успех блестящий. Взята неприступная крепость. Захвачен важный узел дорог. Взято свыше трехсот орудий, свыше тринадцати тысяч пленных, в том числе, если не ошибаюсь, более

двухсот офицеров. Этой победой наша армия значительно облегчила весьма тяжелое положение британской армии в Месопотамии. — Николай Николаевич приложил указку к карте острием в сторону Турции. — Смотрите, господа! — сказал он. — Наш Кавказский фронт нависает с севера. Союзнический фронт генерала Лейка под Багдадом нависает с юга. Мы находимся на востоке этого выступа. Какие будут мнения, господа? — И, не давая никому возможности ответа, сам сказал: — А мнение может быть только одно. Ударом от нас вот сюда, — он быстро и мягко ткнул в кругляш города Мосула в восточной Турции, — мы выходим всей турецкой армии, противостоящей нашему Кавказскому фронту, в тыл. Не буду терять времени на объяснение, что это могло бы значить для всей Кавказской и Ближневосточной кампании. Это очевидно, господа. Но самые поверхностные расчеты показывают абсолютную невозможность этого удара нашими с вами силами. Вопрос решался в Ставке, и вопрос оставлен. Нам не дадут ни одного солдата, ни одного патрона. Более того, с Кавказского фронта снова сняты несколько крупных воинских единиц и отправлены на Запад. Потому — к насущной действительности! По сообщению английской главной квартиры, — подтвердил мое слово “естественно” Николай Николаевич, — положение наших союзников англичан, несмотря на мужество и выносливость английского солдата — в большинстве случаев приходится говорить не о самих англичанах, а об индусах-сипаях, — так вот, положение англичан на данный момент очень серьезно. Есть сведения, что на Месопотамский фронт перебрасывается масса германских офицеров, артиллерия, пулеметы, аэропланы, германские и австрийские части. У англичан часть войск оказалась блокированной в крепости Кут-Эль-Амар.

— Это дивизия генерала Таунсенда, по нашим данным — свыше семи тысяч штыков, около сорока орудий, — дал справку Николай Францевич.

— Благодарю вас, Николай Францевич, — кивнул в сторону своего начальника штаба Николай Николаевич. — Положение этой дивизии критическое. Предпринимаемые попытки деблокады оказались безуспешными. Продукты и боеприпасы осажденных на исходе, — при этих словах Николай Николаевич попытался придать лицу совершенно безразличное выражение, как бы даже постарался сделать вид, что этих слов он не произносил, а если и произнес, то просил нас простить его и отнести их только к осажденным. Потому что уж коли на исходе, так, значит, были и стали заканчиваться. А у нас о продуктах и боезапасах вернее было говорить, что их не было. — Союзники просят помощи, господа! — сказал Николай Николаевич. — Наш августейший главнокомандующий государь-император ждет от нас подвига. Еще раз подчеркну, господа, положение союзников столь серьезно, что ставится вопрос вообще о результатах летней кампании, — сказал Николай Николаевич, посмотрел на каждого из нас, каменно молчавших, и прибавил: — Имеет несколько слов сказать представитель союзнической миссии при нашем корпусе майор британской армии сэр Робертс. Прошу вас, господин майор, — сказал он по-английски.

От нашего ряда за столом встал высокий, худой и хмурый офицер. Хмурым он был всегда, и, надо полагать, сия его хмурость должна была показывать, сколько мы как армия были ни на что не способны, если до сих пор не очистили путь для армии его величества британского короля на этот самый Мосул. Он встал, выпрямился в

спине, снял отчего-то с левой руки перчатку.

— Благодарю вас, сэр генерал, — сказал он Николаю Николаевичу тоже по-английски и далее по-английски же стал говорить и смотрел только на Николая Николаевича. Острый кадык его заходил вверх-вниз поршнем.

В его обращении только к Николаю Николаевичу, в его английском языке я нашел оскорбительное. “Отчего же нам посылают обязательно таких монстров?” — подумал я в неприязни и сам себе ответил, что англичане считают нас варварами и монстров к нам посылают намеренно, дабы подчеркнуть свое к нам, мягко говоря, небрежение и дабы нас дисциплинировать. С таким монстром не очень-то сговоришься. Он будет упрямо и методично проводить свою линию.

Излишне говорить еще раз, что английского языка я не любил и не учил. А потому на английский язык майора Робертса я поморщился и увидел, что поморщился и сидящий напротив меня корпусной ветеринар Иван Васильевич Шольдер.

— Сейчас уже он нам всю историю Британии со всеми ее заслугами перед нами расскажет, — сказал Иван Васильевич с характерным еврейским выговором.

— Да уж нагагачит, — сказал я.

Гагакал сэр Робертс довольно длинно. А сути вышло только то, что высадкой в Месопотамии англичане в период турецкого наступления в Алашкертской долине оттянули на себя часть турецких войск, то есть явились спасителями матушки-России, и теперь пришел черед расплатиться, тем более что у господина Таунсенда и его бравых солдатиков провианта было ровно до тринадцатого апреля, из чего выходила нам задача к этому числу прогуляться на семьсот верст, как говорят малороссы, с гаком и шашками снять блокаду. Задачу, которую я отгадал еще до совещания, перевел мне на русский язык приставленный к сэру Гусю — раз уж прогагакал, то и Гусь — генерального штаба капитан Коля Корсун.

— Перескажи человечьим языком, Коля, что он там сказал, — попросил я.

— Та шо, — передразнил он нашего общего друга сотника Василия Даниловича Гамалия. — Та шо, балакають англычане, шо ти ж самые нимци, тильки чуток похуже! — Потом же сказал: — А если по-человечьи, как ты выразился, то…

— Про Алашкерт я понял, — перебил я.

— Да, — сказал Коля. — Тогда вот. Мы до самых печенок должны проникнуться, что пропитания в сей Кут-Эль-Амаре, то есть бифштексов, мармеладу и горячего какао, им хватит только до тринадцатого апреля. Двенадцатого они отужинают, а наутро тринадцатого выглянут в нашу сторону, и если не увидят нас, то пойдут в туретчину: “Ах, эти варвары не смогли даже каких-то семьсот верст с гаком проскакать! Ну, все, с нас хватит! Feci quod potui, сделали что могли, так сказать!”

— Потуи, потуи, — сказал я, ибо сказать больше было нечего.

Нас слушал ветеринар Иван Васильевич Шольдер. Я вспомнил, что хотел к нему обратиться по поводу моего жеребчика Локая.

— Коля, прости, а то опять забуду! — сказал я и попросил Ивана Васильевича выслушать меня.

— Так давайте сейчас уже его посмотрим, — предложил Иван Васильевич.

— Капитан Норин! Борис Алексеевич, вас приглашает Николай Францевич, — взял меня под локоть ординарец Баратова хорунжий Гацунаев.

— Вы, хорунжий, уже… — хотел я пошутить на тот счет, что он заменяет и адъютанта у генерала Эрна.

— Да ведь он вчера свалился в горячке. Разве вы не знаете? — перебил меня хорунжий Гацунаев.

— Прошу прощения, — сконфузился я.

— Да что вы, капитан! — улыбнулся он.

— Подождете, Иван Васильевич? — попросил я.

— Уже что останется делать ветеринару, если он будет думать о себе как о генерале Таунсенде! — сказал Иван Васильевич с намеком, что генерал Таунсенд не собирается долго, то есть далее тринадцатого апреля, ждать.

— Операция спланирована, Борис Алексеевич, — сказал Николай Францевич, выставляя на боковой столик чай и сладости. — Она будет иметь международный резонанс, естественно, отражаясь на авторитете России. Как ее проводить нашими силами — ну да Бог не выдаст. А я вас вот что вызвал. В рейд, назовем операцию рейдом, в рейд пойдет дивизия князя Белосельского-Белозерского. Это вот, — Николай Францевич взял листок, — это Шестнадцатый Тверской драгунский — чуть более пятисот сабель, Семнадцатый Нижегородский драгунский — чуть более пятисот сабель, Восемнадцатый Северский драгунский — чуть более четырехсот сабель, Первый Хоперский казачий — шестьсот шашек. Из пехотных частей — только пограничники полковника Юденича, тезки нашего командующего фронтом. Это два неполных полка, то есть в совокупности две тысячи штыков. Ну и, собственно, то, зачем я вас пригласил. Артиллерии в рейд придается восемь стволов, — Николай Францевич глазами призвал меня усмехнуться, но я не внял призыву. — Восемь стволов, — взял снова серьезный тон Николай Францевич. — Это неполная Терская казачья и неполная конная кавалерийской дивизии батареи. Как вы уже догадываетесь, нужна координация их работы. Я рекомендовал Николаю Николаевичу вас в качестве командующего этой войсковой единицей, — он снова попытался усмехнуться, но снова остался серьезен. — Двадцать первого, как вы слышали, операция начинается. Принимайте обе батареи. Приказ подготовлен и подписан, — он подал листок с приказом. — И дай вам Бог.

По общему мнению, генерал-лейтенант князь Белосельский-Белозерский был неплохим человеком, жуиром и острословом. Но он был, извините, паркетным генералом, то есть службу провел в свите государя-императора, — со всеми вытекающими отсюда последствиями. И мой вопрос ясно намекал на это. И хвала Аллаху, аллайхи салам, как говорят персы, что Николай Францевич не сделал мне выволочку.

Иван Васильевич Шольдер курил во дворе. Я велел моему вестовому Семенову привести Локая.

— Кажется, он болеет. В глаза ему смотреть — сил нет, — сказал я.

Семенов привел моего вороного жеребчика. Иван Васильевич полез ему в зубы, в ноздри, в уши, в пахи, подавил селезенку, понюхал из ноздрей, проверил бабки, копыта, обошел вокруг, поприкладывал трубку.

— Что скажу, Борис Алексеевич. Видите, ноздри и уши чистые. Живот не вздутый. Селезенка и прочее в порядке. Легкие в порядке. Иначе бы из ноздрей потягивало, что из солдатской казармы ранним утром.

— Так ведь невеселый. Смотрите, будто болеет! — сказал я.

— Недокорм наблюдается, — продолжил Иван Васильевич характеризовать Локая. — Но это у всех наших лошадей. Попробуйте его морковью покормить, только не усердствуйте. Так, понемногу. А смотрит он и вправду, как наш раввин в Тору. Он уже у вас…

— Полгода. Он привезен из Туркестана с Закаспийской бригадой. Потом достался казаку Первого Уманского полка, после его гибели в Алашкертской долине достался мне, — сказал я.

— Не кабардинец? — спросил Иван Васильевич и сам же сказал: — Уже вижу, что задаю глупый вопрос. Локай — значит, локайской породы. А до вас как его уже звали?

— Неужели тоскует? — воскликнул я. — Понятия не имею, как его звали. Я стал звать Локаем, по породе, потому что записан он локайской породой.

— Ну, что же вы хотите! Давайте будем вас звать не ваше высокоблагородие господин капитан, а давайте вас назовем цырульником Мовшей Рабиновичем! — тоже воскликнул Иван Васильевич.

— Так ведь он на Локая отзывается. Видите, уже ушами прядает на нас! — возразил я.

— Таки что, скажите, ему остается! — развел руками Иван Васильевич.

— Ну, здоров, и слава Богу! А то ведь — на эту чертову Кут-Амару! — вроде бы успокоился я.

— А скажите, Борис Алексеевич, да, вот мне в голову пришло, скажите, с кем-нибудь из лошадей он дружит? — спросил Иван Васильевич.

— Кто? — не понял я.

— Ваш конь Локай. Есть у него среди лошадей друзья? — снова спросил он и, увидев, что я несколько прионемел от такого вопроса, объяснил: — Видите ли, уважаемый господин Норин, лошади высокоорганизованные в социальном отношении животные. Дружба, неприязнь, семейные чувства им присущи в полной мере. Возможно, он не может влиться в новую для него среду. У нас сплошь кабардинцы, а он локай, он для них чужой, и они ему чужие. Он просто-напросто тоскует у вас. Вполне может быть такое.

— А как же я его подружу… — начал было я.

— Да вы-то не подружите, Борис Алексеевич! Вы-то не подружите. Но вот вам старинный рецепт лошадников. Лошади ведь сами выбирают. Вы его ни с кем не подружите. А вот купите козу… Нет-нет-нет, не смейтесь, а послушайте ученого еврея! Купите ему козу. Внакладе не останетесь. Если не поможет вашему коню, съедите ее. Но вдруг поможет. Старые лошадники так делают, так изгоняют тоску из лошади.

— Именно козу? — в полном недоверии спросил я.

— Только козу. Уж не знаю, какая связь, но только козу! — выставил вперед руки, будто не пускал меня более ни к одному из животных, Иван Васильевич. — Козу, Борис Алексеевич, и только козу.

— Н-да, — сказал я, а потом спросил сотника Томлина: — Козу купим?

— Куды-сь нам? — спросил сотник Томлин.

— Шольдер советует, чтобы Локая полечить, — сказал я.

— Куда порешили, Лексеич? — уточнил вопрос сотник Томлин.

— На Амарку! И я получил назначение возглавить всю артиллерию! — сказал я и сам сконфузился выскочившей как бы похвальбы.

Сотник Томлин моего конфуза не принял или не заметил.

— В строй, что ли, в поле? — спросил он с трудно улавливаемым — или с хорошо скрываемым нехорошим чувством ко мне. И вдруг я понял, за кого он меня считал, когда я работал в штабе.

“То есть, — сказал я себе, — болтаться никем при том же штабе ему не было зазорным. А моя работа в штабе его оскорбляла!” Я был готов вспылить. Он это увидел. Но он не умел просить извинения. Он замыкался или быстро уходил во что-то другое. И сейчас он быстро сменил разговор.

— На Амарку! И где мы емя какавы возьмем? — спросил он и как бы даже заругался. — Ну, пришарашимся мы. Ну, отпугнем турченят. А с нас же и спросят наши друзья свою какаву. “А какава где?” — спросят. — Международная конфузия будет, Лексеич!

И потом, вечером, хлебнув по своему обыкновению местной водки, прозываемой им кышмышевкой, вспомнил мой вопрос.

— Лексеич, а ведь точно. Коза лошадь лечит. Только что ее покупать. Казаки сбегают куда ни есть да притащат! — с какой-то дымкой в голосе сказал он.

— Ну, это уж после Амарки, — вопреки желанию разговаривать с ним, сказал я.

— Так мы до Амарки ее с боя возьмем! — встрепенулся сотник Томлин.

Совершенно по-другому принял меня старший офицер Терской казачьей батареи, замещающий должность ее командира есаул Павел Георгиевич Чухлов, прослуживший в этой батарее со дня выпуска в нее из училища. Известно, с какой ревностью обычно принимают старослужащие в свою среду нового командира. И,

предупреждая эту ревность, Павел Георгиевич, как старый дядька, посоветовал мне как можно быстрее отличиться, что, конечно, я знал без него. Но он посоветовал не стесняться отличиться и воспользоваться каким-нибудь случаем, совершенно неопасным, но эффектным в плане зрелищности. Я его не понял.

— Напрасно вам рисковать для такого случая нельзя. Собой нельзя швыряться. Проявить себя у вас будет много возможности. Да вы уже и отличились. Но показать себя нам, то есть новым вашим подчиненным, просто необходимо. Вот и проявите себя в какой-нибудь неопасной перестрелке, постойте там под турецким огнем с полутора верст, что ли! — по-дружески сказал он.

Я его понял и советом воспользовался при первом же случае — оставил объединенную нашу батарею на него и возглавил недолгое преследование сбитого с позиций турецкого отряда.

Пустил ли по корпусу про эту пресловутую “какаву” именно сотник Томлин, или она родилась до него, а он только подхватил, но весь корпус вдруг заговорил о ней.

Нам было известно, что британскому солдату в суточном рационе были положены и мармелад, и горячее какао, и кровяной бифштекс, и еще черт знает какие деликатесы. И продовольствие, и обмундирование, и теплые палатки зимой, и боезапас, и прочие немыслимые для нас вещи им завозились морем и далее переправлялись по рекам Тигр и Евфрат речными пароходами и баржами. Мы же снабжались от нашей перевалочной базы Энзели на побережье Каспия едва не вьючным транспортом по жутчайшим дорогам. Летом это были пыльные тропы. Зимой — раскисшие болота в низинах и ледяные, занесенные снегом камни на перевалах. И зимой и летом их надо было охранять от многочисленных банд, состоящих из местных племен. И летом, и зимой здесь не было здоровой воды, фуража, но были тучи комаров, мошек и прочих москитов, неисчислимое количество пауков, скорпионов, тарантулов, змей, вшей, клопов. Рейдом на Кут-Эль-Амар мы уходили от базы снабжения более чем на полторы тысячи верст, то есть практически оставались без снабжения и тыла вообще. Но британец объявил на весь мир о том, что не позволит себе сидеть в крепости без мармелада и какавы. Нам было объявлено в вызволение его из такого леденящего душу положения лечь костьми, но пробиться к британцу.

Я, кажется, уже приводил в пример подвиг полковника Барыбина, начальника гарнизона крепости Прасныш на Западном фронте. Если и приводил, то смею напомнить еще раз. В его руках было четыре пехотных батальона и две батареи. Одиннадцать дней эти люди противостояли варварской бомбардировке тяжелыми орудиями и атакам целого корпуса. Оставшись без боеприпасов, они неоднократно встречали германцев в штыки. В последнюю атаку полковник Барыбин собрал абсолютно всех, кто был под рукой, кто стоял на ногах и кто держал винтовку или шашку. Это оценил даже противник. Как признание высшей доблести плененному полковнику Барыбину было возвращено его оружие.

А тут, простите, к тринадцатому числу не станет на завтрак какавы! И хваленое британское понятие о чести позволило объявить о сдаче крепости, то есть, по сути,

объявить о неисполнении приказа. И она же, хваленая британская честь, позволила обратиться за помощью к ненавидимому и презираемому славянину и не позволила представить, как этот презираемый славянин, совершенно измотавшись в предыдущих боях, будет шашками пробиваться сквозь осадные турецкие укрепления!

— Эк, какава у них закончилась! Без какавы какая война! Без какавы не навоюешь! — в артистическом сокрушении вздыхали казаки, подшивая сбрую, латая зарядные ящики, встряхивая тощие тороки с сухарями и заранее болея сердцем о бедных лошадях.

Нам наша честь не позволила не исполнить приказа. Корпус указанными силами двадцать первого марта завязал непрерывные наступательные бои и через месяц, двадцать пятого апреля, мы взяли город Ханекин и вышли на левый берег реки Диал-Су, протекающей уже по турецкой территории. Путь на Кут-Эль-Амар, равно как и на Багдад, был открыт. А чего он стоил нам, этот месяц, может сказать следующая статистика. В трудно представляемой жаре, с массой тепловых ударов, с приставшими к нам тифом, малярией и холерой, с постоянными нападениями на наши тылы и фланги курдов, с упорным сопротивлением много превосходящего нас по численности и по снабжению противника мы, научившиеся у нашего Николая Николаевича беречь людей, потеряли половину наличествующего состава — и в подавляющей степени потеряли их не от огня противника, а от изнурения и болезней. Далее нам предстоял рейд по бездорожью, по месопотамской глине без каких-либо продовольственных и фуражных запасов и без воды. Мы были готовы на это. Но двадцать пятого апреля плененные турки показали: именно тринадцатого числа Таунсенд отстегнул свой рыцарский клинок и передал его противнику. Наш рейд выходил бессмысленным. Николай Николаевич Баратов получил от своего тезки великого князя Николая Николаевича, командующего войсками на Кавказе, благодарность и разрешение отойти на позиции в более здоровый по климату горный район.

— Вот какава так какава! Теперь ведь она нам аукнется! — едва не в голос сказали мы.

И было ясно, что аукнется она всей силой высвобожденных из-под Амара турецких войск. И она аукнулась. По сведениям тех же пленных, турецкое командование сосредоточило против нас армейский корпус — вероятно, чтобы покончить с нами раз и навсегда.

Но Николай Николаевич Баратов не был бы генералом Баратовым, если бы не понимал, что нас сомнут тотчас, едва мы тронемся с места. И отходом своим мы возбудим против себя всю Азию. Азия понимала только силу. Потому перед тем, как начать отход, Николай Николаевич собрал нас в два кулака и нанес противнику два превосходных удара. Завесив от курдов правый фланг кавалерией полковника Амашукели, он слева бригадой генерала Исарлова перерезал Багдадскую дорогу, а в центре пехотой полковника Юденича и артиллерией вашего покорного слуги опрокинул турок в Диал-Су.

Решительнейший момент боя, естественно, упал на удар артиллерии по

переправе с целью разбить ее и тем завязать мешок, в котором оказывались разгромленные на этом берегу турецкие части. Но по неизвестной мне причине приказа на это не было. Я стрелял только вечером, когда переправа опустела. Двумя залпами я разбил ее. Еще сутки мы караулили движение турок, а потом под прикрытием сотни уманцев в числе последних снялись на отход.

Глава 3

Ночь упала быстро, странная персидская ночь. Вместо огромного и все более стекающегося к горизонту в гнетущий красный шар солнца выплыла половинная, будто с разболевшейся одной щекой, не менее огромная луна. Она ловко угнездилась среди вспыхнувших и тяжелых разноцветных звезд. Небо, днем запекшееся в единый палящий и недвижный сгусток, вдруг ожило, раздалось вширь и, кажется, даже прогнулось к нам. То тут, то там одна за другой или враз по нескольку звезды стали обрываться и лететь от одного края неба к другому и обратно, как если бы кто-то стал их перебрасывать из руки в руку. Звезды будто даже давали тени. Длинные и даже с различным оттенком цвета, они легли по земле поперек и вдоль и тоже зашевелились, заперемежались, будто живые, вызывая безотчетную тревогу. Все кругом чуть поостыло. Практически выморочные люди и лошади хватали эту остылость, будто хотели нахватать ее впрок. Шли молча, плохо, но шли. Местность здесь повышалась в пять саженей на версту.

Этак мы прошли деревушку Серпуль, в которой были наш лазарет и питательный пункт. Деревушка была пуста. Несколько дней назад при движении на Диал-Су мы ее брали с бою. Прошли деревушку Таки-Гирей. Ее тоже брали с бою. Теперь и она была пуста. Прошли деревушку Миантаг. Ее брали с бою. Теперь она была пуста. Через шесть часов пути от передового дозора казак принес весть — мы вышли к Сармилю. За шесть часов мы прошли шестнадцать верст. По стечению чисел, несколько дней назад бой под этой деревушкой длился шестнадцать часов. Деревушка стояла меж двух скалистых гор. Она была прекрасной турецкой позицией. И не подожги я их базу с боеприпасами и продовольствием, бой мог длиться еще шестнадцать часов. Теперь эта позиция могла послужить нам. Я дал команду на ночевку.

Пока я был занят маршем, я чувствовал только физическое изнурение. Он обыло таким, что ездовые и я с ними оставили седла и шли рядом с лошадьми, жалея их и жалея себя. Несмотря на то, что земля обжигала сквозь подошвы и распаривала ноги, как репу в горшке, на ней попросту было устойчивей, чем в седле. Пока был марш или, как я обозвал его, наше отползание, ничего, кроме заботы о дороге, у меня не было. Но упали мы спать в головешки и прокопченные камни Сармиля, и ночью я проснулся, вытаращился в персидское небо, и всей тяжестью мне привалила переправа. Я не выдержал, кряхтя встал, не смог перешагнуть через лежащего рядом Павла Георгиевича, мелко-мелко обошел его и пошел, поначалу не зная куда, без мысли, а только с видением переправы. Даже в сильном свете луны я запнулся о кого-то, едва не упал, остановился и будто руками раздвинул переправу, сквозь получившуюся прореху увидел свою батарею.

Я очнулся. Мне захотелось плеснуть в лицо водой. Я подумал о колодце. Ведь если деревня, то должна быть и вода. Я попытался вспомнить, брали ли мы воду здесь. По логике да, потому что брали ее везде, где только могли. Мы явно вычерпали здешний колодец до дна, до грязи, вычерпали и загадили, потому что сотни взбаламученных людей и сотни лошадей не загадить не могли.

Земля по-прежнему была горячей. Я сел на орудийный передок и долго, с

мучением пытался снять сапоги. Семенов тяжело спал. В черной бороде луна высвечивала позументом крепкие его зубы. Переправа снова навалилась. Я глубоко выдохнул в надежде с выдохом избавиться от переправы. Мне предстояло делать отчет о действиях батареи. Здесь, под Сармилем, она решила исход боя. И там, на Диал-Су, она тоже решила исход боя. Но там она его могла решить совсем по-другому.

— Да черт с тобой! — вслух сказал я переправе. Именно так же меня мучила пустота после гибели Ражиты, и так же мучила несуществующая вина перед братом Сашей. Все было далеко, и все было будто выдумано. Подлинными были только батарея в сожженной деревне, ночь с луной и желание снять сапоги, а потом плеснуть в лицо водой. “Черт с тобой, отстань! Мне вот сапоги надо снять!” — с нажимом сказал я переправе.

И я придумал их снять, зажав поочередно пятку в спицах орудийного колеса.

— Вот то-то! — при этом сказал я.

Один сапог я снял более-менее благополучно. А на другом оторвал подошву. Она оказалась совсем сгнившей. Я махнул рукой, оставил сапоги в покое.

Земля была горячей. Я, босой, пошел искать воду, вспомнил Локая, вернулся за брезентовым ведерком. Кони снуро стояли, привязанные несколькими табунками повзводно. Локай был при первом взводе. Среди гнедых кабардинцев он, вороной, выделялся более темным пятном. Я вспомнил рекомендацию ветеринара Ивана Васильевича. Признать ее выполнимой было невозможно. Вся батарея, все чины штаба и все находящиеся по надобности в штабе оставили бы свои занятия и во все глаза выперлись бы на меня, на козу, на Локая, сначала поодиночке, в руку, всхохатывая, а потом разражаясь ревом на всю Персию. Я обругал Ивана Васильевича, а потом сам захмыкал над своей доверчивостью.

Батарея, оказывается, спала не вся.

— Неужто кончилось? — говорил кто-то, вероятно, своему закадычному другу. — Здесь маленько поживее сторона-то. Спаси Бог снова туда попереться. Веришь, нет, кунак, а я совсем издыхал. Я думал, умом тронусь, как кто-то из драгунцов. Вот как пить мне хотелось. Веришь, нет, кунак, я в котелок помочился и выпил. Это же до какой ненадобости надо себя довести, чтобы начать пить-ись себя же самого!

— Вот Маремьяне своей дома расскажешь, дак и будешь спать со скотиной! — попытался посмеяться кунак.

— А вот скажи, дядя, — говорил молодой голос в другом месте. — Вот хто они таки, ныгличане? Это обчество такое, ну, я хотел сказать, страна это такая или умозаключение такое?

В Хракеринском моем госпитале так же точно солдатики удивлялись горному климату, при котором на их позициях мела метель, а у меня внизу была влажная духота. “Одно слово, Индия!” — говорили они. И сейчас, вспомнив их и слушая молодого ездового, я ощутил сильный, насколько можно было при общем нашем отупении, стыд за глухую и непроходимую нашу темноту, которая одна только и давала нам возможность терпеть то, чего ни один другой народ терпеть не был

способен. В другое время я это терпение нашего солдата и казака относил к другим причинам — и более-то к сложившемуся веками национальному характеру страны, со всех сторон открытой и постоянно подвергаемой войнам и набегам. А тут при упоминании сих “ныгличан” мне стало стыдно. Они не получили горячего какао и сдались. А мы… Надо было бы переполниться злобой. Я же испытал стыд.

— Их, поди, сроду нет, ныгличан-то, — продолжал пытать дядю молодой ездовой. — Поди, нам их придумали, чтобы мы ловчее турка били. Где вот они? Наш-то, — я понял, что под “нашим” выступал я, — наш-то пред походом говорил, что до них семьсот верст. Дак, поди, для такой оказии и турка-то не хватило. Сами себе импираторы какаву придумали, чтобы мы ловчее турка оббежали.

— Эх ты, импиратор. Тебе говорили, как они воюют, англичане-то. Им мармеладу, какавы и чего там не подвезли — они враз по телеграфу своему императору сообщение: воевать не сможем! Тебе же говорили! — безнадежно вздохнул дядя.

— А что я! Я такося на походе натрудился, что и спать не могу! — буркнул молодой, смолк и вдруг прибавил: — А подметки сгорели на этаком жаре! Без сапог я теперь!

— Поищем. Чего гляди, с курдяка снимем! — отозвался дядя.

Приказом пары солдатских сапог должно было хватить от Энзели до Казвина, где должно было получить следующую пару, которой хватило бы до Хамадана, а там еще пара — до Керманшаха, и еще пара — до Ханекина. Но остряки стали заявлять, что приказ несколько неточен или его не совсем точно исполняют, а наказания за неисполнение, однако, не несут.

— Нет, братцы, до Казвина одной пары сапог хватает, это верно. А вот до Хамадана второй пары никак хватить не может! — говорили остряки, и суть остроты заключалась в том, что солдатик преодолевал путь до Хамадана не во второй паре сапог, а в первой же и единственной, как в ней преодолевал путь до Керманшаха и далее. Собственно, то же происходило со всем остальным. Полушубки пришли, например, вместо конца ноября — в конце марта. А в конце ноября пришли летние гимнастерки. Да я, кажется, о подобном снабжении уже говорил.

Я вспомнил, что я босой, совсем очнулся и обругал себя скотиной, совсем как смотритель в поэме Некрасова обругал ямщика. Пришлось возвращаться к сапогам, долго натягивать их. Проснулся Семенов, застыдился, потом сообразил, в чем дело, и ловко подвязал мне подошву к шпоре седельным вьючком.

— Так я, Борис Алексеевич, сам сбегаю! — попросился он за водой.

— Ладно, идем вместе. Я посмотрю батарею! — сказал я.

— Колодец, Борис Алексеевич, весь загажен. К нему ходить не стоит. А я знаю внизу под скалой ручей. Вот к нему я быстро сбегаю, пока вы смотрите батарею! — быстрым своим говорком предложил Семенов.

— Э, нет! Уж к ручью-то и я схожу! — укоротил я Семенова.

И действительно, ниже деревни между скал струился довольно сильный,

обрамленный ставшими непривычными зелеными кустами ключ. Свежесть его почувствовалась издалека — вернее сказать, свысока. Успели мы к нему спуститься на несколько шагов, как эту свежесть почувствовали. Мне даже не поверилось, что в каких-то двух-трех саженях выше в одуряющей духоте спит моя батарея. Я с силой вдохнул эту свежесть. В легких моих защекотало. Голова вскружилась, и приплыла быстрая неясная картинка зеленого предбельского леса из детства. Я помотал головой.

— Вам нехорошо? — встревожился Семенов.

Я знаком показал ему успокоиться. Предбельский лес наплыл еще раз и оказался ближе, чем батарея. Я едва не руками толкнул его — так захотелось оказаться под его сенью.

У воды кто-то был. Мы приостановились. Я услышал голос батарейного вахмистра Касьяна Романыча. Он кого-то гневно ругал. Я окликнул его. Он обернулся, узнал меня и взял под папаху.

— Так что, ваше высокоблагородие Борис Алексеевич, проверяем хозяйство! — сказал он. — Но вот посмотрите на нехристя! — вновь заругался он и показал назад на ссугорбленного, сидящего на земле человека. — Посмотрите на него за-ради Христа, Борис Алексеевич!

Я шагнул к воде и увидел дервиша, босыми ногами влезшего в отороченный камнями своего рода колодец. Несносно едкий запах годами немытого тела ударил мне. Дервишей в Персии было такое количество, что, казалось, остального населения было меньше. И все дервиши были против нас. Мне они всегда были гадки. Но я их всегда терпел, вернее, я их пытался не замечать. Но тут, у воды, извините за стиль, редчайшего дара природы, среди непреходящего жара и убивающей духоты, увидеть его, всего в струпьях, вшах, грязи и язвах еще более, чем мы, так глумливо оскорбляющего этот дар природы, было выше меня. Я молча ткнул его ножнами в спину. Он обернулся. Даже в темноте, хотя и редеющей, но все ж в темноте, глаза его полыхнули ненавистью. Он оскалился и что-то проскрежетал, — верно, так проклятье. Я показал ему убрать ноги из колодца. Он махнул на меня скрюченными в птичью лапу пальцами, — верно, опять послал проклятье. Я хватил его ножнами по всклокоченной от грязи башке, хватил плашмя, разумеется, однако достаточно. Он коротко вскрикнул, будто я выбил из него воздух, и свалился набок.

— Что же вы!.. — зло выговорил я Касьяну Романычу.

— Да что, выше высокоблагородие!.. — начал оправдываться Касьян Романыч.

— Оттащите вон эту сволочь! — приказал я, а потом спохватился: — Да не прикасайтесь к нему, еще заразу подхватите. Палками какими-нибудь откатите! — и сам ткнулся головой в воду.

Глава 4

С утра же, пока солнце не разлилось свирепо по всему небу, был нам снова марш, то есть отползание. Потом были полуденный бивак с давящим, мутным сном прямо на солнцепеке, труба с сигналом и снова, пока хватало сил, отползание. Все, что встречалось нам, было пустым. Пустыми были селения. Пустыми были места лазаретов со всею их спешной брошенностью и грязью, пустыми были пункты питания и размещения с той же картиной, пустой была сама местность. Все наши снялись прежде нас. Местное население в виду нас тоже снялось и ушло неизвестно куда. Мы шли последними. По горам редко маячили какие-то всадники — явно курды. Мы для них были желанным трофеем. Но их пыл охлаждали наши орудия. И, проводив нас сколько-то, они скрывались, наверняка на все лады посылая нам проклятья.

Все мы были донельзя вялыми и столько же злыми.

В один из полуденных биваков прибыл к нам офицер связи от Николая Николаевича Баратова. Их сиятельство князь Сергей Константинович Белосельский-Белозерский, командующий всей нашей ратью, беспокоился за свой левый фланг и просил перевести мою батарею на дорогу, по которой отходил Шестнадцатый драгунский Тверской полк полковника Захария Васильевича Амашукели.

— Вот этим межгорьем пройдете, и вот здесь их сиятельство князь Амашукели будет вас ждать! — показал на карте офицер связи промежуток меж двух хребтов, посмотрел на меня, апатичного и бессильного, перевел взгляд на батарейцев и не выдержал. — Господа! Как же вы еще воюете! — сказал он.

Восклицание было сочувственным. Однако оно меня покоробило.

— Никак, — зло сказал я, надеясь злом уберечься от последующих подобных восклицаний.

— Да, новость! — не понял меня офицер связи. — Новость, господин капитан! Слышали? Сотник Гамалий вернулся! Вот же везунчик!

— Какой Гамалий? Откуда вернулся? — с прежней злостью спросил я. Командир сотни Первого Уманского казачьего полка сотник Василий Данилович Гамалий был моим другом. Мы с ним сдружились как-то сразу, лишь я прибыл в дивизию. Но мы с ним не виделись с самого марта, с начала боев. И слова офицера связи о возвращении его, конечно, меня взволновали. Выходило, он где-то терялся. Но меня снова покоробил тон офицера связи и его небрежительное слово “везунчик”. — Какой Гамалий? — зло спросил я.

— А вы не знаете? — удивился офицер связи.

— Не знаю! — сказал я.

— Сотник Гамалий, любимчик Баратова! Николай Николаевич его от боев освободил и к британцам послал! Каково! — хотел внушить мне некую неприязнь к Василию Даниловичу офицер связи.

Я ничего не понял. Я поднялся с лафета, на который сел при появлении

офицера связи, а до того лежал под зарядным ящиком, более веря, чем ощущая, что лежу в тени.

— Извольте извиниться, господин штабс. Сотник Гамалий мой друг! — сказал я.

Офицер связи осекся, однако поглядел на меня так, будто сразу мне не поверил. Я молча придавил его глазами.

— Покорнейше прошу извинить меня. Я не знал! — сказал офицер связи.

— Извольте больше в отношении моего друга не позволять ни подобных слов, ни подобного тона! — сказал я, а сказать о том, что русскому офицеру вообще не приличествовало дурно выражаться о ком бы то ни было, у меня не хватило сил. Зной перехватил мое дыхание.

Я отпустил поугрюмевшего офицера связи восвояси, в злобе еще посидел на лафете и снова полез под ящик, и только там мне дошло, что я ничего не узнал про друга Васю, сотника Гамалия. Тотчас меня сморил сон. А когда я проснулся, небо неожиданно заволокла невидная пелена, вернувшая солнце в его естественную окообразную форму и тем его немного ослабившая. Я дал трубить подъем и поход, то есть отползание. Через несколько верст мы втянулись в то, как выразился офицер связи, межгорье.

К утру передовой разъезд вышел на рокадную, то есть параллельную, дорогу и услышал движение небольшого конного отряда. Разъезд спешился и затаился. Однако он тоже оказался услышан, потому что отряд тоже затаился. Несколько казаков проскользнули к отряду вплотную и смогли различить русскую речь. Отряд оказался разведывательным взводом Восемнадцатого Северского драгунского полка из бригады Иосифа Лукича. Мне привели командира взвода старшего унтер-офицера Буденного. Несмотря на равную же нашей усталость, он был подвижен и жив. Тонкие его усики были лихо подкручены. На груди тускнели два Георгиевских креста. За ночь высохшую, так сказать, амуницию мы оттерли. Но вид наш был замечательно аховый. Представляясь, унтер — вероятно, немалая бестия — не удержался оценить глазом этот вид. Я стерпел его вольность.

— Так что, ваше высокоблагородие, исполняющий должность командира взвода четвертого эскадрона!.. — стал он представляться.

— Стой, унтер! — остановил я. — Что значит “исполняющий”? А где же сам командир? Сколько мне помнится, ваш командир — князь… — далее я замялся, не схватив сразу в памяти фамилию кабардинского князька, командира этого взвода. Я не обладал памятью Александра Васильевича Суворова или памятью Наполеона, но многих офицеров корпуса, особенно, как бы это сказать, экзотических внешностью и манерами, не говоря уж о профессиональности и отваге, я без труда запоминал. Каков был взводный командир этого унтера в плане отваги или службы, я не знал. А запомнил я его за сверхмерное изящество, уже этакое манерничанье, выдававшее в нем явный порок. Именно какой порок мог угнездиться в этом князьке — я не брал себе труда гадать. Мне не было до него дела. Как, кажется, ему не было дела до меня, обыкновенного армейского мерина, хотя и не без определенной экзотики, но все-таки не князя или кого там из родовитых.

— Где же князь? — спросил я.

— Их сиятельство поручик Улагай болеют! — с какой-то будто скрываемой, но оттого явно выпирающей иронией отчеканил унтер Буденный. Все-таки бестией он выходил подлинной.

Я хмуро велел ему докладывать дальше.

— А мы, ваше высокоблагородие, ничего о полку сказать не можем. Нам был приказ командира полка их высокоблагородия полковника Гревса разведывать наш левый фланг. А потом полку был дан приказ уходить. Так что мы теперь взводом сами к полку пробиваемся! — сказал унтер.

— Отстал от полка? — уточнил я.

— Так точно, отстали! — согласился унтер. — Разрешите доложить, мы вышли на город Бакубу. Я послал донесение в полк. А оттуда посланный вернулся ни с чем. Говорит, полка нету, никого нету — только турецкие разъезды и транспорты. Полк и вся бригада, выходит, ушли! Мы повернули тоже. По дороге взяли транспорт в двадцать мулов и пленных.

— А ты часом, братец, не сочиняешь про Бакубу? Ведь это от нас было верст сто двадцать! И потом, как же это командир полка вас не известил? — не поверил я унтеру.

— Так что, ваше высокоблагородие, мы перерезали дорогу на Багдад около местечка Кала. В конной атаке мы изрубили два батальона пехоты. Потом мне был приказ пройти в сторону Багдада сколько можно. Я и прошел, ваше высокоблагородие! — не отвел глаз, как того можно было ожидать при лжи, унтер Буденный.

И все-таки я ему не поверил. Это было невероятно, чтобы взвод драгун прошел такое расстояние туда и обратно совершенно незамеченным, как невероятно было и то, что командир полка мог бросить свой взвод. Командира северцев полковника Александра Петровича Гревса я знал шапочно. Северцами командовать он был назначен в канун нашего рейда на соединение с британцами. Но у него была война с Японией, на которой он получил Георгиевское оружие. Да и просто дать задачу “пройти в сторону Багдада сколько можно”, а потом молчком убраться — это у меня не укладывалось. Разбираться же времени не было. И я только еще раз спросил:

— Не сочиняешь ли, а, братец?

— Никак нет, ваше высокоблагородие! — не моргнул глазом унтер.

— Отставших и больных нет? — спросил я.

— Отставших нет. А больным как не быть. Половина взвода хворая. Зелень на зелени сидит и зеленью блюет, ваше высокоблагородие! — сбавил тон унтер.

— И с полком или с кем-либо никакой связи нет? — спросил я, получил отрицательный ответ и приказал: — В таком случае взвод переходит в мое подчинение!

— Слушаюсь! — кинул руку к бескозырке унтер и вдруг как бы даже обмяк: —

Ваше высокоблагородие, хлебушка бы нам хоть крохи!

Этакого деликатеса мы сами не знали уже несколько суток.

— Выйдем к своим, я лично похлопочу вам о белом каравае! — сказал я и спросил, вдруг вспомнив про вчерашнее дело в болоте.

— Так точно, вчера к вечеру впереди нас орудийную стрельбу мы слышали. Мы было подумали, что фронт настигаем. А только за всю ночь, кроме вас, никого не достигли! — опять взял под бескозырку унтер.

— И ни сзади вас, ни впереди вас никакого движения вы не наблюдали? — спросил я и опять получил отчетливое “никак нет!”.

Оставалось надеяться, что они просто-напросто разминулись со своим полком. Допустить, что их полк и вся бригада генерала Исарлова ушли далеко вперед, было немыслимо.

— Казаки! За-ради Христа, хлебушка! — взмолились в батарее драгуны.

Касьян Романыч высыпал им наш кошт. Они в молчании стащили несколько мешков с мулов и в молчании же развязали. Там тоже, как и у нас, был изюм.

— Можа, наш-то скуснее! — с обидой сказал Касьян Романыч.

— Или, можа, какавы пожелаете? — сплюнули батарейцы.

Солоно похлебавши, то есть запив изюм солончаковой водой, мы обложились разъездами и продолжили наше отползание. Как уже стало уставной нормой, лошадей вели в поводу, и трудно было определить — лошадь ли ведет казака, казак ли — лошадь, она ли за него цепляется, он ли — за нее. Отставших и падающих мы садили на зарядные ящики. Они некоторое время болтались в бессилии на ящиках, потом слезали и, уцепившись за них, в бреду тащились. Межгорье расступилось. На несколько верст вокруг вскоробились прокаленные, горячие холмы, кажется, без единой травинки. По холмам шли боковые разъезды и сгоняли огромных грифов. Они причудливо и неприятно вспрыгивали, раскидывали тяжелые крылья, в несколько взмахов уходили над холмами вперед нас и снова садились около дороги в надежде на добычу. Верблюжьи черепа, кости, клочья ссохшихся останков, устилающие обочины дороги, молча говорили об участи всякого отставшего и упавшего. О том же говорили довольно частые могилы наших солдат, явно одиноко тащившихся и попавших к курдам. Все мы знали, что курды, прежде чем убить, долго мучают. В плен они не берут. Это нас сильно дисциплинировало. Через несколько верст пути во втором взводе сразу пали две лошади. Я пошел во второй взвод. Колонна остановилась. Павшие лошади упряжью надавили на товарок, и те, не в силах выдержать давление, уже при моем подходе, по-бабьи вскрикнув, тоже пали.

— Режь постромки! — в один голос закричали подъесаул Храпов и Касьян Романыч.

Один из ездовых хватил кинжалом по постромкам. Павшие лошади крупно и в конвульсиях дышали, с хрипом давились густой тягучей пеной, но подняться уже не пытались и только остановившимся взглядом смотрели на всех нас, будто просили

сказать, что же теперь с ними будет.

— Ну, теперь, Борис Алексеевич, будут падать одна за другой! — сказал подъесаул Храпов.

— Эх, лошадушки! Милей жинки лошадушки! Хвылыночки одной билого свиту не бачив! — опять, как в солончаке, сказал кто-то.

И этот малороссийский говор как бы оторвался от нас и повис над нами.

Я понимал, стоять нам было нельзя. Остановившись, мы не сдвинемся.

Я велел выпрячь лошадей и застрелить. Мне показалось, обе лошади посмотрели на меня, с презрительной усмешкой говоря: только-то ты умеешь, что сначала загнать, а потом застрелить! — Они чувствовали, что так нужно, что нужно застрелить, иначе их, еще живых, будут рвать грифы. Но им, как и всем нам в последнюю нашу минуту, хотелось жить.

— Сейчас будут падать одна за другой, Борис Алексеевич! — снова сказал подъесаул Храпов.

Я велел позвать унтера Буденного и отдать в батарею мулов.

— Слушаюсь! — взял он под бескозырку.

Я пошел в голову колонны. За спиной у меня хищно рванули четыре винтовочных выстрела. Ближние грифы, уже вернувшиеся к колонне, снова растопырились и нехотя взлетели. Смотреть на них было мерзко.

— Ссади-ка эту сволочь! — сказал я вестовому Семенову, а потом остановил: — Отставить! — После Семенова выстрелами ощетинилась бы вся батарея вместе с сотней уманцев и северцами. — Трубача! — сказал я Семенову.

Я дал привал на время, пока впрягут мулов.

В климате Персии, перемежаемом чрезвычайной, как я уже говорил, жарой не жарой — мне трудно точно назвать это банное пекло — и чрезвычайной же болотной гнилью в долинах с чрезвычайной суровостью зимних перевалов, лошадь по значимости своей была, конечно, позади мулов, ослов и верблюдов. Почетнее всех здесь стал верблюд. И уже по одному этому можно стало судить, насколько изменилась эта страна. Во времена Ахеменидского царя Дария, который, извините, бегал по нынешней территории Российской империи за скифами, лошади здесь ставились превыше всего. И, например, царь Дарий стал царем Дарием только лишь потому, что конь у него был, скажем, не из последних. Меж претендентов на царство было постановлено — тот будет царем, чей жеребец утром раньше всех заржет. А теперь — прежде всего мул, осел, верблюд! Получалось, наши казаки являлись гораздо более близкими к заветам персидской старины, нежели сами персы.

— Чертячья страна! — в оторопи озираясь, говорили казаки и солдаты, называя под именем черта все здешнее: и верблюдов, и мулов, и скорпионов, и фаланг, и москитов, и зной, и холод, и дервишей, и персидские конные формирования, и плоскокрышие глинобитные сакли, и развалины великих городов и храмов.

— Куда такого клешняку! — услышал я за спиной казачье мнение о мулах.

— А туда! Он, черт, ни бельмеса по-христиански не понимает небось! Завезет в пропасть! Командиру чаво! Им команду дать! А нам жить! — успел я еще услышать.

— После него, клешняки, орудию-то святить придется! — еще услышал я.

А четвертый с лихостью, возможной при нашем положении, возразил:

— Не боись, христиане! Всех вон те, — он явно показал на грифов, — вон те всех все одно растащат!

— А ну мне тут! — со злостью рыкнул подъесаул Храпов.

Я бы и без Храпова нашел чем ответить не любящей меня батарее. Но меня удивило само препирание меж батарейцев.

— А коли препираются, — значит, не совсем сморились! — сказал я вестовому Семенову.

— Так точно, ваше высокоблагородие! — подхватил он.

— Давай, давай, христиане! На чертях поедем! — меж тем повеселела вся моя батарея. — Унтер! Как там тебя! Кидай свою какаву на пол! Теперь не к британцам! Теперь с намям!

И все подхватились. И уманцы подхватились, северцы унтера Буденного подхватились, все зареготали. Все вдруг, так сказать, изыскали резервы. А мне прикатило такое тепло, что я поймал себя — за каждого отдам жизнь. Они же выпрягли лошадей, как героев их огладили, отерли, обмяли их морды в ласке, потоптались, напугавшись вдруг своей нежности, и вот вам — им стал нужен командир. Они посмотрели на меня. А я нашел всего лишь команду на песню.

— Запе-е-е-вай! — сколько было у меня сил, гаркнул я.

И ведь гаркнуть я хотел внушительно, если уж не басом, то хорошим, сильным, густым баритоном. Вышло же у меня со срывом. И хорошо, что вышло хоть со срывом, но таким фальцетом, который очень органично вплелся в общий лихой настрой батареи. Только-то я посчитал, что она меня не любит, — а уже я увидел, я им не чужой. “Небось мои гранаты по моим расчетам положили — так теперь знаете!” — сказал я.

— Запевай! Казаки, запевай! — понеслось по колонне.

Выкатились вперед колонны до того снулые песельники. Выкатились они, встряхнулись, вдруг узнали свою значимость батарейные оркестранты, фукнули, продувая инструмент.

Я встал для приема прохождения колонны обочь дороги.

— А эту! Казаки, а эту! Эту вот!.. — выкатился вдруг от уманцев урядник. — Эту, братовья-казаки! Вот! “Ой, на гори там жнеци жнуть! Ой, на гори там жнеци жнуть! А пид горою яром-долиною казаки идуть!”

— “По пе… — вдруг следом ловко вывел уманский запевала. — “По пе.. по переду Дорошенко веде свое вийско, вийско запори-и-и-жсько, хорошенко!”

— Казаки-терцы! — выкатился вперед батареи Касьян Романыч. — Казаки-

терцы! Разве ж мы уступим Кубани? Терек вовсегда поперед был! Терцы! Что же вы! Ну, нашу терскую гимну!

И в пересиленье уманцев терцы грянули. Касьян Романыч тонко вывел начало, и вслед вся батарея грянула припев:

— Славься, Терек наш могучий! Славься, родина Кавказ!

И даже северцы унтера Буденного прихватились что-то выводить, и их вывождение, судя по замелькавшему его кулаку, унтеру сильно не понравилось. Верно, он надеялся пересилить и уманцев, и моих терцев. Видать, с характером был унтер.

Я стоял обочь, отдавал колонне честь. А колонна шла мимо меня с возможной при нашем положении лихостью. И грифы стелились на растопыренных крылах стороной и кричали в испуге.

Удивительное создание лошадь. Про лечение ее тоски козой я не слышал. И многих тонкостей ее психики, ее социального поведения да и здоровья, жизни ее вообще я тоже не знал. Но то, что она действительно обладает развитой психикой и развитым чувством социальности, то есть общественного поведения, из некоторых наставлений по уходу за ней, по выездке я почерпнул. Там же я почерпнул знание о специфике ее физиологии, при которой инстинкт движения являлся самым важным элементом ее жизни. Если она здорова — она всегда более расположена двигаться, нежели стоять. Бег в ее жизни, можно сказать, составляет все. Настоящий знаток может судить о ее душевном состоянии по ритму ее аллюра. Я, конечно, не из знатоков и потому просто на память приведу пару примеров из вычитанного. На рыси в момент ее душевного напряжения или страха шаг ее становится напряженным и скованным. Особенно это сказывается на передних ногах. Равно же в таких случаях она ведет себя и при галопе. То есть при галопе в таких случаях она бежит только задними ногами, а передними бежит рысью. И даже если она бежит ровно и размашисто, но в душе что-то переживает или испытывает страх, галоп ее для знатока отличается торопливостью. При аллюре шагом, угнетенная психически или дурно воспитанная, она характерно мотает головой.

Все это я сказал с намерением показать, как преобразились наши лошади, только что начавшие падать, а теперь подхватившие общее наше поднятие духа. Под батарейный оркестр и загремевших песнями терцев и уманцев они довольно легко прошли мимо меня на рысях и держали темп минут десять. Возможно, они были готовы держать его, даже когда мы все смолкли. Но нормой, не изматывающей лошадей на походе, является рысь как раз в течение десяти минут, после которых десять минут следует дать лошади шаг. И что еще интересно. При необходимости выдержать темп лучше не продолжать рысь, а перейти на галоп. Он лошади более естественен. Да этак скажет и любой завзятый пешеход. Медленная ходьба утомляет более и быстрее ходьбы оптимально быстрой. И мне было горько и больно за павших лошадей. Догадайся мы вовремя вместо части лошадей впрячь мулов — может быть, как раз павшие лошади попали бы в число выпряженных.

Одним словом, продержали мы настроение недолго. И вскоре же понурились наши лошади. А каково себя чувствовали мулы — понять их, как и всю Азию, по

выражению сотника Томлина, было невозможно. Вполне могло статься, они по-лошадиному переживали свою участь. Все-таки одна вторая доля лошадиной крови в них жила.

А сотник Томлин, по словам бутаковского урядника Расковалова, имел у нас присутствие отсутствия. Он перед самым нашим рейдом увязался с санитарным транспортом в соседний этапный питательный пункт в надежде разжиться спиртом и к моменту нашего выступления не вернулся — не вернулся и не догнал. Спирт соблазнял многих. Во избежание использования его не по назначению был приказ мешать спирт с эфиром. Но страждущих это не остановило — прямо по латинскому выражению: “Hoc volo, sit pro ratione voluntas, — Я этого хочу, пусть доводом будет моя воля!” — выражение, кажется, из “Сатир” Ювенала. За тяготой нашей первобытной повседневности сомнение мое в принадлежности цитаты пусть простится. А добавление эфира в спирт никого не остановило. И спирт у определенной части нашего брата офицеров, земских работников, врачей и санитаров был предметом вожделения.

Глава 5

Выстрелы левофлангового разъезда разбудили нас от тупой дремы. Я очнулся и открыл глаза. Левой рукой я держался за узду Локая, а правой опирался на его холку. То есть я, как лошадь, спал на ходу. Проснувшись, я остановился. На вершину холма выкатился наш разъезд, спешился и с колена дал в ту сторону, откуда прикатил, залп. Один казак покатил к нам.

— Туть! — тоже сказал я.

— Ваш вы-б-б-б! Курды! Много! — каким-то образом издалека нашел меня казак.

— Сколько много? — рассердился я.

— Сотен пять, ваше вы-б-б-б! — выдохнул казак.

— Как обнаружили? — спросил я.

— Вот так, ваше вы-б-б-б, в один конь идем, вдруг — поперешнай с холма гребешок! Только мы — на него! А там их тьма, и без дозора! Не то бы!..

— Точный координат сказать можешь? — спросил я.

— Чаво, ваше высокоблагородие? — приложился к папахе казак.

— Где именно они, на каком расстоянии отсюда? — спросил я.

— Так, ваше вы-б-б-б, вот за холмичком, как мы на гребешок вышли — они тут, прямо рукой подать, хоть кулеш ихнай хлебай! — зачастил казак.

— Верста, две? — начал злиться я.

— Та вот, з вэрсту! — развел перед собой руками казак, надо полагать, хотел показать, сколько мало это — “з вэрсту”, а вдруг увидел, что это очень много. — Та ни! — вскричал он. — Яка вэрста! Та з полвэрсточки будэ!

— Как успели сосчитать, что пять сотен? — спросил я.

— Так что, командир разъезда велел сказать: пять! — сказал казак.

“Та шоб тоби! — едва не хватил я его плетью и прикинул: — Если и в половину!..” — подумал я, что мы захвачены на марше, что на таком расстоянии не успеем воспользоваться орудиями, что с полверсты — это всего минута.

Я зло хлопнул плетью по рваному сапогу и прислушался. Чего-то особого из-за стрельбы разъезда я не услышал, но почувствовал, как за холмом что-то происходит. “Полверсты!” — подумал я и отмахнул вестовому Семенову:

— Подъесаулу Дикому всей сотней на холм быстро! Залечь и стрелять залпами! — Оглянулся на пулеметную команду: — Два ручных “максима” — на холм! У вас минута! — И к связистам: — С аппаратом — на холм, доложить обстановку! — И взводным батареи: — Стянуться кругом, вот так! — я показал вокруг себя и отчего-то враз вспомнил, даже не вспомнил, на воспоминание не было и секунды. Я враз увидел гуситов времен Крестьянской войны в Чехии пятнадцатого века,

обороняющихся именно так, кругом выстроив повозки. Я враз увидел и Наполеона времени его экспедиции в Египет, отдающего при нападении египетских мамлюков свой знаменитый приказ: “Ученых и ослов в середину!” — Вот так, кругом, и приготовиться к ружейной стрельбе! — еще раз показал я. — Лошадей и мулов стабунить в середину!

— Борис Алексеевич! — подбежал Павел Георгиевич.

— Слушаю вас! — сказал я, а сам глазами был уже в пулеметной команде, снимающей с повозки два пулемета “максим”, взятых нами в трофей. — Вперед на холм, быстро! У вас минута! — закричал я пулеметчикам.

Четыре пулеметчика — первые и вторые номера пулеметов — как-то по-дурацки, будто куражась над моим приказом, расшеперились, подхватили пулеметы с патронными коробками да взялись рысью вслед уманцам. “Порубят!” — сверкнула как молния картинка.

— Борис Алексеевич! — снова вскричал Павел Георгиевич.

— Быстро — круг! Исполнять! — махнул я.

— Да круг не получится! — вскричал Павел Георгиевич, а я увидел, что он хотел мне сказать совсем другое, он хотел мне сказать о гибельности моего приказа.

— Делать вот это! — очертил я в воздухе эллипс.

— Так точно! — только и смог ответить Павел Георгиевич.

“А что не так точно! — про себя взъехидничал я. — Они сейчас нас порубят, а он о круге препирается!”

— Третий пулемет! — закричал я пулеметной команде.

— Дозвольте с ними, ваше высокоблагородие! — подбежал унтер Буденный.

— Выдвиньтесь назад, к той трещине, — показал я на только пройденную впадину между обрывистыми холмами. — И если она не занята, найдите момент ударить во фланг или в тыл!

— Й-есть, ваше высокоблагородие! — козырнул унтер, и уже через полминуты сквозь гул начинающегося боя донесся мне его тонкий, но резкий и ввинчивающийся голос: — Взвод! На конь! В колонну по звеньям! Рысью-ю-ю… марш!

А я снова закричал третьему пулемету, тяжелому станковому пулемету “максим”, быть готовым, — а к чему готовым, я сразу сказать не мог, ведь не бежать же, а, конечно же, стрелять. Но куда — в этой обстановке я сказать не мог. И потому только закричал с какой-то даже угрозой, чтобы были готовы.

И правду говорят, дуракам везет. Я уже не один раз говорил, что я не умный, что меня за такового принимают. В который раз заступница моя Божья Матерь заступилась за меня. Минута прошла. А курды все на гребне не появлялись. Разъезд ахал в их сторону залп за залпом. В перерывы, когда они досылали патрон, я явственно слышал давящий гул большой конной массы. Но разъезд с гребня не бежал. Что-то его не гнало в страхе с гребня. Возможно, это обстоятельство,

несмотря на вытаращенные глаза присланного казака и его доклад о пятистах курдах, находящихся к нам вплотную так, что и кулеш их можно было зачерпнуть ложкой, заставило меня отдать мой на первый взгляд губительный приказ.

Уманцы на половине холма оставили лошадей и полезли пешком. Их было хорошо видно. И было видно, сколько мы все неживые. Уманцы лезли на холм, будто шли по воде против сильного течения. Закипающий от жара воздух резал их напополам. Разъезд продолжал стрелять за гребень залпами. И снова в момент досыла патрона из-за гребня явственно врывался гул большой конной массы.

Я, кажется, все сделал. Оставалось теперь только ждать. То есть делать самое тяжелое. Быстро, как выстрелы, не словами, а дробными камнями во мне застучало: “Как быть? Что делать? Чем отразить? Отчего они так смелы, что напали на артиллерию? Что это могло означать? Ждать такого же нападения с правого фланга, становящегося при нашем развороте влево нашим тылом? Придется рубиться?” — И расслабляюще до опускания рук ударило, справлюсь ли я с рубкой, правильно ли я распорядился.

Трудно сказать, какое время я был в таком состоянии. По мне, так это длилось нескончаемо долго. Павел Георгиевич, наверно, почувствовал это. Он подошел, а я сперва и не заметил того. Я только услышал:

— Разъезд стреляет и ни с места!

И с меня сошла лихорадка. Я огляделся. Никакой нескончаемости во времени не было. Хвати, так прошла какая-нибудь минута.

Далее все было тривиально. И мне все это было вдруг знакомо. И мне было потом за мои переживания стыдно.

Он прорвался с холма. С холма их встретили наши пулеметы и сотня уманцев — залпами. Но с полтора десятка их прорвались через гребень. Мы с Павлом Георгиевичем были в седлах. Мы видели — полтора десятка их прорвались и потекли с холма. Я их понял. Уже сам бой потащил их. Павел Георгиевич вынул револьвер.

— Господа! — подбежал абсолютно белый в лице адъютант батареи хорунжий Комиссаров. — Господа! Да ведь они нас изрубят!

— Ваше высоко-б-б-б! Ваше высоко-б-б-б! — завскрикивал, будто ребенок, вахмистр Касьян Романович.

— Взвод! Пачкой! Прицельно… гтовсь! — дал команду своему взводу Павел Георгиевич. И его команду повторил своему взводу подъесаул Храпов.

Я смотрел на прорвавшихся полтора десятка всадников. Мне было неприятно их видеть. И я видел одного из них, моего.

С треском ударил пулемет в голове колонны.

— Ага, — сказал я в удовлетворении.

— Ваше высоко-б-б-б! — снова закричал Касьян Романыч.

— Да что же это такое, господа! Ведь вы командир! — схватил меня за стремя

хорунжий Комиссаров.

Мне стало за него стыдно. Я не мог более находиться около этого человека, носящего на плечах погоны офицера русской императорской армии. С него следовало погоны снять. Осторожно, будто жалея, я вынул шашку, на которой, как помните, было заклятие. Я вынул шашку. Я дал Локаю шенкеля. Он переступил и взял рысью. Хорунжий Комиссаров едва не упал, но отцепился. Я дал Локаю шенкеля еще. Локай взял галоп. По своей породе он хорошо ходил в гору, хорошо ходил по любой местности даже ночью. И по своей породе он не любил рыси.

— Борис Алексеевич! — услышал я Павла Георгиевича.

Я увидел одного из полутора десятка прорвавшихся. “Как же все остальные?” — подумал я и тут же забыл. Я стал караулить только одного. Мне нужно было набрать скорость. По Наполеону, залог победы заключался в скорости, помноженной на массу, — совсем как в физике. И мне очень нужно было набрать скорость. Но в этот раз у меня не получалось и не могло получиться — при совершенно измотанном Локае и при нашем движении в гору никакой скорости не могло быть. А я своего курда ждал. И на миг мне его стало жалко. “Хоть бы другой!” — подумал я о нем. А потом я пригнулся. Потом я услышал тонкий свист пусто прошедшей над моей головой его сабли. И потом я едва удержался в седле. Я едва не свалился от удара моей шашки. Мне не хватило силы удержать мою шашку. Рука моя переломилась в локте. Я уперся в стремена и тем удержался. Локай шарахнулся, но тоже удержался. Мою руку с шашкой стало сильно выворачивать назад. Я оперся в стремена и дернул шашку к себе. Проскочивший за мою спину всадник что-то этакое сделал. Я на удивление легким выдохом понял, что от его чего-то этак сделанного мне ничего не будет. Мне следовало оставить его и встречать другого. Другой пролетел мимо. Я оглянулся и увидел, что мой всадник заваливается. И второй, только что пролетевший мимо, тоже заваливается. Моя батарея ахнула мимо моей спины винтовочным залпом.

Локай остановился. Прошла минута. Может быть, прошли две минуты. Я их сосчитать не смог. Мне хотелось еще рубиться. Я уверился, что в любой рубке я буду жить. Мне последовательными картинками приплыло все, что только что было. Я не набрал скорость. А он летел с холма. Он тоже увидел меня. Он нашел момент ударить меня. Он, вероятно, не надеялся попасть в меня ударом сверху. Вероятно, конь его просто понес, то есть стал неуправляем. И он засомневался, удастся ли ему меня достать ударом сверху. Он решил найти меня ударом спереди. Я же пригнулся к шее Локая и сделал выпад шашкой, то есть встретил его шашкой, как пикой. Он напоролся на мою шашку.

Пока все вокруг грохотало выстрелами, я ничего не слышал. А пришел в себя лишь при вдруг полившейся с холма восторженной брани уманцев.

— Ваше высоко-б-б-б! — кричали они.

Человек двадцать пленных торчали средь них. Касьян Романыч ловил серого жеребчика, с которого я ссадил всадника.

— Стой, стой, стой, диконькой! Стой! — манил он его вдруг невесть как взявшейся ржаной коркой. Красив был в это время наш вахмистр. Но еще более

красивый жеребчик ему не давался. Он коротко взлягивал. Его подковы каждый раз отдавали солнцем. Касьян Романыч шарахался и норовил обогнуть жеребчика, взять его за узду. Жеребчик его маневр видел и тотчас поворачивался к нему задом и блестел подковами. — Диконькой, диконькой, мордушка курдячья, нехристь ты мой, стой, стой, мордушка! — тянул левой рукой корку Касьян Романыч, а правой норовил ухватить повод.

Павел Георгиевич захохотал. Захохотал и я. Понять было нельзя — отчего мы захохотали. Я повернул к Павлу Георгиевичу.

— Пятьсот! Кто сказал пятьсот? — смеялся я.

Их, может быть, на самом деле было пятьсот. Иначе бы они не отважились напасть. Но у них хватило ума бросить атаку и отвернуть. Пулеметчики стояли на гребне и ждали, когда подстынут пулеметные стволы. Калибр пулеметов был семь девяносто две. Металлические ленты были на двести пятьдесят патронов. Мы имели это сверх штата. Много чего не было предусмотрено батарее.

— Борис Алексеевич. Впредь не стоит так рисковать! — сказал мне Павел Георгиевич. — Я уже распрощался с вами, когда он махнул саблей. А потом смотрю, вы держитесь в седле, а он заваливается. Вы молодец, конечно. Но зачем вам это? Ваше дело — батарея!

— Не знаю, Павел Георгиевич, зачем. Само собой вышло, — ответил я, и я на самом деле не знал, как это вышло. — Сколько это длилось? — спросил я.

— Да вот, — Павел Георгиевич посмотрел на часы. — Могу соврать, Борис Алексеевич, но ведь минут восемь все это длилось!

— Я восемь минут рубился? — спросил я.

— Нет, что вы! Вы вынули шашку. Вы в седле съехали, простите, на левую полу… еще раз простите, полужопицу, как обычно делают кавказцы. Я смотрю, вы ниже его идете. Я приготовился стрелять из револьвера, но испугался, что с такого расстояния попаду в вас. А вы как-то идете понизу. Он поверил, что вас возьмет сверху. Ну и просчитался. Вы его обманули. Он промахнулся и напоролся на вашу шашку! Красиво было, Борис Алексеевич! — сказал Павел Георгиевич.

— Где он? — спросил я.

— Кажется, вон тот! — сказал Павел Георгиевич, и мы подъехали к скрючившемуся на земле курду, быстро-быстро хватающему воздух и даже на первый взгляд уже не жильцу.

Я отвернулся.

— Глаза у него не голубые? — спросил я, конечно вспомнив Марфутку, то есть снега Сарыкамыша.

— Там уже ничего не понять, — сказал Павел Георгиевич.

— Отбились? — спросил я.

— Пока отбились! — кивнул Павел Георгиевич.

— Наши потери? — спросил я.

— Сейчас все вернутся — сосчитаем. Но, кажется, нас Бог миловал! — сказал Павел Георгиевич.

Пленные стояли кучкой. Они ждали, когда мы их начнем мучить. Я подъехал к ним. Мне их кормить было нечем. Раненых обиходить тоже было нечем. Я остановился. Впору было на все привычно обозлиться. Но отчего-то сил на это не было. Павел Георгиевич понял меня по-своему.

— Борис Алексеевич, вы видели изнасилованных молодых армянских девушек? Изнасилованных и с перерезанными горлами, и еще при этом обнаженных так, чтобы было видно, ну, сами понимаете, что должно было быть видно, — сказал Павел Георгиевич. — А мы в прошлом году в Алашкертской долине вот как на это насмотрелись. Их рук, — Павел Георгиевич показал на пленных, — их рук было дело!

— И как вы предлагаете поступить — по их образу и подобию, по их делам, так сказать? — понял я, для чего вспомнил Павел Георгиевич зверства курдов. И спросил я с какой-то неприязнью, какой Павел Георгиевич совсем не заслуживал.

— Мы, — показал Павел Георгиевич на батарею и уманцев, — видели этих армянских девушек много — и уже вздутыми от разложения, и еще, так сказать, трепещущими в последних судорогах, когда кровь еще не успела застыть. Представляете картину. Христианский монастырь, жар, марево вдали. А окрест монастыря, и во дворе, и в храмах — оголенные девушки прокисают. Оголенные до пояса и на груди, в позорных позах, с раздвинутыми ногами. И все с перерезанными горлами. Ребятишки со вспоротыми животами или с пробитыми головами около своих оголенных матерей лежат. Редкие мужики, чаще всего старики, руки у них связаны назад. Животы понизу вспороты. Содержимое все — наружу. И как вы думаете, отличительные мужские признаки их где? А они обрезаны и вставлены в рот. Вот так при отступлении вот эти безобразники немного поозорничали. За что же их наказывать? Естественно, их надо только пожурить, господин капитан!

— И что же вы прикажете сделать, господин есаул? — попытался я усмирить свою неприязнь, но не смог.

— А вам не доводилось, господин капитан, задуматься, почему у казаков после боя никогда пленных нет? — тоже порезчал голосом Павел Георгиевич.

— Да ведь это бунт! — вдруг сказал я, казалось бы, забытое с пятого года слово.

— А так честнее, Борис Алексеевич, особенно в отношении этих! — снова показал Павел Георгиевич на курдов.

— Но есть же приказ по корпусу. Есть личная просьба Николая Николаевича ко всем чинам корпуса, чтобы являли милосердие. За нами — Россия! Да что я говорю. Есть международная конвенция. И есть просто христианское милосердие! И есть воинская дисциплина! — взорвался я на упорство Павла Георгиевича. — Как старший по должности я приказываю: оружие, лошадей, провиант, фураж забрать. Пленных под охраной заставить собрать убитых и похоронить, а потом отдать им

раненых и отпустить!.. Подъесаул Дикой, выделить взвод под охрану! Заодно этот взвод дождется драгун и пойдет в арьергарде!

— Слушаюсь! — хмуро откозырял подъесаул Дикой, отошел и зло махнул хорунжему Кожуре на пленных: — Твой взвод, Петро!

Затем я велел подъесаулу Дикому сделать рапорт о бое, в котором, если он найдет таковых, представить отличившихся к наградам.

— Да усих, хто боковохо разъизду був, — и к наградам! — буркнул вдруг повеселевший подъесаул Дикой.

Сколько мне ни хотелось дать команду на движение, я счел за благо объявить на два часа бивак.

Пленные растащили трупы и раненых с дороги. Головной разъезд, огибая убитых лошадей и грозя кулаками пленным курдам, ушел вперед. Через несколько минут тронулась и батарея, за нею — табун, и далее — остаток сотни уманцев. Возбуждение боя прошло, навалилась прежняя тупая дрема, которую не пересиливал своим взглядом смертельно раненный мой курд. Я шел и сквозь дрему более думал о хлопающей подошве и о том, что надо бы заново ее привязать. А сил остановиться недоставало. Их хватало только идти. В какой-то момент мне пригрезился наш двор и Иван Филиппович, вышедший с двумя деревянными лопатами разгрести навьюженный за ночь снег. Вышел к нему я и стал просить взять меня в помощь. От бубнения я очнулся. Я все так же шел, опершись на холку Локая и уперев локоть в луку седла. Рядом на ходу дремал вестовой Семенов. И рядом в каком-то ожидании смотрел на меня вахмистр Касьян Романыч.

— Что, Касьян Романыч? — спросил я.

— Так что покорно прошу извинить, ваше высокоблагородие! — не осмелился далее этих слов говорить вахмистр.

— Слушаю вас. Что? — снова спросил я.

— Так что вы как его ссадили молодецки, а жеребчик теперь остался бесхозный. В корпус его отдадим. А там неизвестно какому тахтую он достанется. Может, такому тахтую он достанется, что Бел-Терек такого тахтуя век не видывал. А мне он к душе прилег. Я с него глаз спустить не могу. Изорвался я по нем душой, ваше высокоблагородие! Я отпишу жене Екатерине Евлампьевне, — сказал он с полной любовью ко мне в глазах. — Она приедет, заберет его. За всю мою службу будет мне награда.

— Касьян Романыч, любезный, да как же она приедет, как же она его увезет? Ведь — не в соседнюю станицу, ведь и железной дорогой ехать, и пароходом плыть! — возразил я.

— Да уж она сможет, ваше высокоблагородие! А без этого серого жеребчика мне уже и жизнь не в жизнь! Всех своих домашних за вас Богу молиться заставлю! Да она сможет! Кто там уж и не сможет, а моя Екатерина Евлампьевна, она — ей это нет ничто! А я отпишу, что батарейный командир и кавалер, низяюще всей батареей почитаемый, любезно наградил меня конем-жеребчиком заморской масти! Она до

наказного дойдет, а приедет! — обволакивал меня любовным взглядом Касьян Романыч.

Жалко было мне его. Но я понимал всю зряшность его затеи.

— Нет, Касьян Романыч, — твердо отказал я. — Нет. Не просите. —

А потом смягчился: — А вот если вы возьмете его на свой кошт, тогда берите, оформим приказом по батарее!

Быстро сообразив, что стоит хотя бы согласиться на это, Касьян Романыч в благодарности, правда несколько картинной, весь вскинулся:

— Премного вам благодарен, выше высокоблагородие! Мы уж отслужим!

Я не стал оглядываться. Я был уверен — вахмистр побежал к табуну за своим жеребчиком.

Глава 6

Из стремительно густеющей вечерней мглы нам навстречу пошел сначала редкий и шлепающий галоп, а потом вывалился казак головного дозора.

— Слава Богу, ваше высоко-б-б-б, драгуны наши тут сразу за горушкой! Восемнадцатый полк! Северцы! — выдохнул он.

— Хороши! — сказал я едва не в злобе.

И было отчего так сказать. Вышло, что мы, батарея, то есть тяжелая повозочная часть, имели темп движения больший, чем они, кавалерия, то есть совершенно подвижное воинское формирование. Эту же мысль, сам того не подозревая, сказал при моем представлении командир северцев полковник Александр Петрович Гревс.

— Вы что, летаете, капитан? — скрывая за усталостью от перехода традиционное чувство превосходства кавалериста перед кем бы то ни было, сказал он.

Усталость его, впрочем, была напускной и даже томной, опять же показывающей превосходство его, кавалериста, передо мной, армейской — и того хуже — казачьей артиллерией. “Вот вы летаете, чтобы нас догнать. А мы ползем и позволяем нас догнать. Но если мы полетим, то…” — нечто похожее явно хотел сказать он своей томной усталостью. Мне на это ответить было нечем. Я едва стоял на ногах. Я не стал спрашивать, где полковник Амашукели, которого мы должны были обеспечивать своими двумя снарядами на орудие. Я подумал, что это излишне.

— Никак нет, господин полковник, мы не летаем! — ответил я, почтя за благо принять его слова в качестве похвалы. Но и нарочно принимая его слова за похвалу, я не сдержался надерзить. — Мы не летаем, господин полковник, — сказал я. — Мы исполняем приказ его превосходительства командующего корпусом усилить Первую Кавказскую кавалерийскую дивизию ввиду угрозы ей и ввиду недостаточности ее собственных сил эту угрозу отвратить!

Я это оттявкал этакой маленькой собачкой и уставился на полковника Гревса совершенно невинно — во всяком случае, я постарался уставиться совершенно невинно. Будь у меня хвост, я бы непременно им вильнул.

И кто бы не раскусил мою дерзость! Конечно, он раскусил ее.

— Исполняйте, капитан! — сказал он, сдерживаясь. — Для большего исполнения соотнеситесь с моим адъютантом. Пусть отведет вам место отдыха! — И, будто с интересом, спросил: — Да, капитан, как дошли?

— Благодарю, превосходно. Отставших нет, ваше высокоблагородие! — ответил я и постарался щелкнуть каблуками. Они же у меня только шмякнули.

От меня не укрылся его брезгливый взгляд на рвань у меня на ногах, на мою сопревшую, пропитавшуюся пылью и солью, выгоревшую до белесости черкеску, на мое обросшее и почерневшее, облупившее не на раз лицо.

— Хорошо, капитан. Идите! — сказал он, усиливая свой кавалерийский

выговор, то есть сказал: — Хэгэшьо, кэптэн, эдэте!

Было отчего мне обозлиться на драгун и их командира. Но было отчего ему смотреть этак сверху на нас, на казаков. В отличие от драгун, имевших по уставу при седле небольшой вьюк с предметами первой необходимости, а все остальное хранивших в обозе, казак возил с собой все свое имущество. По так называемому арматурному списку, казак был обязан иметь при себе в переметных сумах один бешмет простой, другой бешмет ватный и стеганый, две черкески, две папахи, башлык, одну овчинную шубу и, разумеется, бурку, две пары сапог, двое шаровар, три смены белья, два полотенца, отсутствующее у нас мыло, котелок, швейные принадлежности, суточный запас продовольствия, попону с троком, веревку. Зимой список пополнялся валенками — правда, уже не за счет казака, а за счет интендантства. Эти личные вещи казак торочил к задней луке седла. А на передней луке у него были саквы для зерна и сетка для сена, а также упомянутые четыре подковы с гвоздями и боезапас в двести пятьдесят патронов, частью распределенный в патронташ. Все это в дождь мокло, спрессовывалось, плесневело, на солнце спрессовывалось еще более, приобретало не совсем приятный аромат. Но деваться казаку было некуда. Обоз все это брать не имел права. Обоз возил казенную часть полка — фураж, провиант и прочее. Такова была уставная норма. Инспекторский смотр эту норму отслеживал со всей тщательностью и выносил командиру полка служебное порицание, если вдруг обнаруживал хоть какие-то на уставной взгляд непорядки. Иметь взыскание за ненадлежаще соблюдаемый обоз в среде высшего начальства было более страшным грехом, чем иметь взыскание за отход от норм боевого устава. Легче было казаку-батарейцу. Все перечисленное имущество его пребывало в ведении вещевого каптенармуса. Но казаку-батарейцу тяжелее было в самой службе. А в целом тяжелее казачьей доли, думаю, ни в каком роде войск русской армии не было.

О том, что мы не плелись, не шарашились, не тащились едва, не ползли, а летели, сказал и адъютант командира полка северцев.

— Мы вас, право, уже и не ждали. Турок большими силами перешел Диалу. Он буквально в одном переходе от нас. Мы думали, что вы уже отрезаны. Счастье, что вы оторвались от него. Ну что ж, располагайтесь, отдыхайте. Завтра на рассвете снимемся. Турок уже дышит в затылок. Задачу получите завтра. Да, собственно, она вам известна. Отходим в район Кериндского хребта. Там и встретим гостя.

Местом отдыха драгун был этапный питательный пункт, уже сворачивающийся и частью уже ушедший на новое место. Два санитара из дружинников, так называемые крестики за их кресты на папахах вместо кокард, и две сестры милосердия укладывали в санитарную двуколку остаток лазаретного имущества. Увидеть женщин было уже совершенно отвычно. И я на какое-то время просто прилип взглядом к их стройным фигурам. Обе сестры были мне знакомы. Одна из них была племянницей известной на весь наш Персидский фронт деятельницы Красного Креста графини Бобринской, и была, невзирая на титул, очень деловой и самоотверженной работницей. Другой я не знал. Да, собственно, никого, почти никого из женщин здесь я не знал. Мне, мерину, не было до них дела.

— Боже, Борис Алексеевич! А говорят, что вы в плену! — в голос воскликнули

они.

— Да что вы, барышни! — сконфузился я своего вида.

— Да вправду же так говорят! Говорят, что турок переправился через какую-то там реку на нашу сторону и отрезал вас и еще целую бригаду! — с восторгом и напором снова воскликнули сестры.

— Да вот же я! — показал я на себя.

— Валерия! Приготовьте господину капитану хоть немного воды! Да ведь покормить его надо! — воскликнула графинечка.

— Не извольте беспокоиться! Я с батареей! — сказал я.

Мимо пошли унтер Буденный с двумя драгунами. Впереди их со стеком в руке шел корнет. Унтер и драгуны откозыряли мне лихо, а корнет лениво прикоснулся к фуражке.

— Корнет, ко мне! — приказал я.

— Командир взвода Восемнадцатого драгунского Северского короля датского Христиана девятого полка корнет Улагай! — представился корнет.

— Доложите своему командиру о неуважительном отношении к старшему по званию офицеру! — сказал я.

— Виноват. В темноте не разглядел вашего звания! — солгал корнет.

— Доложите своему командиру, что капитан Норин уличил вас во лжи! — сказал я.

Конечно, я не должен был этого говорить. Я перечеркивал корнету всю карьеру.

— Слушаюсь! — дрогнул голосом корнет.

— Борис Алексеевич! Зачем же так жестоко! Ведь все это закончится очень плохо и для корнета, и для вас! — ахнули сестры.

Они явно не видели ленивого и, значит, презрительного прикосновения корнета к своей фуражке. Я потому должен был показаться им монстром.

— Прошу прощения, милые барышни! — сказал я и, как мне ни хотелось остаться при них, то есть как бы побыть в каком-то новом обществе, отличном от моего, сложившегося за два месяца боев, пошел искать свою батарею.

Обе сестры решительно меня остановили.

— Хоть вы и сатрап, но мы вас не отпустим без кофе! — сказала графинечка и послала Валерию приготовить горячей воды. — Много мы вам не сварим, дров нет. А на спиртовке приготовим вам хотя бы умыться и на кружку кофе. Да скажите же о вашей одиссее! — воскликнула она. — Ведь уже стали говорить, что вы без снарядов, что вас турки окружили!

— Благодарю вас, ваше сиятельство! И все же я пойду! — столько же решительно, что и они, отказал я и снова извинился. — К сожалению, я не могу вас пригласить в батарею. Мы в таком виде, что…

— Да полноте! И “сиятельства” прошу не употреблять. И виды мы всякие видывали! И я старше вас годами, потому извольте слушаться! — весело возмутилась графинечка и сменила тон: — А вы пойдите сами к командиру этого корнета и объяснитесь! И не упрямьтесь!

Упрямиться я не думал. Во мне стало расти некое волнение, стала меня охватывать некая лихорадка, совсем как при курдской атаке. Я не понимал ее причины. То есть я понимал, что взволновался от женщин, их вида, голоса, их внимания. Но почему я, будучи мерином, тянущим служебную лямку и более ничего не замечающим, вдруг взволновался, — этого я понять не мог. Мне было очень неприятно от своего состояния. У меня и голос вдруг стал меняться, слова стали резки и обрывочны, а челюсть стало сводить, и в горле появилась спазма. Более всего мне захотелось лечь, закрыть глаза и пропасть — то ли уснуть, то ли пропасть совсем.

— Благодарю! Но служебные дела! — кое-как справился я с этими четырьмя словами и пошел.

— Мы вам принесем! — сказала вдогонку графинечка.

— Благодарю! — ответил я, хотя намеревался сказать “Не стоит!”

Нашедший меня вестовой Семенов проводил в батарею. Нам досталась полуразвалина караван-сарая — саманные стены да подобие крыши из кривых стропил, частью закрытых гнилым камышом. Я вошел в нее. Пока еще не потемневшее небо высветило на стенах траву, плесень, мох и местами даже кустарник. Под ногами мягко спружинил толстый слой навоза, отбросов и грязи, дающий сильный смрад. Под ним явно разлагались скотьи останки. И явно здесь было пристанище змеям и скорпионам. В подтверждение моего предположения запищали и бесшумно сорвались со стропил летучие мыши — наверняка их потревожила змея. Днем, как малопригодное, но все же укрытие от солнца, эта полуразвалина была бы к месту. Но ночью она была не нужна. Я поспешил выйти.

Вся батарея вповалку упала меж орудий и зарядных ящиков, лишь едва остановилась. Лихорадка меня чуть отпустила. Но перед глазами стояли две женские фигуры, ставшие вдруг символом женских фигур вообще, пребывающим в каком-то абстрактном пустынном пейзаже, кажется, как на картинах господина Мунка. Я подумал, что за восемь месяцев боев здесь, в Персии, я стал уставать. Я развязал бечевку на сапоге. Подошва отвалилась полностью. Запах сродни смраду караван-сарая заставил меня закашляться. Мне с таким запахом не было места рядом с видением женских фигур. Они куда-то уплыли. Я потрогал ступню. Остатки спрессованной портянки отвалились. Как и в чем я буду ходить завтра, сказать было невозможно. С помощью Семенова я стянул сапоги и лег прямо на землю. Один из офицеров в Горийском госпитале рассказывал о начальнике его дивизии генерале Р. — да, впрочем, что за секретности я решил наводить! Начальник одной из дивизий Западного фронта генерал Раух каждую ночь лично проверял, все ли господа офицеры спят в сапогах, не разувшись. Спать в сапогах было его непременным требованием. Исходило оно из соображения, как рассказывал офицер, в случае нужды, то есть нападения противника, можно было мгновенно испариться. Этот

трус, по рассказам того же офицера, не разрешал на отдыхе расседлывать лошадей. Можно представить, в каком состоянии были несчастные животные.

Семенов хотел подложить мне бурку. Я отмахнулся и закрыл глаза. Видение женщин появилось вновь. Но пульсирующе и меняюще одна другую стали бить по глазам картинки прошедшего дня. Я открыл глаза. Небо надо мной наливалось тяжестью звезд. Вестовой Семенов сидел подле. То ли звезды отразились в моих глазах, то ли Семенов почувствовал сам, что я не сплю.

— Борис Алексеевич, давайте я вам все-таки постелю! А то ну как эти гады к вам наползут! — сказал он.

Я опять остановил его и долго, минут двадцать, лежал. Едва я закрывал глаза, картинки дня тотчас надвигались. Снова приходилось смотреть в небо и думать, что я начал уставать.

Об этой усталости у нас с Василием Даниловичем, то есть сотником Гамалием, вышел разговор незадолго перед рейдом. Я уже говорил, что мы с ним сдружились сразу же по моем приходе в дивизию. Он оказался на четыре года меня старше, и ростом он оказывался выше меня на голову, совсем как покойный Раджаб. Это уж, видно, мне по судьбе стало иметь в друзьях высоких, статных и могутных. При своих уже названных характеристиках Василий Данилович был по-детски доверчив и чист. Его физические данные богатыря не давали ему возможности быть джигитом — едва ли бы какая лошадь выдержала элементов джигитовки в его исполнении. Но наездником он был от Бога. Шашка и пика, не совсем соразмерно смотрящиеся в его руках, то есть смотрящиеся игрушечными, как раз этой несоразмерностью внушали неподдельный ужас — лишь стоило представить, что они пойдут по тебе. Первый офицерский чин он получил по окончании Оренбургского казачьего училища в двадцать семь лет, а до того послужил рядовым казаком и младшим урядником. Сотня в нем души не чаяла, при том что он был великий сладкоежка и был не прочь покутить. За нынешнюю зимнюю кампанию он получил Георгиевское оружие. При таких данных он, конечно же, имел массу завистников и недоброжелателей, чему примером может послужить тон офицера связи, два дня назад передавшего мне приказ о присоединении к драгунскому полку и сообщившего, что Василий Данилович откуда-то вернулся и потому он являлся везунчиком и любимчиком у Николая Николаевича Баратова.

Перед нынешним рейдом мы с ним вдруг разговорились об этой усталости. Если судить серьезно, я войны не видел. Пять дней под Хопом, два-три дня под Сарыкамышем, рейд на Рабат-Кярим, чуть более пяти месяцев в штабе корпуса и несколько месяцев лазаретов — это считать за войну довольно трудно. Василий Данилович же зачерпнул ее ковшом, и зачерпнул довольно изрядно, — с осени четырнадцатого, весь пятнадцатый год и зиму шестнадцатого.

Мы с ним баловались чайкём, как он любил говорить в хорошем расположении духа. Мы сидели в моей утлой — по-иному и сказать нельзя — комнатке в здании штаба корпуса. Он откинулся на топчан, хрустко, до посоловения в глазах потянулся и вдруг сказал:

— А как бы я сейчас оказался в своей станице Переяславской, а, Борис

Алексеич!

— Что так? — не придавая никакого значения его словам, спросил я.

— А вот что-то так. Смотрю я сейчас на пришедших молодых, на их рвение, и даже поросячье рвение, на их желание куда-то лезть, куда-то без надобности кидаться, постоянно показывать готовность подставить башку под пулю и тем прослыть храбрецом. Одним словом — все они орлы. Я же вдруг стал себя чувствовать кастрированным петухом. И важен я, и красив, и взглядом суров, и голосом — гы-гы! — громогласен, а вот лег бы я поспать у себя в огороде и спал бы да спал, и никакая курочка меня бы не взбодрила.

Я удивился ему. Но как-либо по-другому, с каким-либо подтекстом, не украшающим Василия Даниловича, его слов я принять не мог. Я принял их за обыкновенное мечтание, и я даже внутренне улыбнулся Василию Даниловичу, как, наверно, улыбается отец своему младому сыну. Тогда я почувствовал себя старше Василия Даниловича.

А теперь я почувствовал себя усталым, будто постарел и набрался какого-то опыта, не совсем мне нужного и возлегшего на меня грузом.

“Откуда же он вернулся?” — вспомнил я слова офицера связи о Василии Даниловиче.

И в тот же миг я услышал голос Валерии.

— Господа! Господа! Скажите, где казачья батарея капитана Норина? — стала спрашивать она.

— Так ведь, сестрица, это она и есть! Так что, сестрица, мы и есть! Пожалуйте к нам, сестрица! — понеслось в ответ со всех сторон.

— Здравствуйте, господа! Со счастливым вас прибытием! Где же сам господин капитан? — спросила Валерия.

Я кинулся натягивать сапоги и привязывать подошву. Вестовой Семенов метнулся ко мне.

— Вот, Борис Алексеевич! — ткнул он мне в руки даже на ощупь скатавшиеся под чужой ногой шерстяные носки и свои сапоги, ничуть не лучше моих, но хотя бы с подошвами.

— Откуда? — спросил я про носки.

— Виноват! С курдяка снял, а постирать не успел! Вам же совсем не в чем! — вытянулся вестовой Семенов.

— Так где же их высокоблагородие? Они ведь в полк к драгунам уходили! — стали гадать мои батарейцы.

Я отозвался.

— Вы здесь? — только-то и нашел что сказать чрезвычайно смутившийся Павел Георгиевич.

— Борис Алексеевич! Вот вам кофе! — пошла на голос Валерия.

— Кофе — больным! — сказал я.

— Но не хватит! На спиртовке я смогла приготовить только вот! — она протянула завернутую в полотенце жестяную кружку.

— Все равно — больным! — сказал я.

Я не ожидал, что приготовят этот несчастный кофе и потащат мне. “Заботы им тут больше нет!” — зло подумал я о сестрах. И виноваты они стали только потому, что заботой своей нарушили уже сложившийся мой порядок вещей, в котором чьей-либо заботы обо мне не находилось места.

— Борис Алексеевич! Но… — хотела возразить Валерия.

— Спасибо за заботу. Но возвращайтесь к себе! — приказал я и в еще большей злости прибавил: — Для моих больных у вас ведь нет ни капли лекарства!

— Вот если бы вы нашли дров! — ничуть не смутилась моей злости Валерия.

— И что? — вспомнил я про стропила караван-сарая.

— Я бы вам сварила на всю батарею! Правда, он получился бы жидкий. Его у нас осталось немного. И сгущенного молока немного. Но я бы сварила на всех! — сказала Валерия.

— Павел Георгиевич, хотите какавы? — спросил я.

— Какао у нас кончилось. Остался только кофе. И если сварить пожиже, то хватит всем! — не поняла нашей шутки Валерия.

И не успел Павел Георгиевич что-либо ответить, я позвал Касьяна Романыча и велел ломать стропила.

— Прекрасно! — обрадовалась Валерия. — Дайте мне помощников. Мы принесем воду и все остальное! — И опять протянула мне кружку: — Ну, хоть теперь выпейте, Борис Алексеевич!

— Да выпейте же, уважьте сестрицу! — поддержал ее Павел Георгиевич.

— Пейте, ваше высокоблагородие! Нешто! Не все британцам какаву кушать! Мы тоже! Спасибо, сестрица! — понеслось по батарее.

Я отхлебнул от кружки и почувствовал, сколько мне неприятно, сколько я вообще не хочу ни пить, ни есть.

Казаки в минуту разворошили крышу караван-сарая и сложили два костра с двумя котлами воды.

— В двух-то кострах меньше жару пропадет! — сказал Касьян Романыч.

Что-то неуловимое ко мне в нем изменилось. Я подумал, что это из-за серого жеребчика, не отданного ему безвозмездно. Но я не мог понять, почему я должен был отдать коня только ему, тем более что он его не заполучил в бою.

Огонь и перспектива попить горячего кофе, да и само присутствие в батарее Валерии настроение казаков подняло.

— Ах, сестрица! Сколько же вам спасибочки за вашу заботу! Уж сколько ден, почитайте, горячего не пили, огня не видели! — беспрестанно говорили они.

Валерия на это извинялась и говорила, что ничего более предложить не может, что все уже отправлено днем, что она рада услужить хотя бы тем, что у нее осталось. Я видел, как она старалась быть ближе ко мне. И я старался отстраниться. Она нестерпимо благоухала. Меня мучил запах от моих ног, запах два месяца немытого тела и нестиранного белья. Она будто этого не замечала, как я не замечал на походе.

Вдруг пришли два взводных командира драгунской батареи — подпоручик Хохлов и прапорщик Ануфриев. Они тоже, как и начальство их полка, считали нас в окружении и плену и неподдельно радовались, что слух оказался пустым. Мы их оставили на кофе.

— Мы пришли вас поблагодарить. Вы многому научили нас за эти бои! — сказали они.

— Чему же я вас научил? — удивился я.

— Ну, вот хотя бы: относись к каждому выстрелу как к единственному, второго может не быть! — вспомнили они.

— Ну, это банальности! — смутился я.

— Но такого никто с нас не требовал! Все только говорили о том, что вот-де бы снарядов побольше, тогда бы!.. Ведь это искусство — не расстрелять снаряды куда ни попадя, а для каждого выстрела решить в самый короткий срок целую математическую задачу и положить снаряд в цель. Нам бы очень хотелось овладеть этим искусством! — сказали взводные.

Я вспомнил свои слова Павлу Георгиевичу, что начальства не понимают артиллерии, и я вспомнил просьбу начальника штаба корпуса, или, по-нынешнему, наштакора, Николая Францевича Эрна сделать доклад о деле под Рабат-Кяримом в декабре прошлого года. И вспомнил я слова сотника Василия Даниловича Гамалия об усталости старых вояк и энергии только что пришедших на войну.

— Да что, господа, — затянул я свою старую песнь, которую начал тянуть еще в своей четвертой батарее. — По научным данным, ствол орудия через восемьсот выстрелов разнашивается так, что уже мечтания о меткости выстрела приходится забыть. А посему — простейший вывод. Хочешь жить, хочешь дать жить нашей матушке-пехоте, или как у нас больше выходит, коннице, относись к каждому выстрелу как к единственному! Вот и все искусство.

— Но нас учили — немец нам наносит поражение прежде всего сильнейшим огнем своей артиллерии. Он буквально сметает наши позиции! Вот если бы у нас было столько же снарядов! — воскликнули мои драгунские собеседники.

Я не успел ответить. Меня перебила Валерия.

— Господа! Вы говорите интересные вещи. Но господин капитан только что с марша. Ему необходимо отдохнуть! — сказала она.

— А нам нечем ответить, — продолжил я разговор с драгунскими собеседниками.

— Вы совершенно правы! Вот здесь-то и нужно искусство относиться к каждому выстрелу как к единственному! — сказали они.

— Да не совсем так, господа, — остановил я их молодой восторг. — Не совсем так. Никто бы не отказался от такой тактики, которую исповедуют немцы, то есть просто накрывать позиции противника огромным количеством снарядов. Но у нас нет такого количества снарядов. Да и орудий стольких у нас нет. У нас, сами видите, батарея на дивизию. У них двенадцать батарей на дивизию. Вот вам и разные тактические приемы. И вот вам, господа, еще одна, если хотите, сентенция, которую я вынес еще из первых боев под Хопом в Приморском отряде. Ошибку в тактике можно исправить быстрой и точной стрельбой. Ошибку стрельбы не исправить ничем.

По чести сказать, если я и вынес сентенцию из-под Хопа, когда весьма успешно противостоял турецкой артиллерии и пехоте, то сформулировать ее мне приспело только сейчас, чему я немало сам подивился. И она, только-то появившись, как ветер к забору листья, пригнала мне было уже исчезнувшие занятия в академии. Мне вдруг вспомнились наши практические занятия на оружейных заводах. И мне, как старой суке щенят, вдруг захотелось симпатичных моих собеседников несколько потаскать за загривок.

— А вы знаете, господа, что, например, наша винтовка системы Мосина состоит из ста отдельных частей и приготовление их требует почти полутора тысяч операций на специальных станках самой высокой точности?

— Как? Да что вы говорите, ваше высокоблагородие! — воскликнули они.

— Да это еще не все, господа, — не слыша их восклицания, продолжил я. — Каждую из этих частей необходимо проверить посредством более чем полутысячи так называемых лекал, то есть шаблонов. А сами лекала после примерно двух тысяч проверок перестают быть точными. Их приходится заменять новыми. А изготовить их могут только рабочие с самой высокой квалификацией.

— Теперь многое понятно! — сказал после молчания Павел Георгиевич.

Пока мы так разговаривали, в наш общий смрад немытых тел, грязной одежды, нечищеных лошадей и смрад караван-сарая непостижимым образом вплелся аромат кофе.

— Ах! Вот же! Духман какой! — дружно задергали носами батарейцы.

А когда Валерия принесла мне кружку вновь и склонилась, меня возбудил запах ее духов. Он враз будто заставил меня подняться и посмотреть куда-то так вдаль, что и понять было невозможно, в какую даль, будто куда-то в Петербург, или, по-нынешнему, Петроград, или вообще в Россию. За восемь месяцев уже забытая и будто отделенная от нас непроницаемой кошмой Россия вдруг накатила. Накатила она не Петроградом, только из-за одного названия вдруг почужевшим. А накатила она сочно-зелеными прибрежными лугами и холмистыми перелесками. Я поймал себя, что ничуть она не накатила нашим угрюмоватым и бескрайне синим Уралом,

сдерживающим свою мощь, отнюдь не накатила мне моим Екатеринбургом. Вместе с лугами и перелесками прикатили, уж и не помню откуда, пушкинские строчки, кажется, из раннего его творчества: “…Отечество почти я ненавидел — но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим”. Означить эти строчки были должны, что был я законченным мерином, — был, да сплыл. И мне захотелось сплюнуть от такого означения.

— Что же вам понятно, ваше благородие? — спросили Павла Георгиевича мои драгунские собеседники.

— Да вот весь экономический расклад и понятен! Нам сподручно только топором да вилами! — сказал Павел Георгиевич.

И следующий разговор стал напоминать разговор об экономическом законе у горийского инженера Владимира Леонтьевича. Я замкнулся. Ко мне склонилась Валерия.

— Простите, мне не видно, вам еще кофе налить? — спросила она.

А грудь ее коснулась моего плеча. Я ее почувствовал через серебро погона. Каленый штырь сладко пронзил меня. Я нечто этакое промямлил Валерии.

— Я могу налить вам немного спирту. Я принесла! — тихо сказала Валерия.

Меня пронзило штырем еще раз. Я выгнулся в спине, как выгибает раненых столбняк.

— Вы не могли бы, Валерия, проведать моих больных? — кое-как справился я с собой.

— Я уже отнесла им кофе. Более ничего я сделать не могу. Все лекарства отправлены. Мы с графинечкой ведь задержались случайно. Мы же вас не чаяли ждать. Да и нет никаких лекарств. Но если вы просите, я схожу еще. А лучше, если придете вы. Идемте вместе, Борис Алексеевич! — сказала Валерия.

Я, будто намагниченный, поднялся.

— Как это ужасно, Борис Алексеевич! У нас нет ничего. Мы все боремся, боремся. Наш Красный Крест и наши земцы не щадят себя. А у нас все равно ничего нет. Люди меньше умирают от ран, чем от болезней, — коснулась моей руки Валерия.

Я в брезгливости к самому себе на полшага ступил в сторону. Валерия столько же ступила ко мне.

— Я читала, наш знаменитый хирург Пирогов даже в осажденном Севастополе успешно боролся с эпидемиями. А у нас здесь нет такого авторитетного деятеля. Николай Николаевич, наш командир, прекрасен. Но что он может один на все эти тысячи и тысячи верст! — снова коснулась моей руки Валерия.

— Да, сударыня! — в дрожи сказал я.

— Вас лихорадит? — спросила она и сжала мне ладонь.

— Кажется, да, — сказал я, полагая, что она оставит меня.

— Постойте же! Идемте же к нам. Я вам дам порошок хинина! — решительно повернула в сторону Валерия.

И я магнетически пошел за ней.

— Павел Георгиевич, на время останьтесь за меня! — на миг нашел я сил крикнуть.

— Да, Борис Алексеевич! — отозвался он.

— Неужели их высокоблагородие заболели? — в тревоге спросили драгуны.

Малярией, или лихоманкой, я переболел еще в Хракере. Она трясет больного точно через определенное время, и каждый раз трясет с нарастающей силой. В несколько недель, если не лечить ее, она приводит больного в совершенно беспомощное существо или вообще убивает. Меня она трясла, если так можно выразиться, щадяще. Причины этой ее пощады я, разумеется, не знаю. Возможно, моя лихоманка была какой-нибудь иной разновидностью. А возможно, меня оборонила моя небесная заступница Богоматерь вместе с моими матушкой и нянюшкой. Как-нито, а нынешнее мое состояние я, конечно, мог отличить от тогдашнего. Меня била не лихоманка. Меня била дрожь от близости женщины — не очень красивой, но стройной, благоухающей и молодой.

— Совершенно нечем лечить больных. Нет ничего. Я вам сейчас дам порошок хинина. Он у нас, как говорят доктора, на вес золота. Если бы он у нас был в достаточном количестве — сколько бы солдатиков мы спасли! Ведь если бы малярия была одна! А то и малярия, и дизентерия, и холера, и солнечный удар. У некоторых едва ли не все враз. Вот пришло известие: во всех колодцах вдоль дороги от Энзели до Казвина вода отравлена, — стала говорить мне Валерия.

Ее ладонь, все еще держащая мою ладонь, была горяча и нежна. Но она была мне чужа. Мне было неприятно. Я ни о ком не думал. У меня не выходило думать. Может быть, я даже не догадывался думать. И не всплывали в памяти никто из женщин — ни Наталья Александровна, ни Ксеничка Ивановна, ни кто-то еще. Не было со мной даже Ражиты, вроде бы ушедшей далеко, но постоянно со мной пребывающей. Она пребывала со мной в образе той шестнадцатилетней моей невесты, какую я себе представил в богатый счастьем день в Хракере накануне ее гибели. Сейчас же не было даже ее. А были только душевное отупение и неприятность от горячей и нежной, но чужой ладони Валерии. Выходило опять, что за одного битого двух небитых дают только после восстановления его сил.

— Вы представляете, Борис Алексеевич, — говорила Валерия. — Все колодцы заражены. Конечно, это сделали дервиши. И сделали они это по наущению этого Кучик-хана. И вы представляете, наша графинечка… только никому, пожалуйста, не говорите… наша графинечка продолжает пить сырую воду, как и ее тетушка старая графиня. “Отравляются только солдатики, а я не солдатик!” — говорит она, когда ее просят этого не делать. Ведь может быть отравлен любой колодец и здесь. Что стоит сбросить туда падаль! До что сбросить — вокруг такая грязь, вокруг эти москиты, микробы, все эти холеры, малярии! И мы не можем ничего поделать. Нам просто нечем лечить. Ведь должны же там, наверху, учитывать специфику нашего театра военных действий. Видите, я уже военную терминологию усвоила!.. Ведь должны.

Но графинечка говорит, в тылах сидят такие чинуши, такие чинуши! Они решительно ничего не хотят. Это в лучшем случае. Они только того и делают, что охраняют свое место там, в Тифлисе и Баку. И все у них — за взятки. Воровство, говорят, в тылу просто необыкновенных размеров. Не в меньших же размерах и дурь. Тот же хинин возьмут и отправят в Сибирь. Зачем он там? Там здоровый климат. А нам и документы покажут: вот, графинечка, пожалуйте, Сибирь-с, согласно предписанию, а вам в Персию другая очередь! Да ведь что еще говорят! Говорят, что Персия такая прекрасная страна, говорят, такие-де там персияночки, и такие кругом персики висят хоть летом, хоть зимой, и мушмула прямо по улицам лежит, и халва, и шербет, и пахлава, и ковры персидские всюду, так что и сапог, и галошей не надо! Да если бы, говорят, не эта проклятая служба, которая якобы их в тылах держит, то они бы непременно перевелись в Персию!

Мне это было известно. Я уже об этом говорил. Традицией у нас в государстве стало, если не было так всегда, тылу резко отделиться от фронта. Тыл резко обособлялся, складывался в некую закрытую корпорацию и смотрел на фронт как на противника. Ничего не дать фронту, кажется, сразу же становилось единственной задачей тыла. При полной невозможности что-либо изменить разговоры об этом заставляли меня замыкаться. Будь что-то в моей власти, я бы кого отправил в отставку без пенсии и мундира, кого — прямиком на каторгу, а вновь назначенных предупредил за подобный стиль работы о виселице. Ну, а коли властью я не обладал, то и говорить о тыловых гнусностях не хотел. “Ешьте и идите исполнять свои служебные обязанности!” — мысленно говорил я своим сослуживцам, пеняющим на блюда в столовых офицерских собраний. Может быть, это было неправильно. Однако таков был мой характер, как раз, может быть, тем и внушающий впечатление моего ума.

Около единственной оставшейся лазаретной палатки и санитарных двуколок сидели санитары. Они поднялись навстречу и почтительно сказали, что все погружено, что графиня Бобринская им разрешила отдыхать, сама же она приглашена к командиру драгун полковнику Гревсу. “Грессу”, — сказали они.

— Господин капитан заболели! — сказала Валерия.

— Ай-я-яй, как же, вот беда-то! — попытались изобразить участливость санитары.

— Проходите, — пропустила меня в палатку Валерия, обернулась к санитарам и сказала, что они могут идти спать.

— Мы тут же, сестрица, под двуколкой, ляжем. Как нужда — будите! — сказали санитары и снова попытались мне сочувствовать: — Уж вы крепитесь, ваше высокоблагородие! Уж это такое дело здесь — хворь, что айда!

В палатке горела свеча и было очень душно. По сторонам стояли две походные кровати в белых простынях. Прямо был походный столик. Около стояли два плетеных дорожных кофра.

— Вот так мы живем, я и графинечка. Она очень ко мне благорасположена. Мы даже в дружбе. Она племянница графини Софьи Алексеевны, этой грозы, вы знаете! — сказала Валерия.

Я кивнул.

— У нас осталось немного горячей воды. Правда, она, наверно, уже остыла. Но все равно. Я вам занавешу вот тут. И вы помоетесь.

Передо мной встали мои казаки — батарейцы и уманцы. Слова “помоетесь” и слова “горячая вода”, пусть даже она “остыла”, как и горячая ладонь Валерии, были чужими. Я даже особо не смог представить самого действия под словом “помыться”. Мне неприятно стало об этом подумать. Я, как здешний перс дождя, обыкновенно испугался этого действия. Два месяца я был грязный, прелый, вонючий — не прикасающийся к воде. И я сжился со всем этим. Я будто приобрел это и стал цельным. Оно стало не то чтобы моей сутью, но оно стало моей принадлежностью, мне необходимой на войне, защищающей меня от чего-то.

— Сударыня, — сказал я.

— Валерия, или для вас — Лера! — поправила Валерия.

— Да, хорошо, — сказал я, но все равно выговорить ее имени не смог. — Хорошо. Не вполне прилично…

Она опять не дала мне сказать.

— Я, прежде всего, сестра милосердия, господин капитан. А вы, прежде всего, больной. Чистота — залог успешного лечения! — довольно резко и, как я понял, вместе и для санитаров за палаткой сказала она.

— Я не могу воспользоваться вашей заботой. Я совершенно здоров! — сказал я.

— Совершенно здоровый — только мертвый! — сказала Валерия.

— Я не могу воспользоваться вашей заботой, когда мои товарищи и мои подчиненные не имеют такой же возможности! — тоже резко сказал я.

Она посмотрела на меня как бы сверху вниз.

— Какой же вы мальчишка! — со снисходительностью и еще каким-то чувством сказала она.

— Так точно. Честь имею откланяться! — хотел привычно щелкнуть я каблуками, но большой размер сапог вестового Семенова не дал мне этого сделать. Вышло как-то всмятку. — Честь имею! — тем не менее сказал я.

— Вы еще и глуп! Нет! Вы еще и… То-то вы зацукали бедного корнета! Не будете слушать меня, я велю санитарам позвать графинечку! — воскликнула она и, увидев, что я стал просто свирепеть, сменила тон: — Ну, Борис Алексеевич! Ну, пожалуйста! Ну, что вам стоит. Ну, пожалейте хотя бы своих ног, помойте, подержите их в теплой воде! Ведь вам станет легче. А то хотя бы протрите себя теплой водой. Ведь целых полведра теплой воды! Борис Алексеевич! — она снова взяла меня за руки. — Это же так просто. И, не задумываясь, это сделал бы каждый из ваших товарищей и подчиненных. Ведь это война. На ней свои радости!

Я хотел сказать, что про войну и радости я знаю больше. А вдруг мне стало стыдно своего поведения. “Сатрапствуешь перед женщиной! — толкнуло меня и погнуло в спине, как от столбняка. Я вспомнил, что ранее при таких обстоятельствах

меня тянуло рубцами влево. “Времена меняются, et nos mutamur in illis”, — с усмешкой и так именно двуязыко сказал я и добавил той же латынью: — Amantes — amentes!” — что означало в переводе первой фразы: “Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними! — и второй: — Влюбленные — безумцы!” Надо полагать, всякий догадался, что вторая фраза относилась только к Валерии. И к ней я отнес ее не потому совсем, будто я почувствовал в ней ко мне чувство, а потому, что в себе я никакого чувства вообще не носил. Вместе с латынью пришествовало слово “филология” с неопределенным эпитетом “какая-то”. Его пришествие очень точно обозначило, в сколь дурацком положении я оказывался. Но оно вызвало шумного поручика Шермана, вероятно, тем, что филология в качестве далекого синонима имела слово “университет”, и следом я увидел моего покойного Раджаба, наверно, захотевшего сказать мне, что на войне надо думать только о войне. Все это было одним толчком.

— Вот видите, вы больны! — поняла этот толчок Валерия по-своему.

— Пожалуй, — сказал я и поправился: — Пожалуй, я вам подчинюсь и помою хотя бы ноги!

— Вы просто умница, капитан! — прижалась ко мне Валерия.

Через кость и серебро газырей я опять почувствовал ее груди. Меня опять толкнуло.

— Больны, больны! — сказала Валерия.

— Да отстранитесь же! На мне черт знает сколько пудов грязи и этих ваших микробов! — вяло сказал я.

— Пустое! Быстро раздевайтесь и мойтесь. Вот мыло. Я вас занавешиваю! — сказала Валерия.

— Мыло? — спросил я.

— Да, мыло. Да вы совсем одичали! — как бы даже в счастье воскликнула Валерия. — Быстро, капитан. А я приготовлю вам поесть!

— А порошок? — зацепил я.

— Ах, да, порошок! — кинулась Валерия к одному из кофров.

— Увольте! Я здоров! — усмехнулся и вспомнил про своих больных: — Хотя нет! Дайте сколько сможете про запас!

— Вот, сколько у меня есть! Потом я еще обязательно принесу! — Валерия протянула мне пяток крошечных аккуратных бумажных пакетиков.

Потом я за занавеской постоял над тазом с теплой водой, боясь ее. Валерия молча зашла за занавеску, молча сняла с меня бешмет — черкеску я успел снять до того, — сняла мышино-серую и расползшуюся вдоль всей спины нательную рубаху, пригнула меня к тазу. Мыльная мочалка пошла по мне.

— Внизу, под шароварами, помойте сами! — сказала она, когда обтерла меня полотенцем.

Потом я спросил:

— А графинечка и санитары?

— Не зайдут! — ответила она.

Никто на меня не смотрел. Ничьих взглядов я не боялся. Я был мерином. Мне не надо было предстоящего. Мы укрылись простыней. Губы ее были мне неприятны. Тело ее было мне неприятно. Но магнит потянул.

Предательства, то есть моей помывки, одежда мне не простила. Расползшуюся рубаху я выбросил. Unterhosen, или, извините, подштанники, шаровары и бешмет мстительно на тело не лезли и отдавали вонью вдвойне. Я зло оделся. Валерия стояла ко мне спиной. Я оделся и остановился. Она услышала.

— Любимый! На марше встретимся! — попыталась она целоваться.

Она ничего во мне не видела.

Злой, я подошел к своей батарее. В кострах давно все сгорело. Но намаянная сверх возможных сил батарея уснуть не могла. Я наткнулся на Касьяна Романыча. Он в обиде говорил обо мне.

— Нет, — говорил он. — Нет. Не понимает он казачьего сусла. Барин. Ему бы все — в казенно. А казенного сколь. Казенного воруй не переворуй. А казак? Казак спокон века трофей свой брал.

И, видно, он это говорил давно и надоел.

— Ты-то чо, Касьян. Чо, разве не видели мы, как ты его в трофей брал. Из шаровар-то хоть выскреб где по дороге?

— Не мой годок бы ты был, Серпун, я бы сейчас тебя шодой-то достал! — огрызнулся Касьян Романыч.

— Ага, ты бы достал! — в усмешке сказал Серпун, казак из ездовых второго взвода.

— Мелко племя! — сказал Касьян Романыч то ли обо мне, то ли о Серпуне. — Вот я сейчас скажу, случай был, не у нас, там, в Расии, — сказал дальше он. — В одном селе народ не умел сказать “ш”. Надо “ш”, а они все вместо этого говорили “ч”. Им-то самим ладно было. Жили. А пришла к ним на базар продать курицу-несушку баба. Стоит. Подходят — и про курицу: несучка? Баба им: нет! Отходят. Подходят другие, про курицу: несучка? — Баба опять: нет! — опять отходят. Третьи подходят и свое: несучка? Нет, нет! — отвечает баба, а сама, конечно, понять ничего не может. И так — весь день: несучка? — Нет! — Несучка? — Нет! — И дошло, что баба схватила курицу за ноги и давай ей над головой вертеть: да сучка, сучка, вылитая бледь! — Касьян Романыч пождал, не засмеются ли. Никто не засмеялся. — Вот так же и он нас не понимаит! — сказал он. — Конь казаку дороже отца-матери, жены и детишек! А он с боя взятого коня в казенные определяет!

— Им, их благородием, взят-то! — сказал Серпун.

Я пошел на голос одного из недавних моих собеседников, драгунских батарейных.

— И вот я решился, господа! — рассказывал он. — Мы уже встречались несколько раз. Она позволяла провожать себя до дома. Я, признаться, был в восторге, в этаком опьянении. И я решился. Мне наутро — к месту службы, сюда, господа, в Персию, в нашу Кавказскую кавалерийскую. Да как же, думаю, без поцелуя! А у нас в Боровске — это Калужской губернии, господа. У нас, знаете, он же на холмах и весь в черемухе, весь в палисадниках. Темных мест много. Ночь светлая. Чуть от палисадника отошел на мостовую — светло. Мы идем, а я все не решаюсь. Уже вот и дом ее близко. Сейчас уже и собаки их залают, и дворник выйдет. Эх, думаю, надо, как в Протву, у нас река Протва, господа. В детстве — с разбега в нее! Мы остановились в виду их дома, встали друг подле друга. Ее лицо стало так близко мне. Я решился наконец.

— И здесь о том же, — сказал я.

Я прислушался к себе. Ничего, кроме гудения в причинном месте и нарастающего желания снова овладеть Валерией, я не чувствовал. А хотел я видеть прибрежные луга, холмы в перелесках и шестнадцатилетнюю мою Ражиту.

— Я решился, господа, — сказал драгунский батареец. — Можете надо мной смеяться. Но я не знал, как целуются. Мне думалось, надо взять ее лицо в ладони. Я прикоснулся к ее щекам. Она же в ответ: “Ой, какие у вас руки теплые!” — и я не знаю, я не испугался, нет. Меня остановило. Я опустил руки.

— Не поцеловали? — спросил второй драгунский батареец.

— Нет. Не знаю. Что-то во мне остановило меня. Этот возглас о теплых руках. Это как-то я не знаю, господа. Но не должно было быть так. Как будто она была опытной. Как будто она заранее знала и была готова. Нет, не так. Как будто она, ну, одним словом, была опытной. Вы понимаете, господа? — в волнении терял речь драгунский батареец.

— “Но я Голицыну увидел…” — сказал я о своем.

Я лег за зарядный ящик. Вестовой Семенов учуял меня и пристал с попоной: вашвысокблродь, а ну, как змея или кто-нибудь! — Я не повернулся. Павел Георгиевич окликнул меня.

— Да, отбой! — сказал я.

— Батарея, отбой! — повторил он.

Пошумело все и утихло. Я заснул. Я очень хотел увидеть во сне луга, холмистые перелески и Ражиту в образе моей шестнадцатилетней невесты. А увидел только, что кто-то сказал мне: зато не мерин.

Еще было темно, когда я услышал тревожный голос Павла Георгиевича.

— Вот, вот тут! — говорил он.

— Так что, ваше благородие, ничего не видно! — страдающе отвечал его вестовой.

— Да зажги огонь, тюля! Найди какую-нибудь щепку да зажги! — вполголоса, но зло сказал Павел Георгиевич.

— Что, Павел Георгиевич? — спросил я.

— Да черт его знает. Кажется, меня кто-то в шею тяпнул! — в тревоге ответил он.

Я не успел вскочить, как шарящий по земле в поисках щепки вестовой вскрикнул.

И его, и Павла Георгиевича укусил большой скорпион. Он пошел мстить нам за разрушение его норы в гнили караван-сарая. Его нашли и растоптали. А Павлу Георгиевичу и его вестовому стали кричать, что надо выпить настойки на скорпионе же. Если и действительно это было противоядием — взять его было негде. Дали спирту. Пьяные, они уснули. А мы шли дальше. Мы шли на Керинд, на Кериндский кряж, в более здоровый горный климат, занять оборону. Говорили, что укус не смертелен. Но Павел Георгиевич умер к вечеру. С отданием воинских почестей, то есть выстрелами последних снарядов, мы его похоронили на холме при дороге между Вериле и Кериндом, верст за двенадцать до Керинда. Он не поверил, что укус не смертелен. Он попросил меня быть с ним рядом, а потом отдал свою планшетку и попросил взять оттуда незапечатанный конверт.

— Это письмо моей жене Ксении Ивановне Галактионовой. Вы его обязательно прочтите сами — это моя просьба — и отправьте ей, — сказал он. — Почему-то я знал, Борис Алексеевич, что я не вернусь. И почему-то неохота умирать, — позвал он своей улыбкой меня улыбнуться. — Я вас полюбил, Борис Алексеевич.

В письме Павел Георгиевич просил жену после его смерти полюбить другого, и, как он просил, полюбить достойного человека, потому что он, Павел Георгиевич, знает это счастье — любить — и очень хочет, чтобы она была счастлива.

Адрес был в город Ставрополь, к родителям жены для передачи ей.

Я знал ее другой адрес.

Глава 7

Некто из путешествующих или из географов сосчитал подъем дороги от городишки Каср-и-Ширин на Кериnд по тридцати футов за версту, или по четыре с половиной сажени, или по девяти метров. Между Каср-и-Ширином и Кериндом было семьдесят пять верст. По русской приговорке о семи верстах до небес и все босым выходило, что мы прошли босыми до небес и обратно по десяти раз.

К Kериндy, вернее к его садам, по-восточному вынесенным опоясывать город, мы подползли вечером. В виду деревьев и длинных теней казаки истово закрестились:

— Хосподи! Да неужели? Слава тебе, Хосподи, довел нас!

Креститься и радоваться было рано. Все, что имело тень, всякое место, представляющее какое-либо удобство, было плотно забито пришедшими ранее нас частями, толпами отставших солдат. Всюду лежали больные, обессилевшие и апатичные люди. Лазареты спешно грузились и снимались за городишко на кряж и далее. Кряж высился за городишком. На него предстояло ползти. Ползти уже не моглось. Но кряж манил прохладой и хотя бы кратким, хотя бы одним днем отдыха.

— Здесь маяться ночь будем или пойдем наверх? — спросил я батарею.

Я видел их смертное желание упасть здесь и не шевелиться. Но я увидел еще более смертный страх перед ночевкой в городишке.

— Турок наскочит, и в этом, — я не нашел, как назвать все вокруг нас, — нас затопчут, порубят и возьмут в плен. А там безопасность и прохлада! — сказал я, привстал на стременах, махнул трубачу.

Трубач потерялся взглядом, вдыхая в грудь воздуха, потом выпучился и выдул сигнал “Слушайте все!”, поглядел на меня и выдул поход. Под встревоженное сигналом гусиное голготанье и под пустые, не верящие себе взгляды сотен глаз батарея подравнялась.

— Песню! — сказал я.

Что я там ожидал — какую песню заведет запевала Касьян Романыч, у меня не отложилось. А он выкатился на своем седом от пыли кабардинце, хилый от усталости и грязный, застегнул ворот бешмета, поправил ремень и рукава, воровато поглядел на меня — откуда только еще хватило сил на какое-то выражение в глазах! — и закричал песню:

— “Ты, хрен, ты, мой хрен, садовой, зеленый! Уж и кто тебя сади-и-ил? Уж и кто тебя сади-и-ил?”

— “Филимон, Селиван, Филимонова жена! — подхватили песельники из разных мест батареи. — Максим подносил, Степан кланялся-я-я! И эх-х-х, Максим подносил, Степан кланялся-я-я!”

Я махнул трогаться с места.

— “Ты, хренушка-братец, ты, хренушка-братец, об чем же ты пла-а-ачешь? Об

чем же ты пла-а-ачешь?” — закричал далее Касьян Романыч.

— “Жена молодая, жена молодая, поехала во лесок, поехала во лесок, задела за пенек!” — подхватили своего вахмистра песельники.

Я не оглядывался. Но я чувствовал, как и на походе после боя с курдами, что-то обволокло батарею, выдуло хреновьим духом пыль и зной, и она потекла, как в чистом потоке воды.

— “Задела за пенек, простояла весь денек, и эх-х-х, простояла весь денё-ё-о-ок!” — кричали песельники.

И мы в своем чистом мнимом потоке, а на самом деле в пыли, толкотне и ругани сбивающейся и толкающейся массы потащились через городишко к кряжу и потом всю ночь тащились наверх.

К утру мы зашли на перевал. Меня нашел офицер связи. Я должен был передать батарею старшему офицеру, каким становился подъесаул Храпов, и явиться в штаб корпуса. По результатам двух месяцев Николай Николаевич собирал совещание в ближнем к фронту питательном пункте в Хорум-Абаде. От штаба корпуса сюда выехал капитан Каргалетели, исполняющий должность начальника штаба. Я придавался ему в помощь.

Я спросил у хорунжего Комиссарова журнал боевых действий батареи. Записей последних дней не было. Я молча уставился на него

— Не было никакой возможности написать, Борис Алексеевич, — постарался он скрыть свое напряжение.

Я понял, что он ждал моего отбытия с тем, чтобы написать в журнал не так, как было на самом деле. Он знал мой характер и догадывался — хотя бы вскользь, но нелестно я укажу о его поведении при курдской атаке. Я велел ему писать при мне и потом подписал все. С меня хватило видеть, с каким страхом он ждал моих добавлений в текст.

— Лексеич! Дык ить! — заорал в восторге мне навстречу, лишь я появился близ штаба корпуса, сотник Томлин. — Лексеич! — он в восторге стал ломать язык на малороссийский лад: — И иде тэбе черти носят!

Из сего я, как бы сказали в научной среде, вынужден был констатировать факт неоднократно в себя возлиявшего его состояния.

— Ну, истинный крест! — без передышки снова восторгнулся сотник Томлин. — Это же их высокоблагородие капитан Норин! — с любовью и пьяно взглянул он на меня и оглянулся кругом с широким, указующим на меня жестом. — Ето собственной персоной мой незабвенный друг! А я прискакал — а вас дырка свисть! — опять без перехода стал выговаривать мне сотник Томлин. — Вы уже на какую-то Багдадку уедручили! Один Вася Данилыч на все на про все с сотенкой лежит-полеживает. А приказу, говорит, мне не було! Вот казак. А вы все кудысь уеракали?.. — И опять без перехода: — Айда, Лексеич, у меня четверть кышмышевки в заганце стоит!

Его приветствие, будь оно совсем иным, мне было бы неприятно, и я бы

вспылил. От усталости, от непреходящей злости, вынесшей меня наконец из двухмесячных боев и отползаний, и от чего-то еще такого, о чем и сказать-то словом было нельзя, — от этого всего я бы вспылил, а то бы просто построил его, сотника, обер-офицера. Но он так при своих словах растопырился — растопырился, совсем как рак с клешней, или, будь он проклят, тот не увиденный в ночи скорпион, который унес от нас Павла Георгиевича Чухлова, что мне и от рака, и от скорпиона пахнуло декабрем четырнадцатого и братом Сашей. Сотник Томлин это увидел.

— Я это! — снова пошел он в восторг. — А вот сотника Гамалия сюда! — И круто обернулся одним туловищем в надежде сцапать кого-то и погнать за сотником Гамалием.

Ранее они дружны не были. И ранее такого тона по отношению к сотнику Гамалию у сотника Томлина не было. Декабрь четырнадцатого и брат Саша исчезли. Я, зло и как-то себя нехорошо возбуждая, осадил его. Вопреки ожиданию, он в прежнем восторге подчинился.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — четко своей раскорюкой отдал он честь.

Я прошел мимо. Он, кажется, вслед мне взбычился.

Пока я приводил себя в порядок в штабной банной палатке с тем же полуведром, но, слава Богу, горячей воды, вестовой Семенов искал в штабном обозе мой саквояж.

— Не взяли его. Остался он в Шеверине! — доложил он.

— Черт! — взвился я. — Трудно было бросить их в повозку! — И взвился я, естественно, на сотника Томлина, и хотел послать Семенова к штабному каптенармусу с просьбой выдать в счет моего денежного довольствия сапоги, бриджи и полевую гимнастерку, а потом передумал. — Нет, погоди! — сказал я. — Это долго. Не сидеть же мне тут. Найди сотника Гамалия, пусть что-нибудь отыщет. А потом уж — к каптенармусу!

Василий Данилович, сотник Гамалий, появился через полчаса. Я выглянул из палатки. Большой, громоздкий, но ловкий и гибкий, с вывернутыми наружу пятками в стременах, он, казалось, тащил своего кабардинца сам.

— До чего же вы довели их высокоблагородие! — в шутку закричал он на шарахнувшихся в сторону банщиков-дружинников, сошел с седла, для чего ему потребовалось только опустить ногу да махнуть другой, пошел к банной палатке: — Борис Алексеевич, вы там? Вот радость-то! С благополучным прибытием вас! А то тут стали такое говорить, что хоть поднимай сотню на конь! — И обернулся к своему вестовому, взял аккуратный сверток, едва не с поклоном остановился перед палаточным пологом. — Со своего плеча, Борис Алексеевич, по причине грубости природы моей одарить не могу, а вот от сотни в дар примите! Нашлась вам впору какая-никакая амуниция! Одевайтесь — да и сразу к нам! Попьем чайкю или чего там.

— А где же ты пропадал, Василий Данилович, что о тебе некая молва пошла, будто ты откуда-то вернулся счастливчиком и везунчиком? Шах персидский, что ли,

тебя в гости зазвал? — стал я спрашивать через полог.

— Та було! Хвантазии бохато у служивых! — будто отмахнулся он.

— Сотник, не увиливайте от ответа! — прикрикнул я.

— Та шо! Мабудь, казаки усе скажуть! — заманерничал он, и я представил, как он опустил ресницы, поджал губы, стал носком сапога ковырять землю и скособочился в талии.

— Не изображайте барышню, сотник! — сказал я.

— Та яка барышня, ваше высокоблахородие! Ну, сбихалы туточки недалече до британцив, побачилы, як воны какаву кушають. Ну, побалакалы трошки, зпробовалы тый какавы. Да кобыляччя же хадость! Та чохо? — будто стал оправдываться Василий Данилович.

— Касьяна Романовича из Терской батареи знаешь? — спросил я.

— А як же! Билшой чоловик! — сказал Василий Данилович в прежнем тоне.

— Так вот, как он любит говорить, шодой бы тебя за такие ответы, Василий Данилович, попотчевать! — сказал я.

— А шо це таке? — спросил он про шоду.

— А плеть по-татарски или по-чеченски! — сказал я.

— Негоже! — сказал он и, кажется, даже передернул плечами.

Тут-то наконец до меня дошло про британцев.

— Куда сбегали? Какие британцы? А мы куда ходили? — выпялился я из палатки.

— Вы прямиком, а мы огородами! — сказал Василий Данилович.

Из следующих его слов, вынутых из него едва не шодой Касьяна Романыча, я понял, что он и в самом деле лишь несколько дней назад вернулся из месячного рейда к британцам куда-то в район городишки Али-Гарби в Месопотамии, — туда и обратно тысяча верст.

— Господи! — вскричал я. — И что? И как?

Чтобы понять меня, нужно представить себе совсем немногое. Мы рейдом шли на Ханекин и Диал-Су прямо на запад с задачей затем повернуть на юг, на Багдад. Но тринадцатого апреля, не откушав какавы, генерал Таунсенд сдал крепость Кут-Эль-Амар. Высвободившиеся турки навалились на нас. Рейда на соединение не получилось. Тогда сотник Гамалий получил секретную задачу обойти район боев и выйти к британцам, тем хотя бы обозначив стремление на соединение, — жест более политический, чем диктуемый военной необходимостью, но могущий обернуться для Василия Даниловича гибелью. И он пошел через дикие горы Луристана, через дикие племена, не знающие никакой власти, для которых убить и ограбить было делом доблести.

— И как же? — потребовал я рассказать.

— Потом, Борис Алексеевич! — попросил он. — Потом. А сейчас дай хоть тебя расцеловать! Говорят, у вас там было, не приведи Господи!

— А у вас-то? Да расскажи же наконец! — опять рассердился я.

— Да пожалуй же, Борис Алексеевич, к нам в сотню! — встопорщил под своим большим и немного вислым носом стриженый ус Василий Данилович.

Пожаловать же не удалось. По моем представлении в штабе корпуса на меня свалили арбу дел, то есть штабных бумаг, ибо начальник штаба полковник Николай Францевич Эрн болел уже едва не с месяц, другие чины штаба тоже валялись кто с холерой, кто с тепловым ударом, кто с чем. И как некогда перед Сарыкамышем в штабе у Владимира Захарьевича Мышлаевского осталось работать только два капитана, так и здесь осталось рабочих только два-три штабных офицера, так что капитану Каргалетели пришлось взять на себя руководство. Но, кажется, и его уже потрепывала малярия.

— Были бы вы, капитан, не в рейде, вам бы и должность наштакора, — уже привычно сокращая должность начальника штаба корпуса, зачем-то прежде всего сказал он. — Впрочем, ждать вам недолго, — нездорово блеснул он глазами. — Втягивайтесь в работу. А я скажу вам прямо. Неудачу рейда некоторые склонны свалить на меня. Я, однако, не генерал Таунсенд. И я исполнял свою работу как мог. Я бы не хотел вас видеть в числе моих недоброжелателей. Вы-то понимаете в штабной работе. Но скажите, по причине штаба корпуса путаницу, несуразности, глупости и прочее вы наблюдали? Вам приходилось ругать штаб?

— Да нет, Иван Самсонович, что вы! — пожалел я бедного капитана.

Я до глубокой ночи разбирал и читал документы. Массу их, особенно из тыла, из Тифлиса и Баку, уже после случившегося читать было в лучшем случае неловко, а не в лучшем они просто заставляли свирепеть. Я думал, как же я подобные документы терпел раньше, до рейда. Многословные, хитрованные, выдающие низменность душонок плешивых штабсов, они только для того и создавались, чтобы оправдать насущную необходимость так называемой службы этих штабсов. Штабсы не брали на себя никакой ответственности. Они ничего не делали в опасении этой ответственности. Они только продвигали “ваш исходящий”, то есть посланный нами запрос или другой документ, от одного штабса к другому и спешили оповестить нас об этой сложнейшей операции. “Ваш исходящий от такого-то числа за таким-то номером по такому-то вопросу в связи с делегированием компетенции решения сего по команде в такой-то отдел в означенный отдел направлен такого-то числа за таким-то номером”. Среди прочего нашел я и благодарность нам командующего Кавказским фронтом великого князя Николая Николаевича. Это была телеграмма от тридцатого апреля. “Передайте вверенным вам войскам сердечную благодарность за их доблестные действия. Генерал-адъютант Николай”, — гласила телеграмма. Сразу мелькнула мне переправа через Диал-Су. Я будто снова услышал высокомерный и надменный голос адъютанта князя Белосельского-Белозерского, извещающего меня о том, что князь занят, что приказа на уничтожение переправы не будет. Отчет об этом мне предстоял.

“Что же творится с нами? Как у нас еще получается воевать?! — была моя

единственная мысль.

Ночью я писал отчет о рейде. Оторвала меня от работы Валерия.

— Вы простите, что я не нашла вас вчера! Но было столько работы. Я не смогла, — села она мне на колени.

Запах ее духов резко ударил мне. Магнит одновременно потянул к ней и стал отталкивать от нее.

— Я едва прожила эти два дня. Я вот только что освободилась и сразу — к вам! — зашептала она мне в губы. Я стерпел ее поцелуи. Она ничего не почувствовала. — Идемте ко мне. Графинечка ночует у своей тетушки! — сказала она.

Магнит потянул. Я пошел к ней. Мне было неприятно от ее ласки, от ее тела, от ее слов о любви, полившихся потоком. Мне все было в ней неприятно. Но магнит тянул, и я терпел неприятное и страстное ее тело.

Я спал два часа, встал и ушел к себе. Я коротко написал Ксеничке Ивановне, будто не ей, а совсем чужой Ксении Ивановне Галактионовой. Я написал о гибели Павла Георгиевича, написал о гибели не от скорпиона, конечно, а от турецкой пули при геройском отражении их атаки на батарею. Почтальон унес письмо.

Работа снова не дала мне посетить Василия Даниловича, как, собственно, не дала ответить на приглашение командира уманцев полковника Михаила Георгиевича Фисенко, высказавшего со слов подъесаула Дикого мне много лестного. Вместе с капитаном Каргалетели мне пришлось готовить совещание.

За этой работой отодвинулись от меня и батарея, и сам рейд. Только однажды, когда я выехал на Локае проветриться и, не отпуская повода, сел на выжженном склоне перед глубоко уходящей вдаль, к синей полосе гор, долиной, я снова вспомнил Павла Георгиевича. Никакая другая смерть, а почему-то именно смерть Павла Георгиевича вдруг открыла мне, что всего, что видел я после его смерти, он не видит. Так не увидел ни величия, ни заката всех своих дел и своей родины какой-нибудь византийский человек, житель исчезнувшей империи Византии. Так не видел ни величия своих дел, ни их заката Александр Македонский. И никто из миллиона погибших уже на этой войне не увидел следующего шага своих боевых товарищей, следующего мига. Я мог быть среди них. И я мог не знать вместе с ними обо всем последующем. Я мог не знать, напрасна ли моя смерть, или она послужила общему великому делу моей империи, моего государя, моего народа, положительный результат которого пока не виден, но обязательно будет. Я не мог представить, как это — не видеть и не знать, не переживать следующего мига, абсолютно естественного для живого человека и совершенно недоступного для мертвого. Некая несправедливость всколыхнула меня. Рейд закончился. Нас одолела масса иных тягот. И они оторвали нас от них, неживых. Любой последующий миг нас отрывал от них. Каждый последующий миг мы пользовались тем, чем они не могли пользоваться. Никакого смысла в самой жизни при наличии смерти вдруг мне не нашлось.

— Только присяга, — сказал я в эту синюю даль долины и прибавил: — Долг и вера.

Это надо было понимать так, что только они держали меня. А так ли было на самом деле, не лукавил ли я, я и сам не мог сказать.

Для совещания было найдено приличествующее место на поляне в редком горном перелеске. Туда привезли столы, свежесколоченные скамьи, кухню с самоварами и закусками.

В качестве подготовителей совещания мы с капитаном Каргалетели стали и приемной стороной, так сказать, распорядителями бала. Мы принимали высокие чины. А младшие офицеры штаба под командой хорунжего Гацунаева принимали остальных.

Что сказать о совещании?

Мне думается, все мы до младших офицеров знали положение наших дел. Кажется, лишним было совещание, — кабы не совершенно точный расчет Николая Николаевича Баратова перед наступающими тяжелыми оборонительными боями дать всем побыть вместе, сдружиться и думать о соседе по фронту не как о каком-то сослуживце, чьи тяготы казались менее весомыми своих личных интересов. В таком плане совещание было необходимым. В остальном это было обычное совещание. А некая необычность, которую мы все-таки ощутили, исходила из самого необычного нашего положения. Мы увидели, насколько мы малая сила и какие на эту малую силу возложены задачи. Мы держали огромную страну, отмахивались направо и налево, в предупреждение нападения нападали сами. Как сокол, с которого сняли колпачок, срывается с руки охотника в небо, так мы срывались по первой необходимости в рейд с задачей сделать то, что не отваживалась, да и не могла, во много раз более сильная армия. Мы постоянно угрожали противнику фланговым ударом. И мы держали целую страну в русле политики нашего Отечества. Но средств мы на это получали столько, что легче было не получать их. Легче, наверно, было бы посадить нас, как это делают кочевники со своим скотом, на подножный корм, сказать, сами-де промышляйте.

— Как же! Как же, господа! — задыхался и хрипел в своем выступлении начальник санитарной службы Верховного генерал Бернов, пребывающий у нас в эти дни с инспекцией. — Как же нет хинина! Я четыре часа разбирался только с запросами! Запросы есть, а хинина нет! Запросы — это глас вопиющего в пустыне! Глас есть, пустыня есть, и она голоса не слышит! Я доложу Верховному! Даю слово чести! Я осматриваю все питательные пункты, бани, помойки, прошу прощения, сортиры, кухни, лазареты, конюшни! Это все есть. Солдатики раненые, увечные, больные есть. Мертвеньких более чем достаточно. А хинина нет! Даю слово чести, господа, хинин у вас будет в необходимом количестве!

— Так точно, господа! Все, что мы можем сделать своими силами, у нас есть! — говорил следом начальник снабжения корпуса полковник Раздорский. — А вот всего, что мы сами сделать не можем, у нас нет. Может быть, нам самим начать шить полушубки, белье, сапоги, валять валенки, резать козырьки от солнца? Может, нам тут построить патронный заводик? И свечной, и мыловаренный, и ткацкий заодно? Я такого безобразия не видел даже на японской войне, господа! У меня не укладывается, чтобы в империи, ведущей священную войну против супостата, не

было солдатику ни одежки, ни ружья, ни сапог, ни патрона в подсумок, ни сухаря на зубок. Что мы смеялись над их величества британской армией, какаву-де им не подвезли. А у них, господа… Где сотник Гамалий?.. Он был у них. Он откушал этой какавы. Сия их какава — это полновесный рацион, господа! У них солдатику, даром что он колониальный сипай, то бишь индус, ему у них предоставлен полный комфорт, такой комфорт, какой у нас даже командиру корпуса, нашему Николаю Николаевичу, ни в каком сне не пригрезится. Вот так, господа! И я не в силах, мы с полковником Даниэльсоном не в силах пробить нашу тифлисскую стену, чтобы у нас было чего-то хотя бы на мизинец! Вот тут встречал нас инаркор капитан Норин, инспектор артиллерии корпуса. Я скажу, господа. Я сегодня не могу удовлетворить еще февральские его заявки на снабжение артиллерии и пулеметных команд. А ведь это… я не подберу слова, все вы знаете, что нам угрожает здесь без артиллерии! Господа, надо обращаться прямо к Верховному, прямо к государю-императору! Мы потеряем Персию. Мы не выполним священной задачи из-за какой-то тифлисской стены!

— Что нам эти санитарные двуколки? — нависла всей своей глыбистой фигурой над совещанием графиня Бобринская. — Что нам они при наших тысячах верст отсюда и до первого парохода в Энзели. Я лично выбиваю для нас авто. Раненого и больного солдатика надо не в десять суток доставлять до парохода, а в два дня, пока он еще дышит, господа! И дороги надо заставлять строить местное население. Не умеют? Не работники? Приставить опытного артельного из дружинников, научить, показать! Не все им вшестером на одном осле кататься! Пора их к цивилизации приучать, к дорогам. Мы уйдем — это останется им, как досталось от Александра Македонского да Кира. И что еще. У меня прекрасный контингент медицинского персонала. Но его катастрофически недостает — сестер милосердия, докторов, фельдшеров. А те, кто есть, работают выше похвал. А я сейчас о другом, господа! Я о нравственной атмосфере. Помните из Святого Писания, Соломон говорил о дожде во время жатвы как о самом чрезвычайном явлении…

— О самой необыкновенной случайности, ваше сиятельство, сестра! — поправил священник-уманец отец Илларион Окропперидзе.

— Каюсь, батюшка, не сильна в Писании! — приняла смиренный вид графиня и тотчас о том забыла. — Так вот, я бы хотела, господа, чтобы случаи нарушения морали с вашей стороны по отношению к дамской половине моего персонала были сродни этому чрезвычайному явлению, если уж они совсем не могут быть искоренимы!

По рядам офицеров прокатился при этих словах некоторый оживленный гул.

— Да, господа! Я ждала подобной вашей реакции. Я не ханжа. Но когда что-то начинает мешать работе, я стараюсь это вырывать с корнем. Вы меня знаете. Хотя греха в горшке не утаить, и у нас есть сии помехи работе. Приезжаю в Энзели, господа, и наблюдаю картину: доктор, дама, а, извините, в мужских штанах! — Спрашиваю: что это за революция! — А мне в ответ: этак работать удобнее! — Это срам, господа, и разврат. Этак все на нее пялятся взорами. Какая там работа! — И, перекрывая новый оживленный гул совещания, графиня прибавила: — Этак скоро и

обратное явление наблюдать придется. Этак скоро господа мужчины станут рядиться в дамские юбки! Смейтесь. Вам можно. Вы — античные герои!

— Господа, господа, братья мои! — загудел вслед графине отец Илларион. — Коли уж пошло слово о морали, позвольте и мне. Наше православное воинство, равно как и воинство других исповеданий, но под скипетром нашего православного государя, как некогда страна Васанская из Святого Писания изобиловала громадными дубами, наше воинство во Славу Божию изобилует героями сродни древним святым подвижникам…

Нашими священниками мы гордились. Но я увлекся эмоциями и тем, наверно, исказил ход совещания, вырвав вперед его середину.

Открыл совещание, естественно, Николай Николаевич Баратов, и, если опустить все поздравления, а еще ранее того и гимн, и молебен, начал он с общей картины нашего положения в последние два месяца, то есть с начала самого рейда.

— У нас был пример священного служения Отечеству на поле брани, господа! — сказал он. — Наши братья в самых непостижимых условиях зимы взяли до того неприступную крепость Эрзерум. Одновременно с нами правее нас в сложнейших условиях горной зимы выполнял задачу обеспечения нашего правого фланга Азербайджанский отряд генерала Чернозубова и его доблестных соратников генералов Воронова, Левандовского, Рыбальченко, а также ведомые ими чудо-казаки, сыны Терского, Кубанского и Забайкальского казачьих войск. Представьте себе, в те же дни, когда мы вышли на берега Диал-Су, куда до того не ступала нога русского воина, они овладели крепостью Ровандуз, куда тоже до них не ступала нога русского воина. Они взяли на себя одну из лучших дивизий противника. При этом они, как и мы, не имели пехоты и имели, как и мы, весьма слабую по численности артиллерию. Если не ошибусь, то у каждого из названных командиров было по два полевых орудия…

Всей речи Николая Николаевича я не мог слышать. Капитан Каргалетели совсем занемог. Санитары отвезли его в лазарет. Я остался один. Заботы о наивозможно лучшем устроении совещания носили меня всюду — от стола с почетными гостями до кухни с самоварами.

Я услышал реакцию на слова Николая Николаевича князя Белосельского-Белозерского. Я уж не буду копировать его подлинное произношение и скажу нашим серым, серой армейской скотинки, языком.

— Ваше превосходительство Николай Николаевич, — сказал князь, — да ведь вы огнепоклонник. Вам бы только стрелять, только огнем прикрываться. А где же дух русского солдата? Следует вспомнить, что весь прошлый, пятнадцатый, год наш солдатик выдержал без этих штучек, без этих, как вы сказали, опор для возможно большего задержания противника, без этой артиллерии, даже без ружейных патронов! Выдержал солдатик!

— Да, да! — в согласии с ним закивали некоторые из старших начальств.

Слышать это было неприятно. Я отошел к задним рядам скамеек, к нашему брату капитану, ротмистру, сотнику. Василий Данилович, заметно возвышающийся

над другими, в приветствие мигнул мне. Я протиснулся к нему и спросил вдруг о сотнике Томлине.

— Да уж, пожалуй, два дня не видел его! — сказал Василий Данилович.

Глава 8

После словопрений других начальств, порой не отличающихся от реплики князя Белосельского-Белозерского, снова стал говорить Николай Николаевич Баратов. По его словам, у нас не было возможности остатком наших людей и остатком конского состава с пустыми казенными частями орудий держать взятый нами фронт. Турок превосходил нас в пять раз. Он хорошо отдохнул после Амары и теперь лез нам на плечи, обходил нас с боков. Мы вынуждались оставить Кериндский кряж, Керманшах и Хамадан. Слова благодарности за такой, выражаясь старинным языком, афронт следовало послать любезному сэру Таунсенду в Константинополь. Наш сэр, то есть сэр Робертс, на совещание не прибыл, сказался больным и остался в Шеверине. Вечером, после приема у Николая Николаевича Баратова генерального штаба, капитан Коля Корсун мне сказал:

— Да что, Борис, они об артиллерии талдычат! Я был с этим моим монстром при штабе князя Белосельского. Пили они сидр, когда ты просил огня. А не дали они его потому, что Британия после своей Амары ни за что не захотела нашего успеха! Представляешь, каково бы по всем газетам мира разнеслось: его величества короля Георга войска сдаются, а эти скифские дикари берут в плен тех самых, кому сдаются войска его величества короля Георга! Постой, я, кажется, запутался. А, нет, все правильно. Турок берет в плен британца, но сам попадает в плен к скифу. Хороша новость для всего мира? И ты не переживай! Николай Николаевич все это превосходно понимает. Он только сказать прямо этого не может. Политика, видите ли, — сказал бы я про нее по-солдатски. Я со своим монстром чаще всех у Николая Николаевича бываю. Я вижу, каково ему приходится. И, кстати, вспомнил, а у князя Белосельского где-то там у вас, на Урале заводы есть. Уж не Златоустовский ли? Не знаешь? — Я неопределенно пожал плечами. — Ну и не переживай, Борис! — сказал Коля Корсун и вдруг снова спохватился: — Я же с другим к тебе шел! Мой монстр вписал твою фамилию в представление к награждению тебя британским орденом “Военный Крест”!

— Тьфу! — сухими губами плюнул я.

Сотник Василий Данилович Гамалий за рейд был представлен к ордену Святого Георгия. Британцы без проволочек вручили ему тот же “Военный Крест”. Василий Данилович его тотчас же снял.

— Дюже тяжеловато на хрудях, хучь хазыри вынай! — как всегда на ернический случай переходя к своему черноморскому языку, сказал он.

— А шо? — спросил я.

— Та! — махнул он рукавом черкески. — Поханохо у них бохато. Хитрость отовсюд так и жмурчить!

Более “тяжеловато” было ему в другом, и в другом ему было “поганого богато”. Довольно погано “жмурчало” у небольшой, но какой-то неистребимой части офицеров корпуса, не принимавших Василия Даниловича и вставлявших ему в строку всякое лыко, даже к нему не относящееся. Странно и стыдно было

чувствовать, как у них по отношению к нему, всего лишь сотнику и всего лишь командиру строевой сотни, прорывались и неприязнь, и зависть, и глухая, до поры до времени не высказываемая прямо, но смердяще тлеющая злоба.

— Службу несу, поперед в штабах не лезу, наград не прошу, всякого в сотне привечаю. А негож. Что надо? — спросил он.

Я и сам видел, что негож, и как раз этими качествами, как бы попрекающими тех, кто службу не нес, в штабах лез поперед, наград алкал, никого не привечал. Я это видел. Но об этом мне было почему-то стыдно сказать. Мне было стыдно за этих людей.

— В чем же я виноват, вот скажи, Борис Алексеевич! — продолжил он уже в седлах. — Вот скажи. Полк ушел с вами. Мою сотню приказом оставили. Сразу смешок: Гамальку берегут! — Я весь изнервничался: зачем оставили, почему именно меня оставили? — Ну, хорошо. Оставили. Служим тут затычкой туда-сюда, про вас вести ловим. Завидуем. Я был в Майдеште, помнишь, под Керманшахом. Приказ. Я его наизусть помню, как ты стихи. Хочешь, зачту? — И после моего кивка он прочел: — “Номер пятьсот пятнадцать. Первой сотни Первого Уманского полка сотнику Гамалию, — это, значит, мне, — решил он поерничать. — Майдешта. От командира корпуса. Тысяча девятьсот шестнадцатого года, двадцать шестого апреля, восемь часов сорок минут. Карта двадцать верст в дюйме. Приказываю вам с сотней, с получением сего, выступить на Займан, Каркой, Карозан и далее на Зорбатию с задачей войти в связь с британской армией, действующей в Месопотамии”. Вот так простенько и незатейливо, Борис Алексеевич!

Я покивал Василию Даниловичу.

— Я оказался на многие тысячи верст один и там, где никто из наших никогда не был. Я оказался в ответе даже не за жизнь сотни. Им что. Верст через восемь, как ушли из Майдешты, я сотне объявил задачу. А на утро следующего дня сказал: кто на себя не надеется, хлопцы, или кто больной, вот последняя возможность вернуться в полк. Хотя наш бивак всю ночь уже был под обстрелом, но днем еще можно было вернуться. Я сказал, что идем не знаем куда. Самого жуть и оторопь брала — куда, на какой версте все поляжем без чести. Так сотне и сказал. Пошла сотня. И я в ответе оказался как бы не за нее, а я оказался в ответе за империю. Этим курдюкам, через которых предстояло пройти, и тем дундукам, к которым надо было прийти, я должен был показать империю. Я так понял просьбу Николая Николаевича.

Шесть местных поочередно ехали на одном ишаке, то есть какое-то время ехал один, а все остальные бежали рядом. Потом на ишака взлезал другой, и опять все бежали следом. Если ишак упрямился, били его палкой. Если он выдерживал характер, седок тыкал его в холку шилом.

— Посмотри, Василий Данилович, — показал я.

Персы при этом вдруг остановились, бросили мучить ишака и в несколько необычном для них восторге уставились на нас. Один приветливо махнул.

— Издраст! Пожалискя, садис! — крикнул он и показал на ишака.

Мы с Василием Даниловичем переглянулись и, прямо сказать, от

неожиданности взоржали.

— Нет, мой хорошо! — показал на своего кабардинца Василий Данилович.

— Рус хорош! — согласился перс и с улыбкой сказал еще что-то длинное, может быть, и обругал нас.

— На мифахмам, не понимаю! — сказал Василий Данилович.

— На мифахмам, на мифахмам! — радостно затараторили персы.

— Фарсистан — хорошо! — сказал Василий Данилович и посмотрел на меня, дескать, больше-то ничего не знаю, а надо бы побалакать еще.

— Рус — хорошо! — хором сказали персы.

— Рамазан! Рамазан, пост ваш, страсти ваши по Магомету, скоро будут? — нашел еще спросить Василий Данилович.

— Рамазан, рамазан! — враз опечалились персы.

— Где-то вот-вот должен их пост наступить, — сказал мне Василий Данилович. — Как они говорят, в это время с рассвета, когда еще нельзя отличить белую нитку от черной, и до полного захода солнца ничего нельзя — ни есть, ни пить, ни этого, — Василий Данилович жестом показал, что нельзя в это время и предаваться любви.

— Да, — подхватил я. — Нельзя в это время купаться, вдыхать благовония, принимать лекарства и даже глотать слюну. Можно только предаваться неописуемому трауру!

— Вот так! — сказал персам Василий Данилович.

— Вутак! — печально закивали они.

— Видишь, люди же, когда с ними поговоришь, Борис Алексеевич! — сказал Василий Данилович.

— Вижу, — с любовью к нему сказал я.

— Вот так и мне пришлось с ними где лестью, где плетью, где лаской, а где и… — Он не нашел рифмы и снова повернулся к персам: — А что, правоверные, сгубили нашего Грибоедова и думаете, хорошо?

— Хорошо, хорошо! — сказали знакомое слово персы.

— Вот и возьми их! — вздохнул Василий Данилович.

К себе в палатку я вернулся ночью. Там дремал — голову на руки — сотник Томлин. Вестовой Семенов дремал при входе. Здесь же была привязана довольно крупная, с седой бородой коза.

Глава 9

В отступательных боях память зацепляет гораздо больше, чем в боях наступательных. Горечь потери оказывается живучее азарта приобретения. К семнадцатому июня мы оставили Кеминд и в ночь на восемнадцатое двумя дорогами — в обход и через город — уходили из Керманшаха. Верные союзническому долгу и глубоко переживающие за наше общее дело британцы сообщили, что на наших плечах повисли четыре пехотные дивизии и две конные бригады при массе артиллерии. Не имея обычая кушать на завтрак какаву, мы шарашились против этой громады под Кериндом восемь суток с тем, чтобы дать нашим тылам уйти в полном порядке. Приказом Николая Николаевича мы сдавали Керманшах без боя. Его же приказом мы не уничтожали за собой мосты через ущелья и речки, хотя их уничтожение давало бы нам большое преимущество. Николай Николаевич не понимал, как можно не уважать устоев чужого народа, как можно не беречь его векового труда. Мы проходили по мостам, каменной дугой выгнутым и опертым на могучие быки, ставили взвод орудий и взвод казаков. Саперы клали на предмостье небольшие заряды, не могущие повредить мостам, и тянули провод. И только к мосту выкатывалась турецкая часть, они взрывали заряды электричеством. Это заставляло противника сильно нервничать. Он останавливался. Мы накрывали его огнем и уходили до следующего моста или следующего удобного для задержки противника места.

Я с фронта прибыл в Керманшах к вечеру. Авто начальника штаба корпуса полковника Николая Францевича Эрна, перешедшее из генерального штаба капитану Каргалетели, на время досталось мне. Я инспектировал нашу артиллерию, а по сути, опять руководил ею. Локая с вестовым Семеновым я оставил в Керманшахе в надежде, что разыщу их. С надеждой тотчас пришлось распрощаться.

Мимо на авто, фургонах, двуколках, телегах, фурах, арбах, на мулах, именуемых здесь катерами, верблюдах, забивая улочки и цепко держась друг за друга, на восток к Хамадану тянулись лазареты, корпусные и земские учреждения, отдельные войсковые части и часть местного населения. Перекрестки и места, мало удобные для беспрепятственного прохода, контролировали казаки. Случающиеся временами заторы они разгоняли древним и действенным способом. Только-то намерится некто вклиниться в поток вне своей очереди, как тотчас же и извивается под казацкой плетью. Да, собственно, до плетей доходило редко. Уже на подходе к перекрестку каждый из возниц от впереди идущих знал, что отведает казачьего гостинца не только когда полезет вперед, но и когда замешкается.

Восток темнел. И темнели снежно-синие горы. С запада тянулись лучи заходящего солнца и выкрашивали в зловеще багровый цвет и без того красные граниты тамошних гор. С лучами бежали тени, мерцая то синим, то сиренево-зеленым светом. Они бежали, и небо темнело. Над городом стоял непрерывный гул движения. Его как-то неуловимо перемежали, будто даже его рождали, эти странные тени. Местный люд выпялился на плоские крыши и дувалы. Через губернатора он был предупрежден — любое препятствие нашему движению будет жестко пресечено. С квартальных старшин было взято слово, что ни один турецкий агент,

ни один взлобствовавший на нас местный житель себя никоим образом не проявит, — за любое их проявление ответит весь квартал. Город был не тронут нами в феврале, когда мы вошли в него. Он оставался нетронутым нами сейчас, когда мы из него уходили. Губернатор дал офицерам гарнизона обед и оставил город вместе с нами. С нами пошли и большинство армянских семей.

Наш фронт тянулся с севера на юг от Кергабада и Сене до Буруджира, то есть от Курдистана, до центральной Персии и составлял линию на горной местности в двести верст, а потом заворачивался на восток и снова тянулся на двести верст. Своей неуступчивостью, постоянными атаками сверх предела наших сил, засадами и ловушками на каждом изгибе дороги и на каждой скале мы изматывали противника, обеспечивали организованный отход, чтобы, как под Ханекином, удар турок пришелся на пустое место.

Керманшах провожал нас если и со злобой, то тщательно скрытой, а если и с сочувствием, то тоже скрытым не менее тщательно.

Одиннадцатого февраля мы вошли в него с боем. Иного быть не могло. После взятия нами Хамадана и Кума сюда, в Керманшах, стеклись и немцы, и турки, и шведы, и персидские жандармские отряды, и дервиши всех мастей, и курдские племенные вожди луров, бахтиар, кельхиоров со своими многочисленными вооруженными формированиями. Здесь собралась ударная группировка войск численностью в четырнадцать тысяч штыков и сабель, из которых пятую часть составляли регулярные турецкие войска при четырнадцати же орудиях. Город стал основной германо-турецкой базой в Персии. Возглавил эту базу генерал германского генерального штаба граф Каниц, апологет и движитель идеи превращения Персии в германского союзника и ярого врага России.

Брала город Кавказская кавалерийская дивизия, то есть драгуны и казаки-хоперцы, общей своей массой составляющие силу, равную как раз одной пятой скопившегося в городе гарнизона. Но если чтить завет Александра Васильевича Суворова о пуле-дуре и штыке-молодце не в прямом смысле, а мыслить под пулей технику и массу, под штыком же — дух и умение войск, то выходило именно по его завету. Город брала кавалерия, числом в пять раз меньшая его гарнизона, но более чем в пять раз преисполненная духа и умения. Я показываю эти вычисления по чисто русской примолвке: “Свекровь кошку бьет — невестке намек подает”. То есть я снова возвращаюсь к пресловутым какаве и Кут-Эль-Амаре с крамольной, но не лишенной оснований мыслью — а вот посадить в эту Амару нас! Да отъевшись на какаве и отдохнувши, мы бы артиллерийским огнем расчистили себе дорогу, а потом шашками довершили дело. Таков был порыв наших войск, и таков был страх у нашего неприятеля перед нашим порывом. И еще — таково было отношение всего этого гарнизона к населению города, что оно встречало нас с ликованием и гимном “Боже, царя храни!”. Не премину в очередной раз вспомнить о том, как Сибирская казачья бригада в декабре позапрошлого, четырнадцатого, года в ночной конной атаке взяла город Ардаган. Чего-то, видимо, мы не понимаем — недаром нас считают за варваров, и, например, тот же германский генеральный штаб в труде Бронзарта фон Шеллендорфа отзывается о службе генерального штаба нашей армии с нескрываемым пренебрежением. Чего-то мы не понимаем и воюем чему-то

вопреки.

Прошу простить за отклонение в сторону.

А в феврале в керманшахском гуле панического бега неприятеля и ликования населения никто не расслышал одинокого пистолетного выстрела — граф Каниц, увидев крушение мечты всей его жизни, почел за необходимость сохранить хотя бы имя.

И теперь, при нашем уходе и в преддверии турецкого празднества, разумным было для населения города своего сочувствия нам не показывать.

В этой круговерти искать вестового Семенова было глупо. Я решил не задерживаться и ехать дальше. Но шофер, младший унтер-офицер из запаса Кравцов, сказал, что надо остановиться. Он открыл крышку радиатора. Пар тугой струей ударил наружу.

— Кипит во все шестнадцать коней! — сказал Кравцов, имея в виду мотор авто в шестнадцать лошадиных сил. Он пошел на арык за водой.

Наши тыловые учреждения уходили. В надежде, что ушлый вестовой Семенов сообразит выйти из города и теперь ждет меня по дороге, я велел ехать. И мы тянулись с потоком обозов, по возможности обгоняя их, до самого Бехистуна. Здесь приказом Николая Николаевича мы должны были задержать неприятеля сколько можно.

— Вон он! — показал утром на чернеющее в поднятой обозами пыли пятно шофер Кравцов и спросил: — А вот скажите, ваше высокоблагородие, что и почему на нем?

Он имел в виду огромный барельеф, вырубленный на черной базальтовой скале над дорогой во времена персидского царя Дария, то есть почти две с половиной тысячи лет назад.

Я стал ему рассказывать, не упуская из виду пятно. И только я начал, как впереди около дороги увидел скособоченную фуру, явно сломанную и брошенную, к которой был привязан мой Локай.

— Шельмецы! — в невольной радости вырвалось у меня.

— Так точно! Русский человек таких шельманов делать не станет, не католик какой-нибудь! При этакой нечистой силе сам Скобелев заскучает! — понял мое восклицание относящимся к барельефу шофер Кравцов.

Я махнул ему помолчать. В феврале нынешнего, шестнадцатого, года я ехал в только что взятый Керманшах с сотней Василия Даниловича. Мы поднялись к этому Бехистуну, прихватились морозцем, взбодрились и повеселели. По-родному, будто давимая для засолки капуста, хрустел под подковами коней снег. “Куда с добром!” — склабились казаки. И не нужно было, но мы с удовольствием укутались в бурки.

От передового разъезда прикатил посыльный.

— Ваш сокблагородь, дозвольте обратиться к их благородию сотнику! — слетел он с седла. И потом, хватая бородой и широкой грудью снежный воздух, стал

возбужденно рассказывать: — Скала стоит жуткая! Вся черная как смерть! И на ней пояс зачищен. По той стороне скалы. Сажён семь будет пояс. А на поясе — черти. Тоже высечены. В скале высечены. На поясе, значит. Идут. Черти идут. Идут вроде мимо. А в сам деле идут как-то так, что будто вот-вот сверху на тебя прыгнут. Мы, спаси Хосподи, так и заробели. Значит, чертей этих… Ну, страна!

Мне что-то в его рассказе показалось знакомым.

— Ты сам, братец, этих чертей видел? — спросил я.

— Да вот так, ваш сокблагородь, сажен на десяток подошли. А они сверху. Росту этак вот нашего сотенного Василия Данилыча взять. Уж как здоров. Уж как здоровы вы, Василий Данилович! А эти в два будут. А главный у них на тахте сидит. Так тот чисто сам сатана. Тот без размеру. Одна борода вот с мою бурку будет! — истово сказал казак.

— Бехистун! — догадался я.

— Он, ваш сокблагородь, он! Чисто бесов тын! — перекрестился казак и опять сказал: — Ну, страна, ваш сокблагородь! Чисто чертячья страна!

— О чем он? — тихо спросил меня Василий Данилович.

Я не первооткрыватель этих “чертей”. Роулинсон и не знаток мирового искусства Верман, который писал про этот барельеф. Но, как помнил, я по дороге рассказал Василию Даниловичу историю его создания.

Царь Дарий победил всякого рода бунтовщиков и в знак своей победы, как то было принято на Древнем Востоке, высек на скале своего рода похвальбу и одновременно предупреждение всем, кто впредь взялся бы бунтовать или нападать на Персию.

Вот, собственно, и все. И сейчас я сказал шоферу Кравцову:

— Царя Дария, который гонялся за скифами, из истории помнишь?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — сказал шофер Кравцов.

— Вот он изобразил сам себя, чтобы остальных постращать! — сказал я.

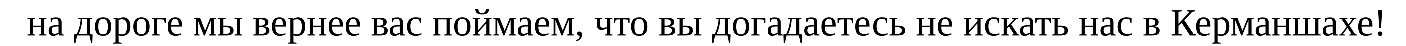
Было не до шофера Кравцова. Впереди сквозь пыль около скособоченной фуры вырисовывался мой Локай. “Уж не брошен ли! — на миг испугался я, а следом успокоился: — Как же! Остался бы он тут стоять брошенный! Его тотчас бы прихватили!”

Я выскочил из авто и побежал к нему. Он вспрянул навстречу, запрядал ушами, запереступал и жалобно заржал.

— Локайка! — дернуло мне сердце.

Из-под фуры всторчала голова вестового Семенова.

— А, ваше высокоблагородие! — блеснул он из черной стриженой бороды улыбкой и, по своему обыкновению, быстро-быстро стал говорить, что он посчитал разумным не ждать меня в городе. — Да я бы сам-то, ваше высокоблагородие, и не посмел. А вот их благородие сотник, — он показал под фуру, — вот они сказали, что


на дороге мы вернее вас поймаем, что вы догадаетесь не искать нас в Керманшахе!

— Да уж! — подал голос сотник Томлин, вылез, обдернулся, играя, приложился к папахе: — Здравия желаю, господин подполковник!

— Смирно! — вне себя заорал я.

— Никак нет! Так точно, Лексеич! — несколько испугался он.

— Что так точно! — снова закричал я.

— Так ведь… — вдруг понял он, — так ведь уже два дня, как ты подполковник! Бумаги пришли! Уже все по тылу знают, вплоть до лазаретных санитаров! Это вы там, на боях, скукой маетесь!

Я растерялся. А теряться, собственно, было не от чего. В прошлом году хотя и запоздало, но вышел приказ “Об ускоренном производстве в чины на фронте”, вступивший в силу, как бы сказали канцелярские штабсы, задним числом с самого начала войны и определивший дальнейшее производство через год. Он внес очень много путаницы. По этому приказу я, получивший своего штабс-капитана в мирное время, должен был получить капитана с началом войны и вне зависимости от моего Святого Георгия, а подполковника, выходило по приказу, я должен был бы получить вместе с Георгием. Все это я знал. Но, зная, я как-то не относил это к себе. Мне хватало при моей должности моего чина капитана. И вот я растерялся.

— Спасибо за новость! — сказал я.

Сотник Томлин увидел в моих словах что-то свое.

— Да ты… Борис! — вскипел он.

Ушлый мой вестовой Семенов рыбкой метнулся к Локаю. Ему, нижнему чину, при сем гегенфорстозе, то есть встречном бое, находиться было не положено. Сотник Томлин не договорил, поджал губы, скрутив мягкий свой ус в круассан, и коротко фыркнул — коротко, будто только выдохнул. Я постарался его не заметить.

— Очень много дел, Севостьянович. Хочешь, поедем со мной. Вестовой Семенов приведет Локая. Правда, очень много дел! — сказал я.

— Ладно, ваше высокоблагородие. Бери вестового. Локайку я сам приведу, — едва себя сдержал сотник Томлин.

Я тоже — и тоже едва — сдержал себя. Я позвал вестового Семенова и сел в авто. Успокоившись, я вспомнил про седобородую козу и спросил вестового Семенова, где она.

— Григорий Севостьянович ее при каком-то лазарете оставили, сказали, чтобы смотрели ее, как стратегическую девку! — сказал вестовой Семенов.

— Какую девку? — спросил я.

— Стратегическую, Борис Алексеевич. Ну, значит, которая в невестином ранге. Так Григорий Севостьянович говорит! — сказал вестовой Семенов.

Через час Бехистун встретил нас своими чертями. Не смотреть на них было невозможо. Они заставляли смотреть на себя. Шофер Кравцов еще раз попросил

рассказать о Бехистуне. Его настойчивость мне не понравилась. Он походил на тех людей — адъютантов, ординарцев, половых, — кто приближен. Я таких людей не терпел. То есть сами по себе они были для меня людьми. Но если они вот так себя вели, я не терпел.

— Что они обозначают, ваше высокоблагородие? — спросил он.

— Да чтобы никто более в их царство не лез! — сказал я.

— Понял, ваше высокоблагородие! — тотчас отозвался шофер Кравцов. — Понял. Держалась кобыла за оглоблю, да упала!

Глава 10

День я мотался по округе, искал наивыгоднейшего расположения артиллерии. И уж коли довелось осматривать округу, я прибавлю к истории возникновения барельефа и самого понятия Бехистун, ставшего известным всему миру, свое краткое описание.

Сам барельеф расположен по высоте саженях в десяти от подножия скалы. На нем изображены, конечно, сам царь Дарий, по словам казака-уманца, сатана. Он действительно громаден против всех остальных фигур, изображающих покоренные Дарием народы. Примечательна скала еще и тем, что чуть в стороне от барельефа, там, где скала становится красной, высоко над землей высечена галерея с остатком колонн и головы сфинкса, разрушенного временем так, что бесстрастное выражение лица его сложилось в насмешливое и даже презрительное. У подножия скалы под галереей лежит куча каменных развалин — остаток старинного храма. Все внушительно, и все величественно. Все заставляет остановиться и посмотреть, посмотреть и увидеть, увидеть каждому, и увидеть свое, открыть внутренний взор. Невдалеке от скалы в противовес прошлому вросла в землю и навоз нынешняя персидская деревушка Бехистунграм из пары десятков саклей и караван-сарая. От скалы во все стороны открывался хороший вид — раздолье для артиллерийской позиции с тем только изъяном, что сама скала служила хорошим ориентиром для неприятеля. Потому-то я лазал по окрестностям и искал возможности наивыгоднейшего расположения моих полутора батарей во сохранение стволов, снабженных самым ограниченным боезапасом, от разноса.

Я устал так, что вечером, ужиная у старого прапорщика, начальника этапного пункта, уснул прямо за столом, извинился и ушел спать в авто. Едва я коснулся сиденья, вынутого шофером Кравцовым на землю, меня разбудили — у старого прапорщика складывалась компания, и ей донельзя восхотелось позвать меня. Компания меня встретила поздравительным гулом, в котором только и можно было разобрать, что новому подполковнику “ура”! что он, новый подполковник, все еще в капитанских погонах. Старый прапорщик вытащил коньяк, консервы, всякую иную снедь, существование которой мной прочно забылось. Только приняли по первой, как объявились дамы — графинечка с товарками, тремя сестрами милосердия и с Валерией, разумеется. Опять все принялись радоваться и поздравлять меня. Все смотрели на меня с обожанием, будто я только что отказался стрелять по возмутившимся аджарским селениям. Графинечка мне велела сесть рядом с ней. Все закричали и захлопали в ладоши:

— Ах, какая пара! Подполковник, графинечка, поздравляем!

Валерия тоже хлопала и улыбалась, но не кричала.

— Графинечка, вы рискуете! — в общем настроении сказал я.

— Чем же, Борис Алексеевич? — любовно, но с игрой посмотрела графинечка.

— Тем, что останетесь старой девой! — сказал я.

— Почему же? — по-прежнему любовно, но с игрой насупила она брови.

— Я буду стреляться с каждым мужчиной, кто посмотрит на вас! — сказал я.

— Какая прелесть! — вскричала графинечка. — Внимание, господа! Вы слышали? Какая прелесть! Только что подполковник Норин сделал мне предложение!

— Бог с вами! — закричал я.

Мне так пришлось в общем гвалте вскричать несколько раз. Наконец меня услышали, и неожиданно вскочил офицер-драгун:

— Подполковник Дыдымов! — представился он и зло сверкнул на меня: — Подполковник Дыдымов, и я вас вызываю!

Из всех я увидел только Валерию. Я увидел, как она помертвела.

— И за что? — спросил я по-ребячьи.

— За оскорбление чести графини, если вы сами не понимаете! — зло сказал подполковник Дыдымов.

Я оглянулся к графинечке. Она распахнула навстречу глаза. Я увидел, что они зеленые. “Не очень крепкое здоровье”, — говорила моя нянюшка про зеленоглазых, порой замечая зелень и в цвете моих глаз.

— Нет, Дыдымов! — вскричала графинечка. — Нет и нет! Вы несете вздор. Идет война! И я не позволю! Что за оскорбление вы нафантазировали! Подполковник Норин мой давнишний друг!

О давнишней дружбе графинечка сама смело нафантазировала. Мы и знакомыми-то были едва-едва. И мне ее слова стали неприятны.

— Ваши условия! — сказал я подполковнику Дыдымову.

— Сейчас же! — ответил он.

— Прекрасно! — подхватил я.

На нас накинулись. Графинечка горячо схватила меня.

— Не принимайте! — горячо зашептала она. — Подполковник пьян и несет вздор!

— Оставьте! — тоже зашептал я.

— Он обвинил нашего офицера! Он бросил тень на наш полк! — прибавил моих грехов подполковник Дыдымов.

— Душечка Дыдымов! Явно вы что-то истолковали не так! — горячо стала ему говорить графинечка.

— Господа! Я никудышно ниже вас всех по чину! Но я гораздо старше вас годами! — то ли наконец вник в суть дела, то ли счел необходимым вмешаться старый прапорщик. — Война, господа! У каждого из нас присяга государю императору и Отечеству! Государь-император так нуждается в таких солдатах, как вы! Протяните друг другу руки!

— Война же, война! Каждую секунду могут убить! Можно схватить тиф или что там! Вот уже завтра! Да что завтра! Вот сейчас налетят — и с концом! — враз заговорили все.

— Моя честь ничуть не затронута! Я польщена словами подполковника Норина! — говорила графинечка.

— Подполковник, объяснитесь! — спросил старый прапорщик. — Почему вы требуете удовлетворения за оскорбление чести полка только сейчас, а не прежде? Сейчас подполковник Норин ничего порочного не сказал!

Подполковник Дыдымов как бы захлебнулся.

— Да, подполковник! — стали говорить все. — Да, почему сейчас, а не часом раньше, когда вы с подполковником Нориным увиделись? — Всем стало очевидно, что в нападке подполковника Дыдымова было что-то иное.

— Тихо, господа! — вскричал я. — Я принимаю вызов. Только один вопрос к подполковнику Дыдымову. Скажите, как, когда и кому известный вам корнет доложил о моем ему замечании? Я полагаю, тень на ваш полк упала с этой стороны?

— По отсутствии командира полка полковника Гревса он доложил мне, на то время замещающему командира их эскадрона. А какого числа, я не помню. Но это не существенно! Он доложил, что вы без основания и ввиду нижних чинов придрались к нему, чем и оскорбили, при этом приказали доложить мне о нем какую-то вашу несуразицу! — тотчас ответил подполковник Дыдымов.

Теперь и я как бы захлебнулся. И пока я глотал пустой воздух, старый прапорщик простодушно спросил подполковника Дыдымова:

— Так что же, ваше высокоблагородие, этот корнет не вызвал капитана сам?

— Он исполнял приказание! — нашел ответить подполковник Дыдымов.

— В таком случае, — наконец проглотил я пустой воздух, — я прошу вас, господин подполковник, на одну минуту!

— Я полагаю уместным обсудить условия не тайком, а в присутствии всех! — сказал подполковник Дыдымов.

— Да черт с ними, с условиями! Драться сейчас и на шашках! — зло закричал я. — Я прошу вас на минуту по другому поводу. Через минуту мы будем драться непременно!

Снова все кинулись успокаивать нас и теперь — особенно меня.

— Я не желаю говорить ни минуты! — сквозь шум прокричал подполковник Дыдымов.

— Идемте! Я полагаю, ни церемоний, ни секундантов мы требовать не будем? — прокричал я ему.

Он согласно кивнул. Нам удалось продраться к выходу и потом во двор.

Над округой висела полная, как грудь кормящей женщины, луна. Все вокруг было залито, как молоком, ее белым светом. Черный базальт Бехистуна трепетал и

переливался, будто взрябившая вода.

За нами во двор вывалились все. Мы вынули шашки. Драгунские офицеры должны были хорошо рубиться, хотя я как-то отметил, что русская кавалерия этого делать не умеет. Кавалерия не умеет, а кавалерист обязан, — отметил я.

— Дыдымов, — я хотел сказать, что корнет сказал ему неправду.

— Начинайте! — сквозь зубы сказал подполковник Дыдымов.

Я враз опустел и словно бы стал невесомым.

— Да-с! — сказал я в насмешке.

Через несколько ударов я почувствовал, что он тяжел, что он долго не простоит. Ложным замахом я зашел ему за спину.

— Вы убиты! — сказал я.

Он стремительно и со всего плеча нанес удар назад. Острие клинка, едва не захватив моего носа, протянуло мимо струйку снежного холода. Мне так и показалось, что следом за клинком, которого я даже не увидел, вжикнула эта струйка.

Удар развернул Дыдымова и пронес его клинок далеко в сторону. Мне оставалось лишь сделать короткий выпад. И все ахнули. Я остановил руку. А может быть, Господь, как некогда Авраама, остановил меня. Чем-то самым потаенным, исходящим из каких-то таких моих глубин, о которых и подозревать-то не выходило, я почувствовал, что Дыдымов упадет без моего удара. Он еще только останавливал руку. Он еще только старался бросить клинок вперед, чтобы встретить меня. Он еще стоял. А я уже видел, что он падает. Я остановил удар. Мне остановить шашку не составляло труда. Я остановил. А Дыдымов не остановил. Дыдымов не справился. Сила его собственного, злого и страшного, но не меткого, удара потащила его. Он упал. Все ахнули.

— Ахают! — в неприязни сказал я.

Из этого аханья вырвалась Валерия и припала к Дыдымову.

Я посмотрел на мою шашку. Она была чиста. Я вложил ее в ножны и тоже шагнул к подполковнику Дыдымову. Валерия подняла на меня глаза.

— Проклятая жара! — кое-как выдохнул подполковник Дыдымов.

У него носом пошла кровь.

— Тепловой удар, Борис Алексеевич! — сказала Валерия.

— А вы ахаете! — в прежней неприязни сказал я.

Она отвела глаза.

— Вы некрасивы! — сказала она.

— Ах, виноват! — в новой неприязни артистически выгнулся я.

Подполковника Дыдымова прибрали. Валерия и шофер Кравцов на авто

повезли его в лазарет. Меня долго, но, кажется, с любовью корили за дуэль, сводя к тому, что он был уже болен, а я все равно вышел с ним драться. О том, что никто его больного состояния до дуэли не увидел, как-то забывалось. Я почел за благо не напомнить им об этом и не оправдываться. Случай вышел заурядным. Все видели — начал он. И все видели — я был у него за спиной и говорил: “Вы убиты!” Этого мне хватало. А вообще, мне было его жалко.

Пирушка ненадолго возобновилась. Вскоре старый прапорщик потащил любителей карт в соседнюю комнату. Я карт не любил. Графинечка меня спросила об этом и, кажется, удивилась.

— Правда, не любите? — спросила она.

— Да, ваше сиятельство. Не люблю и не играл. Только классе во втором мы нарисовали себе и играли в дурака, — сказал я.

— А стихи и литературу любите? — спросила она.

— Да вот как сказать, — замялся я. — Так, на уровне того, как у Пушкина: “Но я вчера Голицыну увидел и примирен с Отечеством моим”.

— То есть по обстоятельству и настроению, — определила графинечка и позвала свою товарку, юную сестру милосердия: — Маша, Чехова, пойдите сюда на минуту!

Пока та несколько прииспуганно откликнулась и пошла к нам, графинечка успела пояснить, что эта Маша давно пишет, и она, графинечка, хотела бы узнать мое мнение.

— Да что вы, ваше сиятельство! — законфузился я.

— И все-таки, Борис Алексеевич. У вас есть вкус! — настояла графинечка.

Маша подошла. Смущение и красные щеки ее были видны даже при скудном свете лампы.

— Что вы, ваше сиятельство! Я не смогу! — совсем смутилась Маша.

— Сможете, — довольно резко оборвала ее графинечка, сама же услышала свою резкость и поправилась: — Сможете, Маша. Вам будет очень важно мнение господина подполковника Норина. Поверьте. Вы же знаете его. Вы же сами говорили…

— Графинечка, что вы! — совсем перепугалась Маша. — Я ничего такого не говорила. Я только сказала, что они, ну, вы то есть, — Маша повернулась в мою сторону, но не взглянула на меня, — что они, что, вероятно, они смогут понять…

— Так вот прочитайте! — уже совсем мягко сказала графинечка и тотчас обернулась ко мне: — Борис Алексеевич, а вы знаете французскую поэзию?

— В рамках курса языка. Ронсар, Дю Белле, Вийон, — сказал я.

— Ну, вот хорошо! — удовлетворилась моими познаниями графинечка и повернулась к Маше: — Вот сначала прочтите, Маша, из французской поэзии, это: “Le pont Mirabeau…”

— Ах, это! — просияла Маша.

— Изумительный перевод, Борис! — сказала графинечка.

— Ваше сиятельство! — с укоризной посмотрела на графинечку Маша.

— Читайте же! — снова с резкой ноткой сказала графинечка.

— Sous le pont Mirabeau coul le Sein et nos amours… — прочла Маша небольшое и трудно сказать какое: то ли хорошее, то ли странное, то ли простое, то ли немыслимой сложности стихотворение — и тотчас прочла свой перевод: — Под мостом Мирабо Сена течет и течет и уносит нашу любовь…

Я почесал затылок.

— Как вам? — спросила графинечка.

Я попытался лицом изобразить нечто вроде того, мол, да.

— И кто же это? — спросил я.

— Я привезла из Парижа, до войны, разумеется, собственно, так, завалявшийся в кофре журнал. И как-то уже потом наткнулась в нем на это стихотворение. Некто Аполлинер. Маша перевела его уже здесь.

— А еще раз в подлиннике, — попросил я Машу.

Она коротко взглянула на графинечку. Та глазами показала читать. Маша прочла. Мне показалось, у Маши на русском языке это звучало лучше. И в самом деле! Или: “Под мостом Мирабо Сена течет и течет и уносит нашу любовь. Я должен помнить: печаль пройдет, и снова радость придет….” или “Sous le pont Mirabeau coule la Seine Et nos amours Faut-il qui l m en souvienne La joie venait toujours apres la peine…” На французском языке все это выходило как-то вычурно и сложно. Не правда ли? Хотя как раз на французском-то и была та трудность, о которой нельзя было определенно сказать, хорошо ли стихотворение, плохо ли. Можно было сказать одно — оно цепляло. И эту сложность Маша сохранила.

Я с любовью посмотрел на Машу. В плохом свете далекой от нас лампы она, кажется, взгляда моего не увидела. Но она его почувствовала. “Какая Маша!” — подумал я. Она и это почувствовала. И я почувствовал, что она почувствовала.

— Еще прочтите, Маша! — попросил я.

— То самое, о котором говорила графинечка? — смело, но очень коротко посмотрела она на меня.

Я с улыбкой кивнул.

— Только, если не понравится, вы скажете мне об этом прямо! — сказала она.

— Да вот старика Стасова нашли! — сказал я об известном художественном критике Стасове, сколько могу знать, в критической своей страсти задушившего много хорошего.

— Дайте слово, что скажете! — потребовала Маша и от смелости своей вспыхнула.

Я дал слово. Она стала читать. Я стал смотреть на нее открыто и, может быть, даже слишком. Все в ней мне стало нравиться.

— Лихолетье. Кони, кони. В темном мареве ладони, в черном мареве душа. И уходят не спеша кони вверх по травостою… — стала читать Маша.

Строчки ее подхватили. Она сама подхватилась, потянулась вверх. Темная тень от слабой лампы очертила ее, будто вырезала из всего, что составляли мы. Тень приподняла ее над нами. Она, приподнятая, в такт ритму стала чуть-чуть раскачиваться, совсем как — простите, хотел сказать, висельник. И слава Богу, что так сказать я не успел. В ритм стиху она стала чуть-чуть раскачиваться, чуть-чуть прогибаться в талии, будто была несильным ветром или пламенем. Не смотреть на нее стало нельзя.

— Ни надежды, ни спасенья. Под копытами столетья. Годы. Годы. Лихолетья. Ночь бросает на колени тени, тени, тени, тени. По траве стекает небо. Синева уходит в небыль… — не замечала она моего открытого взгляда.

А мне в это время, наверно, следовало бы рисовать картины чего-то высокого, трагического и значительного, потому что она читала страстно и хорошо. Слова она чеканила, выковывала, стелила степью, небом, и от них шло ощущение какого-то дальнего пожара. Я смотрел на нее и рисовал ее саму, рисовал не одетую в платье сестры милосердия с закрытым воротником, а рисовал ее обернутой в тень, раздевал ее, очерченную плохим светом дальней лампы, и попросту таращился. Что было в ее стихотворении, я не понял. Я только понял, что я ее чувствую и что она чувствует меня.

— Ночи белы. Ветры сини над Россией, над Россией. И идут по травостою белой ночью, тьмой пустою — звезды просятся в ладони — кони, кони, кони, кони! — прочитала она.

Стихи были женскими. Но это были стихи, до осязания пахнувшие на нас домом.

“Если бы она прочитала их раньше, подполковник Дыдымов не стал бы привязываться ко мне”, — подумал я.

Она прочитала. Кругом все смолкли. И смолкли, видно, давно — только я этого не заметил раньше. Когда она закончила читать, все быстро зааплодировали. Мне показалось, этого не следовало делать — быстро аплодировать. Я раздосадовался

Она посмотрела на меня и испугалась своей смелости. Но ее взгляд спросил: “Почему?” Он спросил не “как?”, а он спросил “почему?”. То есть она спросила, не как мне показалось ее стихотворение. Она спросила, почему я раздосадовался. Так чувствовать другого человека могла только очень глубокая и, верно, обреченная на несчастье девушка.

— Скажите, хороша? — спросила графинечка.

Ответить на такой вопрос ей, графинечке, я не захотел. Я встал к Маше.

— Я вам скажу после! — сказал я.

Я не прикоснулся к ней. Но я почувствовал, как ударило ее сердце.

— Вы даете слово. Я буду его ждать! — как-то темно, из глуби посмотрела на меня Маша.

А дальше было — а дальше была Валерия, была ночь, в которую уехала графинечка и увезла Машу. Был какой-то закуток, обустроенный Валерией даже в этом нашем вертепе. Она страстно мне говорила о любви. Я же видел Машу и говорил: “Я не умею любить. Верно, я не умею любить”. Мне было плохо оттого, что я был с Валерией. И мне было хорошо оттого, что я был с Машей.

Утром пришел сотник Томлин.

— Лексеич, — сказал он с привычной заменой “ч” на “щ”. — Я Локайку пропил.

— Вместе с седлом? — думая, что он играет, спросил я.

— И с козой, — сказал сотник Томлин.

— Ага, — сказал я, чтобы отвязаться.

— Они расставаться не хотели. Оба жалобно так блеяли! — сказал сотник Томлин.

Выслушивать его, как мне подумалось, ерничества ни времени, ни охоты у меня не было. Я молча показал шоферу Кравцову трогаться.

— Лексеич! — позвал вдогонку сотник Томлин. — Отведи меня за курятник и расстреляй! Все мне надоело!

— Ага! — буркнул я.

Вечером вестовой Семенов едва не в слезах подтвердил — так точно, Григорий Севостьянович пропили!

И это я спустил сотнику Томлину. Только он как бы перестал для меня быть. Он болтался по тылам корпуса, пьянствовал с кем ни попадя. Однажды мне сказали, что он пропил свой Анненский темляк. “Пропил и пропил!” — сказал я на это, нашел его темляк и оставил у себя. Я не чувствовал тогда ничего, кроме горечи — остылой и слежавшейся, как старая зола. И она была не оттого, что он не любил меня, как бы мстил за мое неумение заменить Сашу. Горечь была другого свойства. Я более жалел о том, что выхлопотал ему службу. Без моих хлопот давно бы он сидел на своей Заячьей горе. Я же, выходило, взял грех на душу.

Локая я, конечно, вернул. Но разлучил его с козой. Ветеринар Шольдер оказался прав. Я приехал взять Локая — а он мирно пасся на скудном склоне холма, уже отдохнувший от рейда, сколько возможно, выправившийся. Подле, не далее двух шагов, паслась коза. И Локай ревниво следил, чтобы она не отдалялась. Избегая насмешек, я, конечно, ее не взял.

Глава 11

Через неделю боев на Бехистуне мы оставили его, а в конце июня нам пришлось оставить и Хамадан. Его оставляли мы уже в спешке и панике. Удивительно, как быстро человек может потерять свои человеческие качества. Видно, в скотском состоянии мы и в самом деле пребывали миллион лет, а в человеческом — только несколько тысяч. И в человеческом состоянии могла нас держать только большая задача. Дерущиеся на фронте части были образцом доблести и самопожертвования. А тылы уже в десятке верст от фронта представляли собой копошащуюся массу опарышей, наделенных только тремя инстинктами — инстинктом жрать, созвучным этому слову инстинктом, в обозначение которого я употреблю слово “испражняться”, и спасать свою шкуру. Тылы оставляли Хамадан совершенно бессовестно. Такой позор я принимал впервые. Все казачьи части были в боях. Мы, как я уже говорил, держали фронт едва не в полтысячи верст, и не сплошные полтысячи верст, как то было на Западном фронте, а полтысячи верст, разделенные горными хребтами и бездорожьем, так что порой мы совсем не знали, где и что делает сосед. В боевых частях не было никакой паники. Не было в боевых частях страха, что противник нас обойдет, зайдет к нам во фланг или тыл. Противник был связан одним большим непрекращающимся боем. Ему не было передышки оглядеться. Фронт отходил, но как собака несет на хвосте репьи, так фронт наш цепко тащил противника около себя. Страх был только в тылу. Это было прискорбно. Наблюдение этого страха вселило в меня какую-то тревогу, будто назревало что-то новое и страшное. Я, грешным делом, вспомнил моего покойного подпоручика Кутырева из Горийского госпиталя, сказавшего о неком несоответствии положения гражданских слоев империи или что-то в этом роде.

Как и в Керманшахе, я видел уход наших тылов из Хамадана. Я стоял со своим авто, не в силах проехать хотя бы вершок расстояния. Все было запружено уходящим и теряющим в страхе порядок тыловым народом. На мою бедную голову, меня увидела всесущая графиня Софья Алексеевна Бобринская.

— Подполковник! Норин! — без преувеличения перекрывая весь гул Хамадана, вскричала она. — Норин! Стойте! Я — к вам!

И из всего ее “Я — к вам!” вышло, что ей хотелось постоять рядом и позлобствовать.

— Табор! Табор! — с презрением говорила она.

Во мне от ее слов рождалась неприязнь. Она рождалась не против трясущихся в страхе и рвущихся удрать наших тылов, а против самой графини и против еще кого-то.

“Без вас вижу!” — бухало у меня.

Бухала по городу турецкая артиллерия. К счастью, не сосредоточенно и не точно. Снаряды ложились случайно и на излете. Но они превращали панику в безумие. При каждом самом далеком разрыве безумие увеличивалось. Всем казалось, что следующий снаряд попадет именно в них. Врачи и медсестры стали

оставлять госпитали и раненых. Солдаты, видя, как оставляют их товарищей, в том же безумии и вопреки командирам стали бросать с себя патронташи и иное, на их расклад, лишнее солдатское имущество. Кто-то, под предлогом не оставить неприятелю, стал имущество жечь. Загорелись в городе постройки. К жару с небес прибавился жар пожаров. Стали рваться брошенные патроны. Пули их засвистели во все стороны сильнее, чем осколки неприятельских фугасов. Полетели щепы и клочья от разбитых на базаре и на улочках лавок.

— Вам не следовало бы все это видеть, подполковник! Вам следовало бы ехать не через город, а прямой дорогой. Вам нужны свежие нервы. Чтобы это остановить, вам нужны свежие нервы! — сказала графиня.

— Я только что видел врачей в этом копошащемся месиве, или, как вы его назвали, таборе! Они кучкой продирались вырваться из города! Разве был приказ оставить раненых? — спросил я.

— Что же вы их не застрелили? — вскричала графиня.

Я должен был вернуться в штаб корпуса. То есть я тоже должен был стать частью этого месива. В мирное время бегущий полковник вызывает недоумение, в военное — панику, — гласила армейская поговорка. Я стоял и смотрел, будто принимал весь этот парад. Откуда-то пробился к нам земец, то есть представитель Союза земств и городов, ведающий здесь организацией и работой госпиталей, Емельянов.

— Подполковник, графиня Софья Алексеевна! — удивился он.

Я молча ему козырнул.

— Это что-то непостижимое! — показал он на месиво.

— Табор! — снова в презрении сказала графиня и напустилась на Емельянова: — Только что узнала, что ваши бросили раненых и побежали вон!

— Мои? — спросил Емельянов и отмахнул рукой. — Нет, ваше сиятельство! Я только что навел порядок. Понимаете, подполковник! — обратился он ко мне. — Лучшие мои работники, знающие фронт и боевые условия, выбыли. Сейчас у меня такие, которых вы, военные, называете шпаками, фертиками и прочее, то есть пока не обстрелянные. Они растерялись. Но я навел порядок. Госпиталь принимает раненых и больных с фронта, снаряжает и отправляет их в тыл. Превосходно работает вьючный транспорт доктора Волкова. Он вывозит из самых невозможных мест. Он уйдет из города вместе с последним раненым! А вам, — снова он обратился ко мне, — вам к фронту или с фронта?

— К сожалению, с фронта, — сказал я.

— Так мы сейчас тоже выезжаем в Акбулах организовать прием госпиталя. Присоединяйтесь к нам. Вместе легче будет пробиться! — предложил он.

В Акбулахе я нашел Николая Николаевича Баратова, съежившегося и почерневшего от переживания. Капитан Иван Самсонович Каргалетели не счел возможным в такие дни лежать в лазарете и, шатающийся, зеленый — вылитый стебель на ветру, — вырвался в штаб. После моего доклада он не стерпел и

буквально выдохнул:

— Вы знаете, Борис Алексеевич, что я застал здесь? Вы счастливый человек! Вам выпало быть в рейде и выводить потом свою часть. Вы были в действии. А я был здесь. И теперь пошли шипеть, что во всей неудаче рейда виноват только я. Уже дали мне прозвище “злого гения Баратова”. При Николае Францевиче, видите ли, мы взяли Керманшах. А при мне… А весь рейд уже обозвали Багдадской авантюрой. Мне что же, застрелиться?!

Я попытался его успокоить.

— Этак же было в четырнадцатом году на Сарыкамыше. Там тоже остались на весь штаб два нормально работающих офицера. А потом вы же знаете, Иван Самсонович, что я не закрыл мешок, который создал неприятелю на Диале Николай Николаевич. Я тоже виноват, если уж вы виноваты! — сказал я.

— Вот и вы считаете меня виноватым! — сморщился капитан Каргалетели.

— Да нет же! — увидел я свою ошибку. — Нет. Я сказал “если”, ну, сами знаете, это всего лишь наша языковая традиция. Вы не виноваты. Весь наш фронт это знает. Я же был на фронте. Все тогда и сейчас говорят про какаву, то есть про британцев, про этого гуся Таунсенда!

— Счастливчик! Он был на фронте! — сказал как-то в сторону, как некую мечту, капитан Каргалетели. — Счастливчик вы, Борис Алексеевич! Спасибо вам за ваше участие ко мне. Хотя, право, одно желание — застрелиться!

— А что у других? — спросил я про другие участки фронта.

— На вчерашний день было так. Да, собственно, вы явно все знаете. Правый фланг, как всегда, держит Курдистанский отряд графа Федора Максимилиановича Нирода. Вы, кстати, слышали, что у него сын погиб? — Я кивнул. — Отряд занимает позиции Кергабад — Сене. Далее идет князь Белосельский. Это Ассад-Абадские позиции. Вы только что оттуда. А еще левее, в районе Буруджира и далее, — Эрнст Фердинандович Раддац с вашей родной казачьей дивизией и партизаны Бичерахова.

— То есть без изменений! — сказал я.

— Слава Богу, без изменений. Но ведь придется все равно отходить, — сказал капитан Каргалетели.

Что придется оставить и Ассад-Абадский перевал, и Акбулах, сказал за коротким обедом и Николай Николаевич.

— Вот, — черкнул он по столу воображаемую линию. — Исхан-паша упорно бьет нас по центру, по Ассад-Абаду. Вы, — взглянул он на меня, — вы это знаете лучше нас. Он явно предполагает прорвать нас и отрезать нам фланги. Вот ваш, — он опять взглянул на меня, но взглянул с обычной искрой веселого лукавства, — ваш друг Василий Данилович Гамалий дерется против кавалерийской бригады и четырех батальонов пехоты с артиллерией… Да нет, не тревожьтесь! — увидел он мою тревогу. — Не он один со своей Георгиевской сотней там, конечно. Нет. Там, как вы знаете, наша с вами родная, но, к сожалению, в одну треть состава дивизия.

То есть и на флангах противник превосходит нас, не дает нам взять хоть что-то с флангов. Но он явно стремится прорвать центр. И ах как нам нужны сейчас свежие силы, особенно пехота! Мы бы сего Исхан-пашу связали пехотой в центре и обошли с флангов. Ведь сколько прошу Тифлис! Нет, не пришлют ни штыка!

— Как же, ваше сиятельство! Шлют, и во множестве! — возразил я.

— Ах да, да, виноват! — понял меня Николай Николаевич.

Суть моего возражения опять уходила к Тифлису, к фронтовому интендантству, вдруг весной нынешнего года приславшему в наш конный корпус пехотные штыки — не пехотные подразделения с определенным количеством солдат, по-военному именуемых штыками, а самые настоящие штыки к пехотным винтовкам.

— А что! — явно при этом сказало интендантство. — Вот когда есть, так мы вам с нашим удовольствием!

Это удовольствие обернулось нам заботой: куда ненужные нам штыки девать. Придумали было крепить их к ножнам шашек специально создаваемыми креплениями. И благо, что недолго носили дополнительную тяжесть наши люди, — мало-помалу сдали их на склады.

— Да, — неожиданно широко перекрестился Николай Николаевич. — Слава Богу, господа. Из Хамадана вывезли всех раненых. Эх, господа! Какое счастье быть молодым и командовать эскадроном, сотней, батареей! И каково быть в моих летах и командовать фронтом и отвечать за вас, за империю, за эту несчастную страну Персию! Постарайтесь не стареть, господа!

К штабу, зная, что здесь Баратов, как сопливые дети к материнской юбке, все более прижимались отходящие уже не тылы, а боевые части. Ни у кого не оставалось сил. Арьергарды держали неприятеля всего верстах в пяти от штаба. Местами он прорывался совсем близко. Казаки и драгуны с остервенением толкали его назад. Штабу надо было уходить. Но в Акбулахе скопилось несколько сот раненых и больных. Их надо было вывезти. Мы собирали все, что могло нести или везти. Мы затребовали весь транспорт всего нашего тыла от Энзели и Казвина. Уже в крике неприятельской кавалерии, обходящей нас, прибыли грузовики. Уже казаки и драгуны держали коридор лишь в полуверсту шириной. Один за другим грузовики с ранеными мчались по этому коридору. С ними отправился штаб. А Николай Николаевич стоял около последних грузовиков и ждал, когда погрузят последнего раненого.

— Братец, ты какой станицы? — спрашивал он едва не каждого и благодарил за службу.

Спросил и последнего.

— Так что, ваше сиятельство, станицы Самашкинской Терского казачьего войска! — постарался молодцевато ответить раненый казак.

— И я — Самашкинской! Земляки мы с тобой! А кто же ты по батюшке? — воскликнул Николай Николаевич, хотя происходил из станицы Владикавказской.

— Так что, ваше превосходительство, отец мой Мельников Иван Ульянов! —

ответил казак.

— Жив? — спросил Николай Николаевич.

— Так точно, ваше превосходительство! — лежа приложился к папахе казак.

— Поклон ему и благодарность за твою службу, казак Мельников! — пожал руку казаку Николай Николаевич.

— Рады стараться! — вскричал казак.

Я подобные сцены разговора нашего командующего с казаками наблюдал не раз. И бывало, происходил наш командующий из станицы Сунженской, станицы Ермоловской, станицы Новоосетинской, станицы Щедринской, станицы Карабулакской. И казаки ему свято верили, свято считали его земляком и писали о том домой. О нем складывались легенды. Он их не развенчивал. Одна из таких легенд гласила следующее.

Предок Николая Николаевича, грузинский князь, неосторожно убил своего брата и был вынужден покинуть Грузию, перешел на Терек, записался в войско. Его потомок и отец Николая Николаевича, будучи уже совершенно обрусевшим, дослужился до чина сотника, женился на осетинке, был атаманом станицы Галагаевской, но умер очень рано. Беременная его жена повезла гроб с телом мужа хоронить в станицу Моздокскую, но по дороге в станице Магомет-Юртовской родила мальчика, нареченного при крещении Николаем. “Прямо у гроба родила, бедная!” — любили уточнить казаки при рассказе этой легенды.

Так это было или не так, но послужной список генерал-лейтенанта Николая Николаевича Баратова вкратце выглядит следующим образом.

Он, потомок грузинских князей, родился первого февраля тысяча восемьсот шестьдесят пятого года в станице Владикавказской, происходит из дворян Терского казачьего войска. Образование он получил во Владикавказском реальном, Втором Константиновском и Николаевском инженерном училищах, затем Николаевской Академии генерального штаба. Выпущен в Первый Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова полк Терского казачьего войска, нес службу обер-офицером для поручений при командующем Кавказским военным округом, для ценза командовал эскадроном драгунского Северского полка, тогда имеющего номер сорок пять, а не восемнадцать, как нынче. В марте 1901 года назначен в командование своим родным Сунженско-Владикавказским полком, с которым участвовал в русско-японской войне, был награжден Золотым, ныне Георгиевским, оружием. С ноября 1912 года он начальник Первой Кавказской казачьей дивизии, с которой вступил в нашу великую войну, отличился, как я уже не раз говорил, под Сарыкамышем, затем под Агридагом, был представлен к ордену Святого Георгия четвертой степени, но не получил его до сего времени. В октябре пятнадцатого года он назначен для выполнения исключительно важной задачи командующим нашим Экспедиционным корпусом, тридцатого октября того же пятнадцатого года введенного в Персию.

— С Богом! — перекрестил Николай Николаевич последнего раненого.

Прилетел офицер для поручений командира Северского полка штабс-ротмистр Ваня Бежанов и едва не упал вместе с конем, кое-как вывернул деревянную от

усталости ногу из стремени, подал Николаю Николаевичу записку: здесь ли командующий, сколько еще держаться?

— Вот, ротмистр! — показал на поехавший в коридор грузовик Николай Николаевич. — Это последний. Сейчас поеду и я. По полшага можно отходить! — И написал быструю записку с приказом, обнял Ваню: — С Богом, ротмистр!

Едва он повернулся к своему ординарцу хорунжему Гуцунаеву что-то сказать, осадил коня порученец хоперцев с тем же вопросом: здесь ли, сколько держать.

Все знали — он никого не оставит. Это давало силы. Наконец он махнул хорунжему Гуцунаеву в сторону своего авто, оглядел уже без бинокля округу, будто простился. Показал на наш авто и нас с капитаном Каргалетели. Махнул конвою: на коня!

— В Маньян! — коротко скомандовал и сел на заднее сиденье.

Наши легкие авто тащились за нагруженными грузовиками, пока не стало ясно, что вся колонна вырвалась из коридора. Попятился арьергард из Акбулаха, постепенно смыкаясь с держащими фланги в его тылу подразделениями в единый кулак. Этому кулаку предстояло держать фронт дальше. Нам предстояла наша работа. Мы стали постепенно по обочине обгонять колонну. Вдруг из обгоняемых нами грузовиков понеслось “ура!”

— Радуются? — спросил капитан Каргалетели.

— Благодарят Николая Николаевича! — догадался я.

Мы по обочине обгоняли грузовик за грузовиком, а из каждого кузова приподнимались кто мог и кричали “ура!”. Николай Николаевич встал в авто, повернулся к грузовикам, приложил кисть руки к белой своей папахе. Встали и мы с капитаном Каргалетели.

Это были минуты нашего общего торжества, минуты величия нашего Отечества Российской империи и Российской армии. Мы в эти минуты не помнили, что были раздеты, разуты, безоружны и голодны.

Фронт встал по перевалу Султан-Булаг. Ни у нас, ни тем более у турок уже не было сил. Пришло боевое затишье. И оказалось, что мусульманский мир пребывал в страстях и в трауре — шел девятый месяц их календаря рамазан, месяц поста.

И хотя продолжались бои, и довольно серьезные, мы стали в какой-то степени целые полгода походить на западный позиционный фронт. Пришли наконец пехотные части, прибавилось артиллерии и казачьих частей. Прибавилось боезапаса, провианта, фуража. Мы отмылись, отчистились, починились, отоспались, заблестели глазами, заскалились в улыбках.

В один из вечеров начала августа у меня в палатке появилась Валерия.

— Нам надо поговорить, — сказала она.

— Да, пожалуй, надо, — согласился я.

— Я вас люблю, и вы это знаете! Я с вас взамен ничего не требую, и вы тоже это знаете! — начала она говорить.

Уже по риторике фразы я понял — она к разговору готовилась. Ни убеждать, ни спорить, ни тем более таких вот подготовленных кем-то разговоров, как я уже упоминал, я не любил. Я невольно напрягся.

— Но я бы могла поступить совсем иначе. Я бы могла поступить, как обычно в таких случаях поступают все другие женщины, — стала говорить Валерия. — Они обычно объявляют, что вы воспользовались ее чувством, что вы ее скомпрометировали и вы обязаны на ней жениться. Я уверена, на моем месте так поступила бы каждая женщина. Но я так не поступаю, и только потому так не поступаю, что я люблю вас.

“Кажется, уже так поступаете!” — сказал я про себя.

— Я только хочу предупредить вас о том, что вы можете попасть в дурное положение, потерять репутацию честного человека и офицера, навредить себе в карьере. Ведь только стоило мне хотя бы намекнуть графинечке, а тем более самой графине о наших отношениях, как вас бы принудили на мне жениться. Вы бы отказались. Я это знаю. И ваша карьера на том бы закончилась. На моем месте именно так бы поступили другие. Я же вас не преследую. Я только вас люблю.

Теперь я уже явно увидел — именно этого — выйти за меня замуж — хотела она. Я помимо воли представил это. Потом так же помимо воли я представил, что будет, если я откажусь, а Валерия свои слова, якобы отнесенные к другим женщинам, исполнит. “Какая-нибудь Кашгарка, какой-нибудь Урянхайский край, какое-нибудь место в управлении уездного воинского начальника — не более!” — увидел я свою карьеру и нашел ее превосходно привлекательней против женитьбы на Валерии.

— Я благодарю вас за ваше чувство ко мне, — сам того не желая, холодно сказал я.

— За это не благодарят! — резко сказала она. — На это отвечают чувством же. Но мне, видно, не суждено. Что ж, — она потупилась взглядом. — Что ж, я принимаю это. Но вы! — она перевела взгляд на огонь лампы. — Но вы и дальше будет иметь связи с женщинами. И я бы не хотела, чтобы вы от этих связей потеряли в карьере!

“А ведь она меня не любит! И хорошо, что не любит!” — как-то странно возликовал я. Мне стало спокойно.

— Ваше право, Валерия, исполнить все, что в вашем мнении должны были бы исполнить другие женщины! — сказал я.

Она заплакала. Я опять увидел — она заплакала артистически, в явном ожидании моего утешения. Но я молча сидел. Не дождавшись, она некоторое время молчала. Мне надо было закончить с бумагами. Я невольно потянулся к одной из них. Она увидела.

— Что ж, — сказала она, встала, хотела пойти ко мне, но остановилась, хотела пойти из палатки, но тоже остановилась. — А какая были бы мы с вами пара! — вдруг сказала она. — Я вхожа к графинечке. Вы бы были переведены на службу в Петербург!

“Кашгарка, Урянхай, место в управлении уездного воинского начальника!” — просемафорило во мне.

Она пождала ответа, пождала, не подойду ли я к ней, снова сказала: “Что ж!” — и пошла из палатки. “Сейчас обернется и что-то скажет, в ее мнении, достойное заключения этой сцены!” — подумал я и не ошибся. Она обернулась.

— А ваша Маша… которая… вы знаете, о чем я… Маша Чехова, со стихами… она умерла. Она поехала вместе со старой графиней в Энзели, где-то напилась из колодца и в два дня скончалась.

Пока сердце у меня пустело и потом вновь наливалось, я успел подумать, что я всем, кто мне дорог, несу смерть.

Глава 12

Утром, кажется, девятнадцатого декабря ко мне вошел адъютант Николая Николаевича поручик Аннибал и просил быть у Николая Николаевича через десять минут. Я согласно кивнул и вновь занялся делами. Я работал над наставлением для молодых орудийных номеров, выпускаемых из учебных батарей и дивизионов такими неучами, что порой я на проверке их знаний просто вставал в тупик. Я не говорю о простых канонирах, то есть рядовых. Но и специалисты были подготовлены из рук вон плохо. Разведчики-ординарцы и наблюдатели, например, едва знали карту, не говоря о признаках огня или простейших перспективных чертежах. Сигнальщики путались в азбуке сигналов. Я спрашивал младшего фейерверкера, орудийного начальника, что такое “доворот на себя”. Он столько же таращился на меня, как и баран на новые ворота.

— Что же вы, олухи? Совсем не учили ничего! — сердился я.

— Так что, ваше высокоблагородие, были только строевая да работы по ружпарку! — отвечали они.

— Что, и орудия, поди, не видали? — спрашивал я.

— Орудие видали, ваше высокоблагородие. Стрелять не доводилось! — отвечали они.

Я спрашивал младшего офицера составить взводу целеуказание по транспортиру графически. Спрашивал, знает ли он веер направления стрельбы при закрытой позиции. Я спрашивал, а он, умный, честный, чистый и рвущийся воевать юноша, кротко и со стыдом смотрел на меня, кое-как восстанавливал в памяти какие-то крохи и более был готов ответить сакраментальное “Ich kann nicht bestimt sagen!”, то есть “Не могу точно сказать!”, за которое Александр Васильевич Суворов не ленился и палкой попотчевать. А ведь в наше время учебы это составляло основу едва ли не целой науки.

Столько низким было качество обучения в тылу.

Вот я с отчаяния и решился в относительно затишное зимнее время организовать школу не школу, команду не команду, а хотя бы доступное наставление с раскладом всех этих простых, но недоступных нынешним господам артиллеристам премудростей. Работой я увлекся и дождался напоминания быть у командующего.

Я побежал и в дверях столкнулся с подполковником Казаровым.

— Поспешаете? — спросил он.

Я пожал плечами, мол, экая невидаль.

— А причину знаете? — снова спросил он.

— Кут-Эль-Амарку вызволять во второй раз! — сказал я.

— Никак нет, Борис! Хуже! — он оглянулся. — Хуже! Гришку Отрепьева, тьфу, Распутина в проруби утопили! — как-то ненатурально радостно вскричал Казаров.

— Господа! — сказал наш Николай Николаевич. — Господа, известие из Петрограда. Прошу принять его как должное. В Петрограде убит известный вам Григорий Распутин! Армия, господа, мы с вами, господа, здесь ни при чем! Никакой жерминаль, прериаль, я уж не знаю, как там во Французской революции что-то называлось, нас не касается! Никаких разночтений! Никаких подсмыслов! Убит некто Распутин! Нас это не касается! Я строго буду наказывать тех, кто вдруг начнет что-то в этом отношении думать!

Я поглядел на подполковника Казарова, а потом поглядел на Колю Корсуна. Он поджал губы, тем показывая правду слов Николая Николаевича.

На севере нашей империи есть мыс с названием Русский Заворот. Этот мыс очертаниями походил на кулак с пальцем, показывающим куда-то назад. Он-то и предстал мне. Более ничего ни от слов Казарова, ни от слов Николая Николаевича я не испытал.

— Есть сведения, господа, что в этом прискорбном деле замешаны великий князь Дмитрий Владимирович и князь Юсупов, возможно, еще кто-то! — сказал Николай Николаевич.

— Ну, и слава Богу! — вдруг сказал начальник штаба корпуса, бывший командир уманцев Михаил Георгиевич Фисенко.

— Что вы имеете в виду, Михаил Георгиевич? — спросил Николай Николаевич.

— Да, собственно, христианская душа. А у меня так вырвалось! — смутился Михаил Георгиевич.

— Я еще раз напоминаю, господа, как бы кто ни относился к этой персоне, как бы кто что ни слышал о ней, как бы кто ни имел своего мнения о ней, наша общая задача — никоим образом не возводить это событие в какой-то ранг. Наша задача — повседневно, как и прежде, исполнять свои обязанности, свой долг! — вновь стал говорить Николай Николаевич.

И уже сами слова его говорили — что-то должно в нашем государстве произойти, что-то произойти такое, что ответит названию “Русский Заворот”.

— Я буду вас информировать, господа, обо всем, что буду знать касательно этого дела! — сказал Николай Николаевич.

“А что может быть, чтобы нас об этом информировать? — не веря своему мысу Русский Заворот, подумал я. — Великое дело — убрали от двора нежелательную личность, пусть даже таким нежелательным образом! Но революционеры убили великого князя Сергея, убили премьер-министра Столыпина — последующих событий не было! А тут — нате! — должны быть события!”

После совещания все поспешили высказаться. Я в своем мнении, что это меня не касается, совпал только с Колей Корсуном. А все сказали то же, что и начальник штаба Михаил Георгиевич Фисенко, то есть сказали-де, слава Богу, и это надо было сделать давно.

— А какая наглость, господа! Он ведь даже пытался лезть в военные дела! А знаете, что ответил на сообщение об его желании явиться в ставку великий князь

Николай Николаевич? Он ответил: “Пусть прибывает! Тотчас же и будет повешен!” Вот так он ответил, господа! — сказал подполковник Казаров.

— Вот так и надо было сразу! — подхватили его другие.

— А все-таки нехорошо, что великого князя Николая Николаевича убрали с поста верховного! — сказал капитан Дорошенко.

— Ну, не скажите! — возразил кто-то.

И вдруг все разделились на две партии.

— Вы посмотрите, как мы воевали в пятнадцатом году! У нас ничего не было. Нас били! А как мы воюем теперь! Нас, ну, не нас, а Западный фронт теперь всем снабжают! А почему? А потому что военная власть перешла к государю-императору! — стала говорить одна партия.

— Увы, увы! — стала возражать вторая. — Все не так просто! Куда бы было с добром, если бы было все так! В пятнадцатом году не было производства! А сейчас вступили в силу те мероприятия, которые были проведены в четырнадцатом и пятнадцатом годах и наладили производство!

— Но если даже и так, кто организовал все эти мероприятия, которые и наладили наше производство? — не согласилась первая партия.

— Так ведь на то и государь-император, чтобы распорядиться! Но мы-то говорим о военном руководстве! А в военном руководстве великий князь Николай Николаевич был уже тем хорош, что был ярым противником Германии! А это, знаете, много стоит. Про дух армии, про общий настрой и в уставах написано. Это еще великий Драгомиров отстаивал! — сказала вторая партия.

— Так вы только что сказали о налажении производства, то есть о машинах. А теперь говорите о духе! Как это совместить, господа! Вы уж определитесь! — кинулась торжествовать первая партия.

Мы с Колей Корсуном отошли в сторону.

— Вот тебе, Борис, уже и возвели событие в ранг! Вот тебе и у нас Государственная Дума! — сказал Коля Корсун.

Мы пошли в мой кабинет.

— Мы узнали про все это только сегодня, — сказал Коля Корсун. — А мой гусь, — он имел в виду своего майора Робертса, — мой гусь знал об этом уже семнадцатого числа. Я сейчас могу об этом сказать точно. До этого я только чувствовал, что он что-то знает, что получено какое-то известие от его ведомства.

Мы выпили чаю.

— Это у тебя что? — спросил он, показав на мой рабочий стол.

— Поучение Владимира Мономаха детям! — сказал я.

— Нет, вот это! — взял он засургученный пакет со стола.

— А! — удивился я. — Почта! Без меня принесли!

— Из Тифлиса! — прочел он адрес.

— Значит, ничего хорошего, — сказал я.

— А с Валерией? — спросил он.

— Никак. И никогда не было как, — не понравился мне его вопрос.

— Понял, — сказал он. — А ведь она тебя…

— Давно и никогда никак! — снова сказал я.

— Понял! — снова сказал он.

— А рейда к британцам твой гусь не объявлял? — спросил я.

— В любой день может объявить! — сказал он.

Еще в августе командовать всеми британскими войсками в Месопотамии был назначен генерал Фредерик Стенли Мод. Девятого декабря он начал наступление на Багдад и Кут-Эль-Амар. При известии об этом мы поняли, что слезную просьбу помочь нашим наступлением, облаченную в красочное описание обоюдной выгоды такого предприятия, надо ждать с часу на час. Он против двадцати тысяч турок имел более пятидесяти тысяч с во столько же раз большей артиллерией, с мониторами на реке Тигр, с аэропланами. Мы могли бы выделить ему на помощь не более двух-трех конных полков с артиллерийской батареей. Но мы ждали, что запросит.

— В любой день, господит подполковник! — сказал Коля Корсун и пошел к себе.

От дверей он вдруг вернулся.

— Вот убрали этого Гришку. Держался он при императоре и императрице тем, говорили, что заговаривал цесаревичу гемофилию. А что, Борис, скажи, когда сватали Александру за государя-императора, что, не знали об этой гемофилии в их роду?

Я смолчал. Я хотел сказать, что не могло такого быть, чтобы не знали. Но тогда выходило, что сватали не по своей воле. Тогда выходило самое невыносимое. Выходило, что — и далее я не мог даже представить, что именно выходило. И я смолчал.

В пакете из Тифлиса был мой расчет потребного количества боезапаса, инструмента, ремонтных деталей, приборов и прочего для артиллерии корпуса на предстоящий семнадцатый год. Расчет был признан расточительным. Какой-то странный для Тифлиса трудолюбивый штабс, возможно, юный выпускник, еще полный сил и надежд на беспорочную службу и подвиг там, в тылу, сообщал мне, что запрашиваемого мной поставить не представляется возможным. При этом он сделал замечательный свой расчет того, в какую стоимость обошлась бы армии доставка запрашиваемого. Им были учтены расходы доставки железной дорогой, морем, гужевым и автомобильным транспортом, расходы на такелаж, на оплату рабочей силы и так далее. И мне стало хорошо от того уже, что он не догадался по юной своей малоопытности включить в эти расходы еще и расходы на производство всего, что оказалось бы связанным с моим расчетом. А вполне он мог бы включить

сюда стоимость работ по изысканию железной и медной руд, по изысканию олова, свинца, по выращиванию хлопка для производства пороха, стоимость строительства порохового завода, стоимость угля и мазута для выплавки стали и производства электричества, стоимость выращивания скота вместе с перегонкой его на бойни и затем выделкой шкур для шорных изделий, стоимость работы бумажных фабрик по изготовлению бумаги для конвертов и стоимость сапог почтальона, стоимость подков и подковочных гвоздей. Если бы он все это учел, было бы впору меня судить как государственного преступника.

Порадовался я сему обстоятельству да и взялся за свои колонки и таблицы, где и что я мог бы изменить там в сторону уменьшения. Но нигде и ничего уменьшить было невозможно. И без того запрашиваемого было лишь в половину необходимого. Я посидел просто так и взялся снова, начисто, переписывать своей расчет с тем, чтобы отправить его в Тифлис в прежнем объеме цифр. Свое государственное преступление для самого себя я оправдал тем, что все равно вместо потребного количества нам придет столько, сколько придет.

Утренняя новость не уходила. Ее обсуждали за обедом. Мы с Колей Корсуном сели за стол вдвоем. Потом мы опять ушли ко мне и, возбужденные общим возбуждением, тоже вернулись к новости.

— Что-то за этим последует. Ты как думаешь, Борис? — спросил он.

Мне не хотелось ничего за этим последующего. Я молча пожал плечами.

— Ты можешь себе представить, Борис, что, например, какому-то из прежних государей пришла бы вот такая записка! — он вынул из кармана листок и протянул мне. — Это пришло моему гусю! Он дал перевести мне. Почему — мне, а не своим шифровальщикам? Думаю, что намеренно. Они же вша, — именно так, в мужском роде, сказал он, — они же вша на лобке не потревожат без умысла!

Записка датировалась семнадцатым числом декабря. И якобы она пришла в Царское Село из Нижнего Новгорода. Я прочел. “Самодержцу, кровопийце, царю-хулигану, извергу народному, царишке. Мерзавец ты, паршивый царишка. Гибель будет тебе, кровопийце, виновнику всемирного пожара войны, гибель тебе и твоему семейству. Твое государство будет разрушено, покроено, уничтожено. А ты со своим иродовым семейством будешь растерзан твоим же страждущим народом”, — прочел я.

— Вот так, друг мой, — сказал Коля Корсун.

Я ничего не мог сказать.

— Написана семнадцатого. А его убили накануне, шестнадцатого. Записку надо было доставить в Царское Село. Одним днем не обойдешься. Сегодня девятнадцатое. А мой гусь ее уже получил из своего ведомства. Может быть, совсем не из Нижнего Новгорода она, а, Борис? — сказал Коля Корсун.

Я ничего не мог сказать.

Потом я все сказал сотнику Томлину.

— А у тебя дом есть, Лексеич? — спросил сотник Томлин.

— Какой дом? — не понял я.

— Ну, дом. Живут где. Куда тебе поехать, есть? — спросил он.

— Нет дома! — сказал я.

— А какого же тогда ты, подполковник, телешишься с Валерией! Кудысь ты, подполковник, опосле войны похрюкаешь? У меня в Бутаковке такой загородки нету-ка! А у ей, у Валерии, папаня заводиком обзавелся! У ей фатера и в Самаре, и в Питере! Папаня ей купил! Выбирай, егорийский ерой! — сказал сотник Томлин.

— А мне не надо-ка! — оскорбился я.

— Ну, и уросливый же ваш род Нориных! — сказал сотник Томлин.

И будто накликал сотник Томлин — приехала с августа не появлявшаяся у меня Валерия. Ничего из того, что мог я ждать от нее, она не говорила. Она только с ужасом смотрела на меня. Наверно, она от своей графинечки знала что-то такое, чего нам, воякам, серой скотинке армейским офицерам, знать было не положено. Ее распирало желание что-то сказать.

— Вы, наверно, слышали, — наконец стала говорить она. — Это невозможно. Я так боюсь. Что-то теперь случится. Вы понимаете, про что я. Я говорю про это убийство. В Петрограде говорят, что монархия гибнет. Вместе с ней гибнет Россия. Вы знаете, в синематографах в Петрограде запретили давать синема, где показывалось, как государь возлагает на себя Георгиевский крест. Потому что, как только начинается, из темного зала сразу голос: “Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием!”

— И что же? — спросил я.

— Нет. Я совсем о другом. Графинечка говорит о том, что в Петроградском гарнизоне скопились все маменькины сынки. Они уклоняются от фронта. И что там у них уже всюду — революционная пропаганда. Это что такое, революционная пропаганда, Борис Алексеевич? Это против монархии? Это за бунт? Неужели мы все погибнем?

Я видел, что она хотела сказать самое главное, из-за чего, собственно, приехала. Она явно хотела сказать о женитьбе и об отъезде после свадьбы с фронта или даже из России.

— Ничего подобного не произойдет, — сказал я о революционной пропаганде и о революции.

Она уехала, не сказав того, зачем приезжала.

А потом дела заставили нас о петроградском событии забыть. Особо не всколыхнул даже сосланный к нам государем-императором великий князь Дмитрий Павлович, убийца. Он остался жить у нас. Он нам показался, то есть он нам проимпонировал. Мы говорили:

— Ну, вот! Слава Богу!

За этими словами мы видели нашу империю. Я в империи еще видел этот поганый мыс Русский Заворот с обратным пальцем. Но я видел, что, пока мы на

фронте и вместе, ничего из революционной пропаганды не выйдет.

А британцы запросили помощи, убеждая в возможности выхода при совместном ударе в глубокий тыл всему турецкому фронту перед нашим Кавказским фронтом.

Мы взяли под козырек. В рейд я был назначен представителем от корпуса и одновременно куратором сводной батареи, которой командовал терец есаул Сергей Карпович Кусакин. С боями мы вернули Хамадан, сбили противника с занесенного на три аршина снегом Ассад-Абадского перевала и двадцать третьего февраля, в солнечный и морозный день, вышли на Бехистун.

Далее до Каср-и-Ширина были снова бои, особенно тяжелые — в Миантагском ущелье. Этими боями и рейдом на достопамятные брега Диал-Су турки были окончательно сломлены.

И далее мы стали едва поспевать за уносящимся от нас противником и более имели стычек с курдами, нежели с регулярными турецкими частями. Впереди нас по-прежнему был Девятый сибирский казачий полк, уступом вправо и позади шел Грузинский конный. Где-то шли кубанцы Первого Кубанского, уманцы Первого Уманского и другие полки нашей Первой Кавказской казачьей дивизии. И говорили, что где-то поспевал Восемнадцатый драгунский Северский. Мы вырвались на Месопотамскую равнину и покатились по ней беспрепятственно.

Глава 13

Горы, оставленные за спиной и по левую руку, лишь изредка и на краткий миг гладили нас одиночным и отважно прорвавшимся прохладным ветерком.

Латунным с прозеленью тазом, какой у нас долго лежал без надобности в чулане и в котором якобы когда-то матушка варила ягоды, навалилось на нас раскаленное небо, замкнуло в кургузую глинистую степь. Взбитая сибирцами глина дыбилась, вставала над нами тяжелой горячей кошмой. Ворс ее лез всюду и мешал дышать. Он пробивался сквозь одежду к мокрому и горячему телу, нестерпимо раздражал и постоянно вызывал желание раздеться.

На каждый порыв горного ветерка глина без промедления закручивалась в крутой юр, со свистом ругалась, опрокидывала ветерок навзничь и потом долго топтала его, долго бегала повдоль батарейной колонны.

Все походило на рейд прошлого года. Отличием был только наш дух. Мы не отступали. Мы рвались на Багдад. Мы были в ожидании чего-то хорошего — может быть, даже окончания войны.

Солнце вдавливало нас в отнимающий силы дурной сон. Ездовые, чтобы противиться ему, шли рядом с уносами. Все шли молча, лишь глухо и с вывертом кашляли, коричнево, будто шоколадом, плевали, утирали шоколадные слезы с опухших и одубевших от соли глаз, выковыривали глину из конских ноздрей, смахивали ее с их морд. Конские слезы точили по скулам быстро засыхающие борозды, отчего морды их превращались в подобие рельефной карты Месопотамии с ее двумя реками Тигром и Евфратом.

Я каждый час менял головной взвод, тем хоть сколько-то давая возможности вновь заступавшему в голову взводу отдышаться. Но батарею я не останавливал и стремился поспеть за казачьим полком.

Сам я шел в середине батареи. Постоянно подле был сотник Томлин. Нагулявшись за прошлое лето, он будто соскучился по мне, присмирел, но ничуть не вспоминал всего, что он сделал. Это вполне меня устраивало. Мы ехали в самой середине батарейной колонны. Лишь изредка, когда становилось совсем невмоготу и во избежание падения кого-нибудь нас из седел, я давал выйти из колонны в степь. Но в голову колонны, как следовало бы по уставу, я не шел, показывая батарее, что я равно с ними переношу тяжесть марша.

Этим же способом глотнуть воздуха, пусть и раскаленного, тяжелого, но не с густой глиной, постоянно пользовались и все батарейцы. По одному, по два, по три человека по обе стороны колонны выходили они, будто из бани, в придорожную степь, широко, по-рыбьи, хватали воздух, перегибались в затяжном кашле, плевались, отряхивались и ждали взводную бочку с водой.

— Не пииить! Отодь от бочки! Не пииить! Вода в ноги дает! — хрипло и пронзительно буравил вздыбленную над колонной глину Касьян Романыч.

— Дык, Касьян Романыч!… — пытались сквозь глину пробиться к вахмистру

батарейцы.

— Отодь от бочки, говорю! — злился вахмистр.

— Глотки скоробились, трещинами изошли! — просились к бочке батарейцы.

— Шоды захотели? — грозил плетью Касьян Романыч.

— Больно правильный… Даст Бог с этой Месататанки домой вернуться… маджарки надерусь… шодой-то и отшодую! — огрызался кто-нибудь из батарейцев и зло, но терпеливо занимал свое место в колонне.

С утра и до полудня сотник Томлин молчал. С полудня вдруг встряхнулся.

— Штыбыть язвило е в душу, в какую страну забрели — хуже Каракорумки! — встряхнулся и заругался он, пождал моего ответа, не дождался и ответил сам: — Хуже. Там хоть такая же глина стояла, но в мороз. И можно было смело дерябнуть в прочищение пасти. А тут… Тут толку нет у этой Месопотамки зиму, как положено, соблюсти!

Слов он не завершил. От попавшей в нос и горло глины он громко и в бессилии, в содрогании всего тела зачихал и раз, и два, и три, и несколько раз подряд зачихал так, что конь его вспрядал ушами и встанцевал.

— Да блиндер на кукуй эту Багдадку… пока приедем… как чихнешь… так штаны спадают… — сквозь чиханье успевал говорить сотник.

Я достал часы. Было время сменить головной взвод. Я взял повод вправо, выехал из колонны и дал команду. Головной взвод стал отваливать в сторону. На его место из глиняного пласта в счастливой спешке вывалились попарно впряженные в унос лошади с ожившими ездовыми. Загремел передок, замотало стволом на колдобинах орудие, загалдели, бодря коней и себя, батарейцы выходящего в голову взвода. Следом вывалился второй унос, второй передок, замотало на той же колдобине стволом второе орудие. Вся колонна оживилась, пошла на рысях. Ко мне побежал счастливый командир выходящего в голову второго взвода сотник Долгушов, издалека переходя на строевой шаг, и к негритянской от глины и блещущей только зубами своей роже потянул руку:

— Ваше высокоблагородие, Борис Алексеевич, второй взвод…

А второй взвод рысью шел мимо сошедшего в сторону первого взвода и, прочищая глотки, задирал его, счастливо смеялся над ним, долженствующим теперь встать в хвост колонны и два часа ждать своего такого же счастливого часа сторонить с дороги шедших впереди.

— Хабарда, хабарда! — по-персидски кричали посторониться ездовые второго взвода.

— И вам не век в головах идти!.. Час летит, что кобыла на походе пердит — коротко!.. Похлебаете еще нашего! — угрюмо кричали батарейцы сошедшего в сторону первого взвода.

— А хоть час — да соколом! А вам хоть два — да кукушкой! — скалился второй взвод и выкатывался далеко вперед, оставляя за собой тяжело и вязко, но

буйно взметнувшуюся глину.

— Сокотуй, сокотуй, поиграй мне, едрена мать! Вот нашодовать с оттяжкой повдоль спины, дак посокотуете!.. — свирепо кричал вдогонку второму первый взвод.

Взводный-первый, то есть подъесаул Храпов, на шенкелях подлетел к нам.

— Ваше высокоблагородие, Борис Алексеевич! Разрешите обратиться к сотнику… — закричал он издалека и в полной уверенности, что разрешу, накинулся на взводного-второго сотника Долгушова: — Господин сотник, прошу укоротить своих!..

После смены головного взвода колонна выровнялась и продолжила марш. Разминавший ноги сотник Томлин снова примолк и перестал походя пинать растущую редкими пучками осочистую траву. Он к чему-то прислушался.

— Что? — спросил я, тотчас предполагая близкую партию курдов.

Он как бы предостерегающе поднял свой крюковатый, оставшийся после отморожения палец, потом ткнул им вверх и медленно, будто следуя за кем-то, показал в сторону. Я вдруг по направлению его пальца уловил некий странный звук, какое-то шепелявое стрекотание, как если бы стрекотала саранча, только немного поглуше. Сотник увидел, что я тоже уловил встревоживший его звук.

— О! — сказал он и снова ткнул пальцем вверх и потом снова медленно повел пальцем в ту же сторону, на звук.

— Аппарат? — спросил я, называя так аэроплан.

— Похоже! — поджимая губы, медленно откивнул сотник.

Я расстегнул футляр бинокля, протер замшей линзы. На самой стенке латунного таза, то есть на горизонте, который никак не выходило назвать горизонтом, копошилась размытая горячим воздухом ворсистая клякса. Она явно западала на правое крыло, то есть забирала к нам.

— Чей? — спросил сотник Томлин про аэроплан.

Было видно, сколько он взволнован и встревожен какой-то древней, первобытной, любопытствующей тревогой. Надо полагать, так тревожились, но не могли пересилить любопытства и зачарованно смотрели аборигены на входящий в какую-нибудь их лагунку корабль Магеллана или Кука.

В бинокле аэроплан довольно быстро увеличивался. Он закончил маневр, выровнял крылья и направился в нашу сторону. Знаков принадлежности его я разглядеть не смог. Я помнил, что их размещали на крыльях и на тулове аэроплана. Но этот аэроплан был с решетчатым туловом. Крылья же покамест представляли собой тонкую черту.

Я обернулся к вестовому Семенову.

— Есаулу Косякину: батарее рассредоточиться и движение прекратить. Винтовки к бою! — велел я.

— Турчонок или немтырь? — снова спросил сотник Томлин про аэроплан, называя немтырем немца.

А я никак не мог увидеть знаков. Расстояние до самолета приближалось к полуверсте. Еще какая-то минута — и он выходил на нас. И если бы оказывался германским, то вполне было ожидать, что он мог бросить на батарею ручные гранаты или обстрелять ее из пулемета, как то повелось в ходе войны в Европе.

— Дай-ка винтовку! — протянул я руку к сотнику Томлину.

— А вот я сам, Лексеич! — попросил сотник Томлин.

— Прицел на шестьсот, — велел я.

Пуля явно прошла рядом с самолетом. Пилот резко взял вверх. Аэроплан при этом первобытно и трубно взревел. Я увидел на крыльях разноцветные круги, вписанные один в другой, — знак отличия британских вооруженных сил. У меня отлегло. Я махнул не стрелять.

— Друг с туманного Альбиона? — догадался сотник Томлин.

А я вновь захватился тревогой.

— Он-то друг, — припал я к биноклю. — Да ведь нас может посчитать за турченят!

— За самую милушечку! — согласился сотник Томлин.

А аэроплан взял высоту и прошел над нами в два круга. Мы стояли, не двигаясь. Никаких условных знаков между нами и британцами не было оговорено. И теперь положение наше было каким-то оскорбительным.

— Это что же, теперь они будут постоянно нас осматривать, как казачишки вшей на рубахе? — спросил сотник Томлин и сам же себе во всей уверенности ответил: — Не позволю!

Чем и как собрался он не позволить, я не нашел и смолчал, молчанием как бы выказывая свое презрение к бесцеремонности британца, а на самом деле просто скрывая свое бессилие поправить наше положение.

На третьем круге аэроплан прошел над нами очень низко. Пилот помахал рукой и потом бросил маленький предмет, который оказался брезентовым пакетом с письмом, всего-навсего приветствующим нас от имени командующего британскими войсками в Месопотамии генерала Мода.

Событие сильно встряхнуло батарею. Равно мог встряхнуть только скоротечный и успешный бой, не отнявший сил, а, наоборот, взбодривший. Все поочередно посмотрели письмо, и, зная мою нелюбовь к британцам, каждый счел нужным показать свое отношение к письму пренебрежительным.

— Очень приветливые хозяева! — сказал я.

— Спасибо, что письмом обошелся, а не сходил сверху на нас по-большому! — сказал сотник Томлин.

— Своей считают Месопотамию!.. А чего же нас на помощь зовут?.. “Рады

приветствовать!” Вот турок об этой радости не знает, то-то треплет их, как худой пес пьяного петуха! — сказали все.

На марше я примкнул к первому взводу. После недолгого молчания, выбирая моменты, когда глина немного редела, есаул Косякин стал говорить о том, что все-таки сильна Британия.

— На карту посмотреть — где мы, Россия, а где она, Британия. Но мы вязнем в персидских и турецких горах, в этой вот глине хвоста кобыльего не видим. А они флотом подошли, на авто перегрузились да вот еще аэропланом полетели. И Индия у них. И в Персии мы с ними разграничительную линию имеем. И в Месопотамию они нас приглашают. И этот аэроплан. Ведь какое удобство для разведки. Или бы мы сейчас офицерскими разъездами по всей этой глуши рыскали. Или аэроплану с небес осмотреть. Обидно и больно за нас. Стояли под аэропланом, как без штанов. Так и саднило взять винтовку и всадить ему патрон меж ягодиц. Хорошо, лошадей удержали. Если бы лошади сорвались, я бы разрядил в него обойму… Он еще ручкой помахать изволил. А чего изволил? Нашими двумя полками крепость брать надумать изволил, как в прошлом году Кут-Эль-Амарку!

— Ну, вот вы себе и противоречите, — возразил я. — Только-то сказали, что сильна Британия. А уже обличаете в стремлении жить за чужой счет!

— Так ведь вот потому и живет за чужой счет, что сильна. Мы вот ни за чей счет не живем. Мы рассчитываем только на себя, потому что не сильны, — попытался оправдать себя есаул Косякин.

— И они рассчитывают только на себя, но по-другому! — сказал я.

— Ну, да, да! По-другому… — согласился было он, да тут же нашел ход своей прежней мысли. — Но мы-то не можем, как они, по-другому!

О британцах и аэроплане разговор шел и на ночном биваке. Поужинали мы сухарями, запили пустой водой и было приложились спать. Но усталость и возбуждение дня молнией ходили по людям. Уснули немногие. Большинство, как ни намаялись, мало-помалу стянулись в кружки.

— Касьян Романыч, не гони спать. Дай маленько друг на друга поглядеть, какие стали за день. Словечком христианским дай перемолвиться, — укоротили они вахмистра.

— Как бы вы это поглядели друг на друга, когда огня взять негде? — съязвил Касьян Романыч, тут же присаживаясь в кружок.

Огня действительно взять было неоткуда. Запас дров кончился еще по выходе из гор. А с глины нельзя было взять ни сухого будылья, ни сухого навоза.

— Да уж без огня, на ощупь посмотрим, Касьян Романыч, как с чернявой девкой. Ночь темна, девка черна, милуешься, милуешься да пощупаешь, тут ли она!.. Тебе ладно, Касьян Романыч, что ты дал водички на сухарик. А то бы пришлось поплевывать на него да грызть, — взялись поддеть вахмистра батарейцы.

— Откуда плевать-то с этой глины возьмешь? — чувствуя, что его поддевают, огрызнулся он.

— Ну, тогда помочиться бы пришлось! — нашлись батарейцы.

— И это откуда. Все с потом вышло! — отмахнулся Касьян Романыч.

— А говорят, на Германском фронте с этих аэропланов бомбой швыряют, как твоя кобыла, Касьян Романыч, яблоки! — снова поддели вахмистра. Все в батарее помнили, как Касьяну Романычу достался его жеребчик, разумеется, завидовали и не упускали возможности поддеть.

— Не кобыла, а жеребчик арабских кровей! И вам такой жеребчик никогда не достанется! — огрызнулся вахмистр.

Я тоже вспомнил это событие, лишь повстречался с Касьяном Романычем в батарее и вспомнил ночной его рассказ о женщине с курицей, которым он пытался образно показать степень моего непонимания его, Касьяна Романыча, казачьей души. Без сомнения, вспомнил это и он. И ему предстала сложная задача не показать, что он все вспомнил, — ведь я поставил ему условие содержать жеребчика за свой, а не батарейный кошт, условие для него невыполнимое. Чтобы снять с него эту задачу и тем его в рейде не мучить, я сам постарался сделать вид, что ничего не помню. Кажется, у меня получилось. Но сколько же трудов стоило Касьяну Романычу преодолевать свое оцепенение вот в такие минуты напоминания ему казаками того, как ему жеребчик достался. В эти минуты Касьян Романыч цепенел и явно ждал моего разоблачающего восклицания, навроде того, а де так я же вот как распорядился, а ты вот как поступил — и так далее. Этакое же оцепенение я увидел и у хорунжего Комиссарова, испытавшего далеко не радость от вести о моем назначении на время рейда в батарею. Он тоже ждал, что я попрошу у него батарейный журнал и тотчас кинусь искать ту страницу, где он описал курдскую атаку в выгодном для себя свете.

В остальном батарея была для меня прежней. Не было только в ней сердечного человека Павла Георгиевича Чухлова.

Глава 14

К полудню в пустой деревне около колодца я дал команду на отдых. Батарея свернула с дороги, отчихалась, откашлялась, отхлопалась, вычерпала колодец до грязи. Да он, собственно, еще и не восстановился после сибирцев, так что нам досталась серая горькая муть, которую ни люди, ни тем более лошади пить не захотели.

— А британцы снабжают свою армию сухим спиртом, который служит в качестве горючего и на котором без труда можно кипятить воду! — сказал Комиссаров.

Сотник Томлин плюнул, свернул в степь, сразу отдалился и оказался как бы в другой реальности. Он некоторое время стоял неподвижно, лишь время от времени поворачивался лицом то влево, то вправо, чем напомнил мне одинокого грифа. Потом он отъехал еще, опять остановился и вдруг пошел рысью. Он отъехал с полуверсту и совсем растворился в мареве, разрывающем его на темные, колышущиеся клочки. Я готов был за самовольство погрозить ему плетью, но он быстро вернулся.

— Вроде как водой потянуло. Но… ёк су!.. Нет водички! Мало-мало ошибался! — поджал он губы.

— Болота в той стороне есть, — показал я карту. — И, сколько помню из географии, болота с довольно разветвленной ирригационной системой. Но до них столько далеко, что легче сбегать попить водички домой.

— То-то не зря я учуял, — сам себе удивился сотник Томлин.

— Небось, так не воду, а водку учуял! — сказал я.

Он смолчал. Я еще потаращился в карту и якобы вспомнил, а на самом деле с вечера все время держал в уме, что нас не может догнать передовой дозор северцев, и решил послать сотника Томлина ему навстречу.

— Пощупать драгунцов по степу? Можно! — сказал сонник Томлин.

Однако не успел он вплыть в близкое марево, как тупо, будто из подпола, хлопнули два условных выстрела, и я в бинокль различил довольно сильный по численности, этак со взвод, отряд драгун, шедший прямо на сотника.

Вскоре они на рысях выкатились из марева, втянулись в деревню. Ко мне лихо подкатил командир разъезда.

— Буденный! — искренне обрадовался я.

— Так точно, старший унтер-офицер Буденный! — смутился он моей искренности.

— Рад встрече, голубчик! — сказал я и не сдержался в шутку пожурить: — Отстаете от нас. Наш передовой разъезд уже в Багдаде мармелад с какавой кушают!

— Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, догоним… Северцы не

подведут! С водой у нас тяжело! — бойко ответил унтер Буденный.

— Вахмистр! — позвал я Касьяна Романыча. — Дать нашим гостям по трети ведра. Пусть их лошади хоть глотки промочат!

— Какой воды? Какой по треть ведра? Нет ничего! Откуда взяться! — окаменел Касьян Романыч.

— Дядя! Это приказ их высокоблагородия командира батареи! — с довольной улыбкой потребовал унтер Буденный.

— На то и их высокоблагородие, чтобы приказывать. На то ты и унтер, чтобы приказы исполнять. А воды нет! — ничуть не изменился лицом Касьян Романыч.

— Да не мне был приказ, а тебе, дядя, батарейному вахмистру! — попытался растолковать унтер Буденный.

— Так что мне. Прикажут, я и исполню. А теперь ты исполняй. Чай, командование полка надеется, что ты со взводом авангард блюдешь, а ты тут милостыней побираешься! — стал стыдить унтера Касьян Романыч.

— А вот этого, дядя, отведать как? — понял, что его взялись водить за нос, и озлился унтер Буденный.

— Шоды-то? — посмотрел Касьян Романыч на плеть в руке унтера Буденного. — Этим мы вас угостим со всем нашим служением!.. — И взорвался: — Пристал! Что тут тебе, Терек, что ли, или речка Сунжа? Нету воды!

— А в бочках? — ткнул плеть за голенище унтер Буденный.

— Что в бочках? — снова окаменел Касьян Романыч.

— Что в бочках? Да вода в бочках, дядя! — напомнил унтер Буденный.

— Вода! — согласился Касьян Романыч.

— Ну! — потерялся от такого признания унтер Буденный.

— Ну? — тоже потерялся Касьян Романыч.

— Так наливай по треть ведра, дядя! — свирепо закричал унтер Буденный.

— Не пииить! Коней загубите! Мало ли, их высокоблагородие приказали! Они при артиллерии, а мы при конях родились! В ноги вода на походе бьет! — пронзил успокаивающуюся глину Касьян Романыч.

— Ну, дядя, не хочешь волей, я возьму неволей! Мы приказов чураться не привыкли! — отцепил от седла брезентовое ведерко унтер Буденный.

Касьян Романыч, сорокалетний закоренелый вахмистр и старовер, от вида чужой посуды, долженствующей прикоснуться к чистой в его староверческом понимании воде, решил лечь костьми и пострадать за веру.

— Куда! Куда своей поганой торбой! Мне веру продать из-за тебя! Мне в грех впасть из-за твоего алченья! Стой, унтер! — взялся Касьян Романыч за кинжал.

Далее наблюдать сей завораживающей картины я не мог.

— Вахмистр, не забывайтесь! — прикрикнул я на Касьяна Романыча, прошел к бочкам и уже ласково попросил дать драгунским лошадям воды. — Они же наши гости! Что же понесут они по армии про наше гостеприимство? — сказал я.

— Ваше высокоблагородие, господин подполковник, Борис Алексеевич! — взмолился, но, кажется, лукаво взмолился Касьян Романыч. — Лишите меня службы, воля ваша. Но где же я ему, антихристу, столько воды найду! Вы гляньте на его торбу! Она же у него… она же у него весь четверик вольет! У всех торбы как торбы, по гарнцу, а у него, поди, дак еще и четверика мало будет! В его торбе-то жить можно!

— Как это четверик? — растерялся унтер Буденный и с подозрением поглядел на свое брезентовое ведерко, обычное брезентовое ведерко, предназначенное к поению лошадей, ничуть не больше наших.

— Четверик, четверик! А то четверика еще и мало будет! — изображая последнюю степень страдания, подтвердил Касьян Романыч. — Мне что же, потом и бочку на костер извести за ненадобностью придется! Ведь всю нашу воду этот антихрист вычерпат!

— Двойная польза будет, Касьян Романыч: и гостей напоишь, и казаков погреешь! — сказал я.

Он обреченно взглянул на меня и вдруг с силой толкнул кинжал в ножны.

— Разрешите исполнять? — спросил он и полез на бочку. — Подходи первый, кто тут драгунский!.. — И запел с обидой в голосе: — “Ты возьми моего коня во белые руки. Переведи мово коня через синее море, на камешке стоя, чтобы коник мой напился!..” Отвернись, православныи-и-и, не смотри, как басурман вашу воду сладкую и текучую-ю-ю пьет! Подходи, драгунцы, подходи, воды не жалко! Ее много во пустыне во алчущей, во пустыне вавилонской!.. И ех, казачишки, помирай род ваш гребенской сунженско-о-й!.. Процветай, род драгунской, захребетинско-о-й!.. — с ударом голоса на окончания прилагательных запричитал Касьян Романыч.

— Пошел! — хмуро и сквозь зубы, с перекосившей его тоненькие и подкрученные усики улыбкой понукнул к бочке ближнего своего драгуна унтер Буденный, а потом по-строевому лихо повернулся ко мне: — Премного благодарны вам, ваше высокоблагородие.

— Рррады старрраться! — лихо же приложил я руку к папахе, как то по уставу делают нижние чины.

Однако дальнейшей комедии у меня не вышло. По батарее прошел шум. Глубоко в улице показались два всадника, в опор гнавших уже шатающихся коней. Все устремились на них.

— Где их благородие командир? — издалека с одышкой и уже от напряжения не выговаривая полного моего титула закричал один из всадников, в котором я узнал своего батарейца от головного дозора.

Батарея, словно гуси, заголготала, всколыхнулась. Невидимый тревожный ветерок протянул по ней. Я вышел всадникам навстречу. Мой батареец увидел меня,

не доезжая, слетел с седла, поначалу корявисто, а потом все более разгибаясь и пружиня в коленях подскочил ко мне, выпучил глаза:

— Так что, ваш вскоблродь, впереди британцы!.. — И задохнулся, порывисто глотнул и вновь выпучил глаза. — Впереди в пяти верстах городишко! Виноват, пока летел, название забыл! Велено вам доложить!.. А этот вот, — мой батареец отступил шаг в сторону, — казак от сибирцев имеет вам доложить!..

— Так что!.. — выкатил вперед с берестяным от усталости и засохшей соли лицом другой всадник. — Так что имею доложить: командира Девятого Сибирского казачьего полка полковника Владимира Егоровича Первушина вестовой казак Илья Евстратов! Имею доложить: направлен к вам с известием, что полк скоснулся с британцами!

Остатнее, как бы сказал Касьян Романыч, расстояние до сего “название забыл” городишки мы пробежали, захватившись каким-то единым ребяческим порывом. Глина нам не стала в глину, пекло — не в пекло, жажда и Касьян-Романычево алченье — не в алченье. Кажется, и кони перехватили наш порыв. Едва минул час, а головной дозор выкатился к сибирскому биваку на пустыре близ первых домишек городишки.

И остановка, и расположение сибирцев не в городе, а на окраине мне не понравились.

Тем не менее я приказал батарее в минуту привестись в порядок и построиться в резервную колонну. Я сам, адъютант, трубачи с особой нашей гордостью, четырьмя серебряными трубами за отличия в прошлых войнах и хор песенников во главе с Касьян Романычем встали впереди. Батарея повзводно, строго по ранжиру, со всеми номерами на местах и с выдержанной дистанцией, с замыканием колонны хозяйством Касьяна Романыча выровнялась, напружинилась, выдохнула и пошла. Я не видел, но знал, что сейчас вся она вцепилась глазами далеко вперед меня, выглядывая и сибирцев, и сам городишко. И более-то, я думал, всякий выглядывал увидеть британцев, явно полагая, что все они сейчас скучились встречать нас.

Но не только британцы, которые думать о нас явно считали дурным тоном, а и сибирцы нас прозевали. Они встрепенулись, бросили обустраиваться и посыпали к дороге лишь в момент, когда дискантом, как буравчик ввинтившимся далеко вперед батареи, Касьян Романыч вскричал первые строки терской песни.

— “С нами Бог на поле брани!..” — вывел он.

— “Славу, лавры мы нашли! И-и! И лихими казаками всем известны стали мы! Ы-ы!” — подхватил Касьян Романыча хор, а последующий припев со словами “Славься, Терек наш могучий! Славься, родина Кавказ!..” от всей души подхватила и могучим же Тереком проревела-прогрохотала батарея — да так, что даже потонуло в ее грохоте чистое серебро наших труб.

Сибирцы в восторге взревели ответным “ура!”. Папахи их, словно стая черных птиц, взлетели к небу.

— Терцам — ура! Молодцы, терцы! Догнали нас! Оркестр! Оркестр! Где наши трубачи? Играй терцам встречу! — со всех сторон слышал я.

— Славным сибирцам наше троекратное, дважды короткий, один раскатистый… — ура, ура, ураааа! — в восторге кричал я, и батарея каждый раз самозабвенно кричала со мной.

— Ура! Терцам ура! Славной нашей артиллерии ура! — отвечали сибирцы, готовые ссадить меня с седла и потащить на руках.

Кто-то из них попытался организовать полк на троекратное же “ура!”, но не вышло. Я это увидел и в некоторой гордости за своих, за то, что у нас получилось, а у них нет, нашел момент скомандовать это троекратное “ура”” им. И они дружно, как и мои же батарейцы, команду подхватили, прокричали и сами собой восторглись.

В этом кружащем, взлетающем вверх папахами и восторгающемся круговороте я не заметил, как появился около меня сотник-сибирец Верезомский, красивый, немного барственный и с вечной некоей озабоченностью на челе офицер. Я его заметил, лишь когда он тронул меня за ногу — этак почтительно коснулся колена.

— Ваше высокоблагородие! — козырнул Верезомский. — Ваше высокоблагородие, дежурный по полку сотник Верезомский. Разрешите доложить!

Я спешился.

— От имени командира и всех офицеров полка поздравляю вас, Борис Алексеевич, с благополучным прибытием! Собственно, вы своей скоростью появления нас удивили! Мы полагали вас далеко отставшими! — сказал Верезомский.

— Этакое можете полагать о господах северцах. Едва ли притащатся к вечеру! — скрывая удовольствие от похвалы, сказал я.

— Командир полка Владимир Егорович с командирами сотен сейчас находятся на встрече с представителями британского командования. Я в полку за старшего. И вот нам придан их офицер связи!.. — снова взял под папаху Верезомский.

Он при этом отодвинул теснящихся и ликующих казаков, затевающих пуститься в пляс, и я увидел, как я же, невысокого, но чуть рыжеватого и весьма симпатичного британского лейтенанта.

— Имею честь представиться: лейтенант его королевского величества Дэвид Макникейлн! — сказал он по-русски, глядя на меня умным и почтительным взглядом.

В своей нелюбви ко всему британскому я, конечно, не мог предположить, что услышу от кого-то из британцев такой чистый русский язык. Я сердечно улыбнулся ему, ответно представился и в своем восторге перешел на немецкий, который лейтенантом был с легкостью подхвачен.

— Ich weis nicht, was soll es bedeuten, warum ich so traurig bin! — пьяный от восторга, сказал я строчку из Гейне, переводимую как: “Я не знаю, что должно это означать, отчего я столь печален”.

Лейтенант улыбнулся и прочитал следующую строчку этого стихотворения.

“Вот, — хмыкнул я. — Совершенно милый человек, хоть и британец!” Я снял перчатку, одетую лишь по случаю встречи с сибирцами.

— Будем друзьями, господин лейтенант, или, как говорят терские казаки, командовать которыми я имею честь, будем кунаками!

— Да-да, польщен! Будем друзьями! — смутился лейтенант, но руку мне пожал крепко, чем совсем расположил меня.

Я окликнул Семенова и велел принести мне из моего торока в хозяйстве Касьян Романыча один из персидских кинжалов, подаренных мне персидскими чиновниками во время различных приемов. Чиновников я не ставил ни в грош и, разумеется, подарки их за подарки не считал, хотя кинжалы были дорогие по отделке и отменны по стали. А считал я эти кинжалы как бы данью, платой за то, что мы своим присутствием сохраняем этим чиновникам их службу. То есть, считая так, я как бы проникся духом персидского торгашества. Я себя винил в этом. Но винить было приятно, как в детской игре порой начинаешь быть злодеем и так заиграешься, что самому от своих так называемых злодейств становится и страшно, и до щекотки интересно.

Лейтенанту я объяснил, что при объявлении себя кунаками таковые должны обменяться оружием, но ни шашки, ни кинжала, которые при мне, я отдать не могу, так как они уже даны мне в обмен на мои. И я объяснил, куда и за чем я отправил вестового. Лейтенант очень смутился. Но, кажется, толком ничего из моих объяснений не понял. Он очень испугался, когда я подал ему небольшой, вершков в шесть, но с несколькими камнями в узоре рукояти и ножен кинжальчик.

— На память о встрече наших войск в стране Гарун-аль-Рашида! — сказал я.

— Это что-нибудь несет? Это имеет какой-нибудь магический или иной смысл? — в испуге спросил он.

И испуг, и неприятие подарка, и вопрос вмиг отдалили меня от лейтенанта. Я сразу вспомнил приказ о размещении нас вне стен городишка. “Какой магический! Какой смысл! — едва не закричал я. — Черт бы побрал меня связаться с вами, гусями! Как над пленными сипаями издеваться, как на несчастных буров в Африке охотиться — так это во благо цивилизации и ее величества старой доброй Англии. А как принять подарок от русского офицера — так свою рыжую рожу корчить!” Закричать-то я едва не закричал, но совершенно не выказал этого на своем лице. Такому артистическому приему обучило меня недолгое, но частое общение с персидскими чиновниками, когда приходилось блистательно улыбаться человеку, которого расстрелять за каким-нибудь загаженным курятником значило оскорбить и себя, и расстрельную команду.

— Никакого смысла, лейтенант! Просто на память! — весь в любезности, сказал я.

— Нет, господин подполковник! — сконфузился он. — Я чрезвычайно тронут вашим вниманием. Но я не могу принять вашего подарка, потому что я не имею возможности отблагодарить вас тем же!

— Да что за напасть! Абсолютно нет необходимости делать обратный подарок.

Когда-нибудь, через много лет, где-нибудь у себя в графстве в вашей Шотландии, будучи уже отставным генералом, вы достанете этот кинжал и вспомните эту весну, этот городишко, этих отважных людей, — я показал на сибирцев и своих терцев, — и это воспоминание будет вашим обратным подарком! — сказал я.

А что же мне оставалось говорить — не отправлять же кинжал обратно в торок, то есть не проглатывать же новое оскорбление.

— О! — продолжая конфузиться, воскликнул он. — Вы так хорошо сказали, что я смею подозревать в вас дар поэта и не удивлюсь, если однажды увижу вашу книгу о наших общих делах здесь, на этой земле Месопотамии! Я принимаю ваш подарок. Но смею ли я просить об одном одолжении?

— Бесспорно, смеете! — разрешил я.

— Я понимаю разницу в наших чинах, господин подполковник! Но я прошу вас быть сегодня вечером у нас на небольшом ужине в кругу моих друзей-сослуживцев. Нам всем будет очень приятно ваше общество!

— Благодарю. Непременно буду, если позволит служба! — сказал я и подумал, отчего же не быть, отчего не принять приглашения. Ведь когда-то, через много лет, где-нибудь у себя в Екатеринбурге или на реке Белой я тоже могу вспомнить эту весну, этот городишко, этот глиняный ворс до небес, славных сибирцев и моих батарейцев, этого британского гуся, то есть его величества короля Великобритании лейтенанта. — Благодарю, — еще раз сказал я, и еще раз сказал, но уже утвердительно: — Непременно буду! — И спросил сотника Верезомского, отчего полк расположился не в городе.

— Да вот, — показал на лейтенанта сотник Верезомский.

— Есть приказ нашего командования, согласованный с вашим командованием, о конечном пункте вашего продвижения именно здесь, — опустил свои умные глаза лейтенант.

— Здесь, на окраине, — и казачий полк, и нас? — не сдержал я удивления.

— Сэр, это приказ. И он согласован с вашим командованием! — с заметным огорчением сказал лейтенант.

— И моей батарее — здесь же? — спросил я.

— Сэр, это приказ! — встал по стойке “смирно” лейтенант.

Разумеется, это был приказ. И, разумеется, лейтенант был ни при чем. Ему самому этот приказ явно не нравился. Но я не сдержался.

— Естественно. Где же располагаться гуннам, как не в степи! — сказал я. — А вот что, лейтенант. Мне никаких инструкций и письменного приказа не поступало. А посему! — я обернулся к есаулу Косякину. — Есаул, ведите батарею в центр города. А не понравится, — сказал я про британцев, — так мы и в Багдад войдем! Остался-то тут один переход. А и это не понравится — снимай орудия с передков!

— Как прикажете! — козырнул есаул Косякин.

Батарея вновь выстроилась, подобралась и пошла в город.

— Запевай! — скомандовал есаул Косякин.

И Касьян Романыч ввинтил в занятый британцами городишко свой “Славный Терек и славную родину Кавказ”.

— Сэр, — сказал лейтенант. — Место расположения вашей батареи определено здесь. Батарею следует, согласно общей диспозиции расположения ваших и наших войск, из города вернуть. У меня на этот счет есть соответствующие инструкции.

— Zum Befel, Herr Leutenant! — откозырял я. — Слушаюсь. А теперь извольте проводить меня к своему командованию!

И мы с несчастным, ни в чем не виноватым лейтенантом углубились в городишко, который ничем не отличался от всех прочих персидских городов. После окраинных дувалов, за которыми прятались в садах глухостенные домишки, мы въехали в темные и узкие, местами даже крытые улочки со сплошными мелкими лавочками, мастерскими, пекарнями, кэбавнами, то есть своего рода харчевнями, с товарами прямо на прохожей части и с бесконечными коврами, частью брошенными прямо на дорогу под ноги бесконечно топчущемуся люду, ослам, лошадям, повозкам. В Азии принято новый ковер вот так выбросить с тем, чтобы он был истоптан, загажен, вмят в дорогу. Потом его забирают, моют и чистят, приводят в первоначальный вид. От такого испытания подлинный ковер становится не только краше, но и прочнее. Такой ковер потом служит веками.

“Не потому ли и мы, гунны, служим веками и уходим из службы только в землю, что нас, как вот эти ковры, постоянно пытаются топтать, постоянно по нам пытаются проехать, на нас пытаются нагадить?” — спросил я себя.

Слова были высокими, нам не присущими. Но от горечи и злобы они выходили сами, и они не утешали, а только придавали еще горечь и еще злобу.

Батарея по таким улочкам пройти не могла. Да и нам топтаться в них не было смысла. Я знал, что по обычаю азиатских городов где-то есть широкая караванная улица и спросил лейтенанта.

— Да, сэр, — вежливо, но сухо ответил он и в ближайшем переулке показал свернуть.

Мы молча свернули, по узости переулка вытянулись в шеренгу по одному, или, говоря по-казачьи, в один конь, и вскоре вышли на эту караванную улицу, в глубине которой я увидел, как все расступаются перед моей батареей.

Глава 15

— Что я тебе скажу, Борис Алексеевич, рассказывал мне о своем рейде через Луристан на соединение к британцам сотник Василий Данилович Гамалий. — На ночь пятнадцатого дня прошли мы шестьдесят верст пустыни, подошли к границе оазиса и вышли на расположение их части. Как мы прошли, где были их посты — один аллах знает. Им тоже в диковинку стало: как прошли, куда их посты смотрели… А мы-то какие были! Из полнокровной сотни в сто девятнадцать шашек едва с два десятка, то есть едва взвод, кое-как здоровых осталось. Что кони валятся, что люди. Все схватили тропическую. Она через сутки повторяется. Но трепать начинает уже с утра. Всех тошнит. Меня тошнит. Всех ломает и скручивает. Меня ломает и скручивает. Все в судорогах. Я в судорогах. Руки-ноги у всех сводит, так что и повода не удержать. В глазах гной и муть. А в башке если что-то и есть, то только одно: “Не сдохнуть бы”. То есть лучше бы сдохнуть и отмаяться. Пропади оно все к синей бабушке. Но в башке — задача, а потому в башке: “Не сдохнуть бы!” И вот такие мы прошли мимо их постов незамеченными. То-то все они повытаращились, вояки…

Так мне рассказывал друг мой сотник Василий Данилович Гамалий. Вся сотня, кстати, за рейд была награждена Георгиевскими крестами и получила наименование Георгиевской.

Так же под вытаращенные на нас взгляды вояк его величества короля Англии я со своей батареей прошел по городишку.

Разумеется, тут же пришлось вернуться на исходные позиции, то есть в соседство к сибирцам, куда вечером явились и северцы. Я приказ выполнил, но оскорбился, сказался больным и проигнорировал приглашение начальника британского гарнизона городишки на совместный ужин.

— Идите. Где и когда вы еще раз увидите этих болдуинов, — сказал я про британцев, сам же залег под бурку. — Старая лихоманка вернулась! — сказал я.

Господа мои офицеры посочувствовали мне, но пошли на ужин с удовольствием.

— Мы тебе за пазушкой принесем, если нам самим подадут, конечно, — сказал сотник Томлин.

Он догадался, какая старая лихоманка встрепала меня.

Они ушли. Я вышел из палатки. Локай от коновязи учуял меня, тихо заржал.

— Вот-вот, — сказал я Локаю. — Какая-нибудь аглицкая чистокровная цаца вертит хвостом там, — показал я в сторону центра городишки, — а мы с тобой хрюкаем здесь, где “диспозицией определено”!

Я послал вестового Семенова за Касьяном Романычем.

— Давайте-ка, Касьян Романыч, хозяйством займемся! Давайте я бумаги подпишу! — сказал я вахмистру.

— Слушаюсь! — молодецки сказал Касьян Романыч.

Но было в его молодечестве нечто ненатуральное.

— А кстати, Касьян Романыч, как там наш крестник поживает? — как бы вспомнил я курдского жеребчика.

— Виноват, ваше высокоблагородие Борис Алексеевич, не понял вас! — вытянулся Касьян Романыч.

— Да лошадка, курдский жеребчик, помните? — сказал я.

— Так точно, ваше высокоблагородие! Как же не помнить. Премного вам благодарны! Справно поживает! — не моргнул глазом Касьян Романыч.

— Ну, вот как славно! — сказал я.

Просмотр и утверждение бумаг я намеренно начал не с фуражной ведомости. С полчаса я брал одну бумагу за другой, смотрел и почти в каждую тыкал пальцем:

— А это что, Касьян Романыч?

Касьян Романыч ловко забегал мне за спину, склонялся к бумаге через мое плечо и объяснял, что именно и откуда-почем было взято, куда израсходовано, потом столь же ловко возвращался к своему месту напротив меня.

— Да вы присаживайтесь, Касьян Романыч! — каждый раз говорил я.

— Благодарствуйте, мы постоим! — отвечал он.

— А это что? — спросил я о закупочной фуражной ведомости.

— Это? — снова забежал Касьян Романыч мне за спину. — А, это! Это, ваше высокоблагородие… Ведь как. Вот брали мы у местных. Сусыжистый народец, смею доложить. Обчистит мигом. Деньги заберет, товар спрячет, а еще на весь базар затоскует, что я ему должен остался! Персияки и есть. Их в строгость надо! Вот смотрите, сена куплено столько-то пуд, вот, написано, столько. А столького-то на всех коней не хватит. Я еще беру саману столько-то пуд. И плачу за все восемнадцать собак. Вот, извольте видеть. Плачу семь туманов с крантиком, что и есть восемнадцать собак, как скажут наши казаки. А если по-православному, как вы знаете, то и будет это четырнадцать рублей сорок копеек.

Казаки и вправду местную наиболее ходовую монету в один краник с изображением льва на обратной стороне прозвали собакой. Равнялась сия собака двум нашим двугривенным, то есть сорока копейкам. Отсюда и вел Касьян Романыч такой могущий показаться замысловатым счет.

— А шодой-то бы его, персака, — так ведь их высокопревосходительство Николай Николаевич не велят. Лаской велят! А Азия что ж. Азия только шоду понимает! — сказал Касьян Романыч.

Я видел, что все взято по завышенной цене. Сказать, что Касьян Романыч был каким-нибудь пентюхом или, как он сам любил выражаться, тафтуем, которого облапошили местные крестьяне, было нельзя. Да и не было во всей русской и, наверно, вообще во всех армиях мира такого вахмистра или фельдфебеля, чтобы он

выходил пентюхом и тафтуем. Сказать, что Касьян Романыч был мот, тоже было нельзя, потому что, опять же, как говорят господа философы, таких вахмистров и фельдфебелей не бывает по определению. А сказать или даже просто подумать, что Касьян Романыч берет казенные деньги себе, я не мог. Я не мог оскорбить человека подозрением.

Я знал, что в армии воруют. Я знал, что в армии не берегут казенное имущество. Вот что писал мне мой сокурсник Жорж Хуциев. “Картинка касается вполне конкретного пехотного полка на западном фронте, но являет собой картинку типическую, то есть такая картинка может быть написана с любого полка в нашей армии. Армия не имеет понятия о том, что собой представляет экономическая дисциплина. Части разбалтываются и разлагаются. И не столько под огнем противника, сколько подвержены они этой болезни в отношении тыла, то есть в экономическом отношении. Вот конкретный полк, мало чем проявивший себя в боевой обстановке. Но по произведенной случайной проверке — именно случайной, потому что интендантства никаких проверок не проводят, наверно, считая их сопряженными с опасностью для жизни проверяющих, а вернее всего, по причине выгодности их непроведения. Так вот, одна случайная проверка показала, что полк на одного убитого списывал как потерянные по десяти шинелей, вещевых мешков, патронташей, шапок, поясов и всего прочего. После проверки и данного установления командир полка, равно как и интендантская служба, принимавшая подобные отчеты, не понесли никакого наказания. В восполнение, так сказать, утраченного имущества полку были выделены эти запасы. Нетрудно догадаться, куда они пошли. Обозы полка — да что там одного полка! обозы полков! — перегружены так, что при перемещении полка вынуждены идти перекатами, то есть сначала отвозить одну часть скопленного имущества, потом возвращаться за второй. Велика ли подвижность и боевая способность такого полка? Да полк думает в таком случае только о том, как бы это имущество сберечь до продажи или для послевоенной поры, чтобы хоть сколько-то вознаградить себя за военные тяготы. А что это значит, ты догадываешься, Борис…”

Вероятно, подобное же творилось и у нас, в нашем корпусе. Но обвинить кого-то конкретно я не мог. Я отвечал за инспекцию артиллерии. Сколько я мог знать из письма начальника управления артиллерией, по принятому сокращению — упарта, пришедшего к нам в штаб корпуса в сентябре прошлого шестнадцатого года, нашей бедой было дробление артиллерии, особенно в начале войны. Тогда батарея какого-нибудь дивизиона могла быть оторвана от дивизиона и брошена не только в другую дивизию, а даже в другую армию и на другой фронт, где и пребывала, вернее, прозябала долгое время, потому что хозяйство в артиллерии построено по дивизионному принципу. Каково было командиру батареи поддерживать связь с управлением дивизиона, каково ему отчитываться за батарейные, простите, подштанники, сапоги, шапки, постромки, колеса и деготь, каково посылать нарочного в дивизион за получением денежного довольствия, каково ему вообще, когда батарее не положен ни доктор, ни ветеринар, ни технический мастер, ни… Да что там! Если во время нашего вступления в Персию у нас было всего три батареи, то теперь корпусная артиллерия состояла из одиннадцати лоскутков, то есть одиннадцати отдельных артиллерийских частей различной войсковой

принадлежности, включая такую экзотическую часть, как Батумская горно-трофейная батарея. И всем им ничего иного не оставалось, как бежать за помощью ко мне, инспектору артиллерии корпуса, или в сокращении — инаркору. И как тут не обзавестись собственным хозяйством, собственными средствами, собственной возможностью обойтись без “исходящего и входящего”. Потому я не мог подумать про Касьяна Романыча в оскорбительном смысле.

Я подписал закупочную ведомость и потянулся к следующей, к ведомости расхода фуража.

А в ведомости ежедневной выдачи фуража я вдруг увидел нечто поначалу приведшее меня в недоумение. Я уже говорил, что по обычаю штабного и интендантского разгильдяйства, способного только на учет “нашего входящего” и “вашего исходящего”, в каждой войсковой части, кроме казенного, скапливалась тьма собственного, не учтенного казной и как бы принадлежащего этой части имущества, включая оружие и лошадей. В этой же Терской батарее была пулеметная команда, ни по какому штату никакой батарее не положенная. При команде, разумеется, были и неучтенные лошади. В этакие же неучтенные батарейные списки конского состава я велел зачислить и курдского жеребчика. Касьян Романыч приказу подчинился. А сейчас я в ведомости увидел, что этот жеребчик находился не в списке батарейных, то есть неучтенных казной, лошадей, а в списке казенных. Причем он там находился как бы на особом положении. Он был выделен против общего количества красной карандашной чертой и помечен особой записью: “Конь, жеребец Араб Косов”, в столбце количества был проставлен цифрой “Один”, в столбце положенной нормы корма и в столбце фактически отпущенного отметок не имел, но в общую сумму входил.

— Это что за Буцефал! — воскликнул я.

— Бруцеллез? Никак нет! Спаси Христос! Бог от такой хворости лошадушек миловал! — тотчас откликнулся Касьян Романыч, а я не понял, то ли он лукавил, то ли действительно не понял меня.

— Да вот, выделенный красной чертой некий конь Араб Косов один — это не конь ли Александра Македонского? — спросил я.

— Никак нет! Это мы с бою взяли, ваше высокоблагородие, как вы сами изволили помнить!

О том, как жеребчик был взят и что я помнил по этому поводу, я не стал говорить Касьяну Романычу.

— Но что значит вот это? — показал я на “Конь Араб Косов один”.

— А-а-а, это, ваше высокоблагородие! Это, упаси Господь, если что со мной случится, так за него, значит, чтобы моей жене Екатерине Евлампиевне деньги по всей форме были. С добычи конь, с самоличной добычи! — ответствовал Касьян Романыч без тени смущения.

— Касьян Романыч, а платить за содержание его вы сами можете? — спросил я.

— Платить из своего довольствия? Никак нет. Это ведь… — он быстро

перечислил мне все кормовые расходы. — Это по полтумана на день выходит, по рублю, если на наши деньги. По рублю на день мы никак не сможем!

— Тогда поступим так. Конь будет на батарейном содержании без всякой вот этой красной черты. Но и принадлежать он будет батарее! Ведь мы же с вами договаривались! — сказал я и, кажется, наповал убил бедного вахмистра.

Потом объявился ординарец моего лейтенанта, то есть лейтенанта Дэвида Макникейлна. Он подал маленький конверт. “Все-то у них не как у людей!” — поморщился я на конверт, вспоминая конверт, брошенный нам с самолета. Лейтенант Дэвид Макникейлн справлялся о моем здоровье и сообщал, что непременно посетит меня сегодня же, как только официальная часть приема у начальника гарнизона закончится. “Стоило ли для этого гнать сюда человека!” — опять поморщился я, и, конечно, в этом должно было выразиться все, что я думал о Британии, посредством жизни за счет колоний позволяющей себе гонять людей туда и сюда вот с такими конвертиками. Но конвертики и сама Британия были совсем ни при чем, только подвернувшимся поводом мне к уже сказанному пробубнить, что-де вместо конвертиков лучше бы Амарку, то есть крепость Кут-Эль-Амар, соблюли.

А лейтенант объявился едва ли не следом за ординарцем. С ним были два молодых офицера, его друзья. Признаться, я не поверил, что лейтенант может оставить прием у начальства. Я только-то растелешился, помылся и сел пить чай на хромом трехногом стульчике в хилой тени палатки. Вестовой Семенов подал чай, лепешки и колотый сахар.

— А пахлава, а лукум, а нуга, а шербет? — артистически запросил я.

— Так что, ваше высокоблагородие, побоялся я покупать. Шибко все в лавчонках грязно. Не моют руки, поди, со времен своей башни! — серьезно сказал вестовой Семенов.

— Какой башни? — не понял я.

— Ну, ваше высокоблагородие, этой, Вавилонской, которую до неба строили, да Господь их языки смешал. Здесь ведь она была! — сказал вестовой Семенов.

— Грамотный ты у меня! — хмыкнул я и спросил про лепешки: — Их что, не грязными руками подали?

— А их я прямо из печки сам вынул! — сказал вестовой Семенов.

— И давно вы, вестовой, стали столь гигиенически воспитанным? — спросил я.

— Да вот подождите. Я вам здесь баньку устрою. Куплю дров на базаре да накипячу воды! — пообещал вестовой Семенов.

И я выпил чаю и в удовлетворении отмяк, приняв значительную позу, достойную названия “Русский офицер в редкую минуту отдыха на походе в Месопотамию”.

В эту-то минуту и заявился лейтенант со своими друзьями. И я, как некогда в дождливый день осени четырнадцатого года на Батумском вокзале, дал себя уговорить. Я, конечно, артистически поежился перед этим, как бы показывая

лихоманку, но велел седлать Локая. А потом, по дороге, поеживаться забыл.

Глава 16

— Знакомьтесь. Это лейтенант Диглайн. Это лейтенант, собственно, второй лейтенант, то есть как бы младший лейтенант Дан. Мы все из Шотландии. Мы друзья. Нас еще называют “Три Ди”! — представил мне лейтенант Дэвид двух других офицеров.

Я, конечно же, выразил удовольствие быть знакомым с ними.

— Как вам удалось оставить прием начальника гарнизона? — спросил я Дэвида.

— Ничего сложного. Он мой двоюродный брат. А когда я узнал от ваших друзей, что вы больны, я пошел к нему и шепнул, что мне надо отлучиться по службе! Нехорошо лгать. Но… Да он и сам будет у меня! — улыбнулся лейтенант Дэвид.

Жил он в небольшом домишке за глухим глинобитным дувалом. Сколько ни был домишко небольшим, а все-таки был не походной палаткой. Уже это подчеркивало нашу ущербность. К тому же домишко стоял в середине цветущего сада.

Лейтенант Дэвид попросил прощения за небольшую отлучку, но отсутствовал он около часа. Я уже стал думать уйти, как наконец за дувалом послышался голос лейтенанта Дэвида. Тяжелая калитка отворилась. Одной рукой приподнимая перед высоким порогом подол, а другой придерживая шляпу на волосах медного цвета, во двор ступила юная особа, следом с теми же экзерцициями ступила другая юная особа, но темноволосая, а потом появился в калитке сам лейтенант Дэвид.

— Господин подполковник, прошу прощения! Но юные леди не знали сюда дороги. Мне пришлось их встречать, — тотчас извинился он.

— Да что вы, лейтенант! — простил я.

— Представляю вам, — сказал он им весьма торжественно на своем языке, но который я без труда понял, — представляю вам героя русской армии, настоящего воина, имеющего несколько ранений и высшую награду Российской империи!

Я прямо и с какой-то внутренней жадностью взглянул на обеих. Были они нельзя сказать, чтобы некрасивы. Но и красивыми их назвать было нельзя — разве что первой вошедшая была несколько интересней своей подруги. Та была — как бы это сказать по-русски, но без оскорбления, — та была простолицая. Только маленькое пенсне отличало ее от русских крестьянок. А у первой, как у всех рыжеволосых, сквозь тонкую и бледно-молочную кожу, особенно к носу, проступала краснота, впрочем, не только ее не портящая, а наоборот, придающая ее лицу нечто чистое и притягивающее.

— Честь имею, подполковник Борис Норин! — щелкнул я каблуками и откивнул.

— Борис? — снова с непривычной для нас, русских, артикуляцией губ и ударением на первом слоге спросила она.

“Борис, Борис!” — молча передразнил я ее и молча щелкнул каблуками.

— Ай эм Элспет! — протянула она мне ладошку в кружевной перчатке.

Я не разобрал ее имени.

— Виноват, леди! — переспросил я.

Она поглядела на лейтенанта Дэвида.

— Элспет! Елизавета по-шотландски! — улыбнулся он.

— Лизанька! — обрадовался я.

Лейтенант Дэвид перевел. Она зарделась и опустила глаза.

Вторую особу звали Энн, то есть Анна. Обе они были, как объяснил лейтенант Дэвид, работницами Красного Креста и прибыли в Месопотамию добровольно. Я вспомнил Ксеничку Ивановну и Машу. При этом мне представилась географическая карта, подчеркивающая расстояние, отделявшее меня от них.

— Ну-с, господа, прошу за стол! — по-русски сказал лейтенант Дэвид.

Он сел в начало стола, меня посадил подле себя с правой стороны, а Элспет — с левой, так что мы с ней оказались напротив друг друга. То обстоятельство, что в калитку он пускал и представлял мне первой ее, а не Энн, и то, что посадил он ее теперь подле себя, говорило об особом его к ней отношении. Я постарался угадать, относится ли она к нему как-то особо, и угадать не смог.

— У меня сегодня день рождения, друзья! — стал говорить лейтенант Дэвид по-английски и по-русски и стал говорить, что сегодня свой день рождения он видит в каком-то новом свете, что сегодня он стал чувствовать свой день рождения больше, чем день рождения, что он стал чувствовать, будто в этот день родилось еще что-то. — А что же родилось, друзья? — спросил он риторически, то есть самого себя, и сам стал отвечать: — Чтобы ответить, надо вспомнить, что год назад мы у себя встречали эскадрон, то есть, как принято называть в русской армии, сотню казаков, прорвавшихся к нам через абсолютно дикие и враждебные горы. Это было первой весенней птицей, после которой прилетели сегодня другие весенние птицы и по-настоящему обозначили весну, весну наших англо-русских отношений! За вас, Борис, за доблестную русскую армию, за доблестную английскую армию, за содружество, которое сегодня родилось! — сказал лейтенант Дэвид.

Мне показалось, что все выпили с искренним чувством.

— Лейтенант, расскажите о Борисе, о русской армии! — попросила Элспет.

— Я бы просил об этом самого Бориса! — сказал лейтенант Дэвид.

Я же вдруг уловил, что интерес Элспет ко мне особенен именно так, как особенно к ней самой чувство лейтенанта Дэвида. Мне стало обидно за лейтенанта Дэвида.

— Да, пожалуй, расскажу! — сказал я и прямо посмотрел в глаза Элспет.

Она выдержала взгляд. Я подумал про лейтенанта Дэвида — каково ему, если он это заметил. Мне вспомнилась история, рассказанная мне в детстве моей

нянюшкой.

— Позвольте, Дэвид, я скажу небольшое слово! — попросил я и далее рассказал эту историю.

В устах нянюшки она звучала так.

— Я, Боренька, еще в девках была и жила у тятеньки. Побежала я как-то в поле тятеньке обед отнести. Бегу я дорогой, тороплюсь, всюду надо поспеть крестьянской девушке. С утренней зореньки до самых запоздалых звезд на небушке — все ей работа. Всюду ей поспеть надо. Бегу я, тороплюсь. А вдруг при дороге старичок сидит ветхонький, годов уж, поди, сто ему. И вижу я, вроде он уже посидел и дальше в путь собрался. А увидел меня, пождал, пока я подбегу, и просит: “Девонька, а подсоби-ка мне котомочку мою на спину вскинуть!” — Посмотрела я. Котомочка совсем небольшая. И ему, хотя и ветхонькому, в самую пору с ней управиться. Я и подумала, балуется-де старичок, озорует. Я ему так и сказала: “Дедушка! Тебе ли над бедной девушкой озоровать! Тебе и заботы только — котомочку собрать. А мне от самой ранней зореньки до самых поздних звезд сорок сороков забот перетомить-перетолочь надо!” — Сказала я это да побежала дальше. А только мне в спину старичок и говорит. “Эх, девонька! И на том спасибо, сердечная! И вот так-то теперь у тебя и будет, что сколько бы ты ни трудилась, а никто твоего труда не увидит!” — “Эка, какой ты межевой старичок!” — подумала я да потом о нем тятеньке рассказала. Тятенька-то и вспечалился: “Да что же ты, девонька, понаделала, что же ты ему не сноровила! Ведь этак же мне смолоду было! Только я тогда старичку котомочку на спину вскинуть подсобил да еще хлебушка отломил! А котомочка-то у него хоть с виду малехонька, да на деле-то ох тяжелехонька! Вдвоем-то мы ее вскинули. Он мне и сказал: “Тебе, детинушка, теперь хоть лапоть о лапоть обопнуть, а все увидят — труды многие тобой свершены. А уж если и впрямь за что возьмешься, то будет тебе во всем успех и прибыль!” Непростой это старичок, девонька!” Так-то мне сказал тятенька. И вправду ему был во всем талан. Все у него было сноровно. Вольную ему барин дал. Землица была при нас. Пасеку он обустроил, меду на базар бочками возил. Два коня и четыре коровушки мы содержали. А мне талану не было. Я и в церкву ходила, и на крылосе пела, и на богомолье ходила. А счастья не было. Кого я любила, взяли в солдаты. Кто ко мне сватался, тех я на дух не хотела. Верно бы, и в монастырь ушла. Да вот твоя матушка уговорила меня к вам в дом пойти, вас поднимать. Прикипела я к вашему дому. Так век-то мой у вас и прошел. И Гришу, и Сашу, и Машу я подняла. А вот тебя подниму, носочков вот тебе да варежечек по дюжине навяжу, в ножки поклонюсь да пойду в монастырь, пойду Богу послужить, грех свой, гордость свою, замолить.

Такой была история, рассказанная моей нянюшкой. Была она подлинной, или была она всего лишь народной притчей, мне не было дела. Тогда при ее рассказе я весь сжимался и не мог дышать — так мне было жалко мою нянюшку. Но подойти, обласкать ее я отчего-то не мог, а только, оставшись вечером в одиночку в своей комнате, плакал и просил Боженьку дать ей того самого “талану”, который был у ее тятеньки и которого не было у нее. И сейчас я рассказал ее притчу, забыв, что хотел уязвить Элспет, показать ее неправоту по отношению к лейтенанту Дэвиду, и

рассказал, завершив здравицей.

— Господа, — обратился я к Трем Ди. — Давайте, господа, попросим Бога нашего быть более милосердным к нашим прелестным созданиям, — я показал на Элспет и Энн. — Давайте, господа попросим для них у Бога счастья. Попросим, чтобы и утренняя заря, и запоздалые вечерние звезды говорили не о трудах, им предстоящих, а о том, что труды их будут всеми замечены и по достоинству оценены!

Лейтенант Дэвид перевел последние мои слова, и они вызвали у всех восторг. Каждый из Трех Ди постарался высказать им свои уверения в самых искренних чувствах и готовность быть их рыцарями, как то водилось в доброй, старой Англии. Чуть страсти поугасли, Элспет что-то сказала лейтенанту Дэвиду, тот немного побледнел, но тотчас взял себя в руки.

— Борис, — сказал он, и я понял, сколь трудно ему быть спокойным. — Мисс Элспет в благодарность за ваше такое необычное пожелание, которое она запомнит на всю жизнь, приглашает вас завтра к ним с Энн. Мисс Элспет хорошо поет. И она для вас исполнит несколько старинных шотландских баллад!

Я посмотрел на Элспет. Взгляд ее был напряжен так, что глаза стали темно-синими. Я посмотрел на лейтенанта Дэвида. Он, кажется, стал что-то понимать.

— Благодарю! Но, к сожалению, я не могу принять приглашения. Служба. На мне два казачьих полка и артиллерийская батарея! — сказал я.

Лейтенант Дэвид перевел. Элспет выслушала и, вопреки моему ожиданию, не переменилась.

— Она приглашает всех нас. Она очень просит вас быть! — сказал ее слова лейтенант Дэвид.

Я в досаде пошевелил кинжалом.

— Но вы сами, Дэвид, вы сами там будете? — спросил я.

— Да, Борис. Я буду там непременно, — сказал лейтенант Дэвид, а я подумал, что он за Элспет пойдет хоть под расстрел.

И еще я подумал — как тяжело быть при рождении чувства твоего любимого человека не к тебе, а к другому. Я нашел в себе силы снова отказать и как бы вдруг спохватился:

— Да мне и сейчас уже надо быть в батарее! — воскликнул я.

Меня не захотели слушать. Я отвел лейтенанта Дэвида немного в сторону и сказал, что мне не надо приходить. Он отвел глаза.

— Мисс Элспет очень просит вас быть, Борис! — сказал он, помолчал и с прерывистым вздохом прибавил: — Обо мне не беспокойтесь, Борис! Я все вижу. Считайте себя и ее свободными!

— Дэвид! — сказал я.

— Она очень достойная девушка! — остановил меня лейтенант Дэвид, хотел

подыскать еще какое-то для Элспет определение, но лишь мучительно улыбнулся: — Она очень достойная, Борис!

На другой день он снова приехал за мной. Я взял с собой вестового Семенова.

Все было у Элспет превосходно. Она чудесно пела старые шотландские баллады. Энн поведала о безысходной участи шотландских поэтесс — прошу простить меня за это некрасивое слово. Для меня было новым узнать, что в Шотландии сложилась целая школа женской поэзии.

— И если мужчин-поэтов вся Шотландия не только знала, но и боготворила, — сказала Энн, — если она преклонялась перед именами Фергюссона, Шенстона, Бернса, то она совершенно не обращала внимания на поэтов-женщин. Более того, она считала их порочными!

Я слушал ее, смотрел на Элспет и вспоминал Машу, наш бехистунский вечер, дуэль с подполковником Дыдымовым, который вскоре после дуэли умер в лазарете. И не жара была тому причиной. Он схватил лихорадку и желтуху. Надо полагать, и приступ его злобы против меня был следствием этих болезней. Я вспоминал Машу, всю в трепетном пламени ее чтения. “Ночи белы. Ветры сини над Россией, над Россией. И идут по травостою белой ночью, тьмой пустою…” — читал, вернее, вспоминал я ее строки. Я видел ее, смотрел на Элспет и говорил себе, какие симпатичные люди лейтенант Дэвид, два его друга Ди, какая симпатичная Энн. Семенов невероятно всего стеснялся. Ему явно было плохо в его новом положении — быть равным в компании офицеров.

При прощании Элспет вышла проводить нас. Семенов с лошадьми отошел вперед. Мы оказались одни. Я ощутил тепло ее тела. До меня доносилось ее дыхание. Хотя, может быть, это я придумал позже. Она молчала. Наверно, она не знала, что сказать, или ждала чего-то от меня. Я не находил ни одного слова. И я вдруг попытался ее обнять. Я сделал это как-то так неловко, что ткнулся сначала руками в ее грудь, испугался этого и еще более неловко ткнулся губами ей около носа. Она нежно, будто ждала моего порыва, отстранилась.

— Простите, Лизанька! — сказал я, весь в пламени стыда, и шагнул к Семенову.

Она вдруг догнала меня, сильно-сильно обхватила, обвила, прильнула к моим губам и так же вдруг оставила меня. И если бы не ощущение долгого прикосновения ее губ к моим губам, я мог бы подумать, что меня просто обвил ветер.

Ехали мы молча. Уже в батарее вестовой Семенов, придерживая Локая, пока я спешивался, сказал:

— Ваше высокоблагородие, я никогда этого не забуду!

— Ты о чем, Иван? — спросил я.

— Вы знаете! — сказал он.

Я понял, чего он собирался мне никогда не забыть, и втихомолку улыбнулся.

— Спать хочется! Проследи, пока коней привязываешь, чтобы повод коротким

не был! — сказал я.

— Прослежу, ваше высокоблагородие! — сказал он.

Я легко и крепко заснул. Проснулся я в темноте еще не ушедшей ночи. Мне было очень хорошо.

Глава 17

Утром нас снова собрал Владимир Егорович. У него уже были и подполковник Ричард, и лейтенант Дэвид.

— Господа, имею прискорбие доложить… — начал говорить Владимир Егорович.

— Наш рейд закончен! — шепнул я есаулу Кусакину.

Владимир Егорович по-лошадиному скосил на меня взглядом.

— Вот сообщение из Петрограда, господа, любезно переданное нам господином Макникейлном! — Владимир Егорович немного повернулся к подполковнику Ричарду, взял в руки листок. — Сообщается, что вчера наш государь-император отрекся от власти в пользу своего сына царевича Алексея!

— Интрига, господа! — выкрикнул я, тотчас вспомнив прошедший декабрь, записку с гнусной угрозой всей императорской семье, показанную мне Колей Корсуном.

В общем цепенелом молчании Владимир Егорович снова посмотрел на меня. Взгляд его был сух и чист.

— По данному обстоятельству есть высочайший манифест, — Владимир Егорович снова полуповернулся к подполковнику Ричарду. — Подполковник Макникейлн любезно предложил нам свои средства связи, чтобы мы могли связаться с корпусом. Возможно, командир корпуса Николай Николаевич Баратов знает гораздо подробнее. Я сейчас же еду в штаб союзнического гарнизона. Борис Алексеевич! — посмотрел он в мою сторону. — Вас я просил бы поехать с нами. Вас же, господа, — он глянул на всех, — я призываю к спокойствию и прошу нести службу в прежнем соответствии с уставами и присягой!

Он взял со стола несколько бумаг. Мы молча пошли из палатки. Все без команды встали, и некоторое время, пока я ждал вестового Семенова с Локаем, в палатке было тихо. “Ложь и интрига!” — сказал я себе и вспомнил Элспет. Со вчерашнего вечера она была со мной неотступно. Сейчас я ее вспомнил, вернее, не вспомнил, а увидел ее, убегающую после поцелуя. Ни царя, ни Элспет! Отчаяние невольно прошло по мне, но я упрямо сказал: “Ложь и интрига!” Пока ехали к подполковнику Ричарду, пока его связисты устанавливали связь с нашим корпусом, эти слова снова и снова приходили мне. Наконец корпус ответил. Подполковник Ричард перебросился несколькими словами с майором Робертсом, а потом трубку взял Коля Корсун.

— Ну, как вы там? С утра горячая какава и горячий мармелад? И может быть, хорошенькие вавилоняночки? — радостно закричал он.

— Хорошенькие, хорошенькие! Какие известия из Петрограда? — закричал я в ответ.

— Стоит Петра творенье! А что? — снова прокричал Коля Корсун.

— Что известно вам? Что там делается? — закричал я, стараясь ничем не выдать тревоги, как-то по-дурацки веря, что если я не произнесу страшных слов, то и ничего страшного не произойдет.

— Да что там делается! — насторожился Коля Корсун. — Что в столице может делаться, когда там собрались одни подонки? Шумит, брат, шумит столица! На фронт не хочет! Ты это знаешь. Что еще?

— Ну, так ничего там не происходит? — чуть-чуть успокоил я себя.

— Ну, происходит, Борис, происходит! Все жрать требуют, и в основном, как сообщается, требуют жрать представительницы прекрасного пола! Да что ты об этом спрашиваешь? У вас там, в Вавилоне, что, делать нечего? Ты мне лучше про вавилоняночек расскажи! Каковы? Хороши? — перешел на ернический тон Коля Корсун, а я так и не понял, то ли он ничего не знает, то ли знает, но не хочет беспокоить нас.

— Да какие вавилоняночки! — рассердился я.

— Разве ты не знаешь? Каждая женщина древнего Вавилона была обязана однажды уйти в храм и там отдаться любому, кто ее пожелает! — опять съерничал Коля Корсун.

— Ну, так все в Петрограде в порядке? — спросил я.

— Все в порядке в Петрограде, Борис. В таком порядке, что нет на них Меллера-Закомельского, как в пятом году! — немного посерьезнел Коля Корсун.

— А в корпусе? — спросил я.

— У нас на самом деле все в порядке. Давайте возвращайтесь скорее! А то завидки берут, да и соскучился я по тебе, — сказал Коля Корсун.

— Василия Данилыча видел? — спросил я.

— Да как же его увидишь, с его партизанской сотней? Нет, конечно! Давай сам приезжай! Вместе вытащим его из какой-нибудь дыры. Хватит ему кровушку басурманскую проливать! Со старыми кунаками покутить надо! — сказал Коля Корсун.

— Государь-император где? — открылся я.

— Полагаю, в Ставке. Подождите, ваше высокоблагородие. Сейчас велю их величеству выйти на связь! — хохотнул Коля Корсун и вдруг воскликнул: — Да, погоди! — А я от его восклицания, по моему мнению, долженствующего принести известие об отречении, озяб, как в лихорадке. — Погоди, Борис! Как вы там? Что-то нет ничего определенного насчет общих наших с любителями какавы действий!

— Пока ничего не известно, — сказал я и от нахлынувшего облегчения едва не уронил трубку.

Владимир Егорович вонзился в меня взглядом:

— Что?

— Государь в Ставке. Питер временами шумит! — нашел я силы сказать.

— Слава тебе, Господи! — перекрестился Владимир Егорович.

— Ваши ничего не знают? — спросил лейтенант Дэвид.

— А ваше сообщение не может быть провокацией? — тоже спросил я.

— Подполковник Макникейлн счел нужным передать вам то, что было сообщено ему из штаба нашего командующего генерала Мода, — кажется, обиделся на мой вопрос лейтенант Дэвид.

— Да, конечно. Прошу прощения за неловкость. Я имел в виду провокацию со стороны немцев, — извинился я, помолчал и больше для себя, чем для лейтенанта Дэвида, сказал: — Не понимаю!

Я в самом деле не мог понять. Я не мог поверить в сообщение. Я не только не мог впустить в себя слово “отречение”. Я не мог выговорить его. От него веяло могильным холодом древности. Оно уничтожало нечто такое, без чего жить было нельзя. “Ложь и интрига!” — подумал я.

День тягостно потянулся. Подполковник Ричард передал, что генерал Мод готовит нам встречу, но вызвать покамест не может из-за отсутствия согласований с нашим командованием.

— Какие согласования? Мы сюда что, без всякого плана операции пустились? — спросил меня Владимир Егорович.

Я пожал плечами. Сообщение о согласовании прибавило мне тревоги. Оно как бы подчеркнуло правдивость первого сообщения. Я же упрямо себе повторял: “Ложь и интрига!”

— Союзнички! — стали говорить кругом.

Всем нечем стало заняться. Все понурились, будто в ожидании покойника. Как всегда в таких случаях, кроме хозяйственных дел я объявил батарее строевую подготовку и джигитовку, а вечером обязательное хоровое пение. Я стал думать, как мне встретиться с Элспет. Господь нас не сводил. Узнать о ней у лейтенанта Дэвида я не мог. А у подполковника Ричарда она не появлялась. Я стал думать, что он ее услал куда-нибудь подальше от меня. Каждый день мог прийти приказ о нашем возвращении в корпус.

— А не развеяться ли, Борис Лексеич? Не сходить ли в какую их чайхану? — стал просить сотник Томлин.

Я уступил. Вчетвером вместе с есаулом Кусакиным и подъесаулом Храповым мы поехали в караван-сарай.

А когда несколько навеселе от местной араки вернулись, нам навстречу от сибирцев побежал дежурный офицер.

— Господа! Ваше высокоблагородие господин полковник!1 — издали замахал он остановиться. — Господин полковник! Просьба срочно прибыть к начальнику гарнизона, к этому, к подполковнику Мак… прошу прощения, не выговорить! Наш Владимир Егорович уже там! Владимир Егорович очень просил вас найти и известить!

— Едрическая сила! — сказал я.

И, видимо, я сказал это так, что все внимательно и растерянно посмотрели на меня. Я, холодея от своей догадки, едва им кивнул.

— Мы — с вами, Борис Алексеевич! — сказал есаул Кусакин.

Я снова кивнул. Кроме только что сказанного слова “нет”, я ничего не мог сказать. Под взглядами уже увидевших нас батарейцев мы круто повернули коней в город. И когда мы подъезжали к комендатуре, Владимир Егорович со своими офицерами уже садились в седла.

— Борис Алексеевич, как неурочно вы отсутствовали! — с упреком сказал он.

Я молча подъехал.

— Впрочем, это ничего не меняет. Вот! — он вынул из планшетки листок бумаги.

Я молча взял. Листок оказался телеграммой из корпуса на мое и его имя. Пропуская входящие и исходящие номера, я сразу взглянул на дату. Телеграмма была отправлена вчера, пятого марта. Она гласила: “От Председателя Совета Министров князя Львова получена телеграмма следующего содержания”. И дальше шел текст, который я стал читать так, как он был в телеграмме из корпуса, то есть со словесным обозначением знаков препинания. У меня вышло: “две точки кавычки Второго сего марта последовало отречение от Престола Государя Императора Николая Второго за себя и своего сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича точка Третьего марта Михаил Александрович отказался восприять верховную власть впредь до определения учредительным собранием формы правления и призвал население подчиниться Временному правительству запятая по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти впредь до созыва Учредительного собрания запятая которое своим решением об образе правления выразит волю народа точка Председатель Совета Министров князь Львов кавычки точка Изложенное сообщается для прочтения офицерам и нижним чинам точка”.

Глава 18

Я снова прочитал телеграмму, прочитал, вычленяя знаки препинания из произношения. Ничего нового мне это не дало. Оскорбительное сочетание “последовало отречение” оставалось таким же оскорбительным. Только теперь оно не душило. Я поднял глаза на Владимира Егоровича, перевел взгляд на моих товарищей, ждущих от меня известия и, возможно, обманутых моим поведением. Я протянул телеграмму есаулу Кусакину. От него она пошла по субординации, простите, — к подъесаулу Храпову, а потом — к сотнику Томлину. Пока они читали и передавали телеграмму друг другу, я не смотрел на них. Я только слышал, как поскрипывали седла и переступали кони в момент передачи телеграммы.

Я смотрел на британцев, туда и сюда проходящих мимо нас. Мне стало казаться, что все они знали и все смотрели на нас с сочувствием, в котором я не мог не прочесть вопроса: “Ну, и у кого теперь Кут-Эль-Амара?”

И мы убрались из британской комендатуры восвояси. За всю дорогу я только спросил Владимира Егоровича, не было ли из корпуса каких-либо приказов.. Он ответил, что не было, но явно вот-вот последуют. Все вокруг было пусто, как в химической колбе с откаченным воздухом.

— Я читать телеграмму в батарее не буду! — сказал я Владимиру Егоровичу.

— Нет уж. Давайте враз на вечернем построении и зачитаем! — возразил он.

Читал в батарее телеграмму есаул Кусакин. Батарею пригнуло. Я ночью вышел проверить посты и слышал — мало кто спал. Люди молча ворочались, нашептывали молитву, вздыхали. Я вернулся в палатку, разделся и лег. Мне захотелось что-то вспомнить из детства, как получилось днем, что-то вспомнить из службы, вспомнить Раджаба, Павла Георгиевича, бутаковцев, Леву Пустотина, брата Сашу, Ксеничку Ивановну, Машу Чехову — да кого угодно, лишь бы вспомнить. А вспоминать не выходило. Всплывали в памяти только их имена и лица. Всплыв, они тотчас исчезали. Никак они не могли удержаться в пустой химической колбе. Я захотел подумать о будущем — хотя бы о ближайших днях, захотел представить, что теперь с нами будет. И тоже у меня ничего не вышло. Не вспоминалось мне и не думалось.

В какое-то время, в которое я, видимо, стал задремывать, мне стали приплывать картинки серого берега, серых волн, разноцветья окровавленных азиатских одежд в волнах — картинки расстрела Наполеоном пяти тысяч египетских мамлюков. Обрывками в эти картинки стали вплетаться слова сотника Томлина об Азии, сказанные, когда он шел рядом с санитарной фурой, в которой лежал я. Он говорил о каких-то трех сыновьях какого-то хана Якуббека, чьи имена были совершенно разные в произношении, но имели одно и то же значение. Все они значили в переводе Раб Божий. Эти картинки кое-как сложились в короткую мысль о государе-императоре, о том, что и он тоже Раб Божий. Я зашептал “Отче наш”. Из глаз в уши мне потекли горячие слезы.

— Нет! Ложь! Все ложь! — стал я шептать слова генерала Скобелева, вспомнив, что шептал их все в той же санитарной фуре. — Все ложь! Нет ни семьи,

ни дома, ни какого-то пристанища! Все только бивак, бивак! И теперь нет государя-императора? Нет! Все ложь! Есть империя! Есть государь-император! Есть армия! Есть я сам!

И я снова шептал молитву за молитвой, которые приходили на ум, без всякого их строя, то есть какого-либо порядка. И когда пришел девяностый псалом, любимый Александром Васильевичем Суворовым, выученный мной во второе мое пребывание в Горийском госпитале и теперь обрывками вспоминаемый, этот псалом не показался мне светлым. Он показался мне мрачным.

Утром химическая колба без воздуха вернулась. Утром же ординарец лейтенанта Дэвида принес записку от Элспет, переведенную на русский язык самим лейтенантом Дэвидом. Элспет соболезновала нам и от имени Энн приглашала меня быть у них с Энн на небольшом пикнике по случаю дня рождения Энн. Разумеется, я сразу заподозрил барышень в невинном, однако же обмане. Это заставило меня улыбнуться. И более, конечно, я улыбнулся в предвкушении встречи с Элспет. Я не мог сказать, что я влюбился. Мне просто было хорошо от ее чувства. Во мне от ее чувства поселилась какая-то радостная гордость. Я как бы стал выше себя, как бы стал чище себя и значимее себя. Я сказал, что я непременно буду.

Ординарец отбыл. Я выслушал доклад есаула Кусакина о делах в батарее. Он доложил и смолк — смолк, наверно, в ожидании, что я начну разговор об отречении. Я молча же отпустил его. Подошел после к палатке сотника Томлина и похлопал по пологу, закрывающему вход. Стенки палатки были подняты. Я видел его. И он видел меня. Но он все-таки похлопал по пологу, изобразил, так сказать, стук, потом нагнулся и вошел в палатку через поднятую стенку.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — серьезно сказал он.

— Что так торжественно? — спросил я.

— А напоследок. Небось, скоро будем мы какие-нибудь граждане офицеры или, того тошнее, и офицерами-то не будем! — сказал он.

Я смолчал.

— Когда домой, ничего не слышно? — спросил он.

— Домой — в корпус? — спросил я.

— Пока — в корпус. А там какое-нибудь замирение объявят эти, как в телеграмме, забыл, простите, ваше высокоблагородие! — сказал он.

— Временное правительство, — подсказал я.

— А, да! Временное! Я ночь-то не спал, прикидывал, что будет. Ничего хорошего не будет. Нам, по крайней мере, не будет, — сказал он.

Я снова промолчал.

— Ладно, ваше высокоблагородие. Разрешите идти? Не убивайтесь. Казаки в батарее все против этого временного, — сказал он и при последнем слове презрительно выгнул губы. — Временного! — повторил он и плюнул. — А ведь смута будет, ваше высокоблагородие! Ведь заставят этому временному, — он опять в

презрении выгнул губы и изобразил голосом козье блеянье, — этому временному присягать!

— Знаю, — сказал я.

— А казаки откажутся! А армия откажется! А мужики сдуру присягнут! Это чья-то интрига! — сказал он, пождал моего ответа, не дождался и ушел.

За весь день я только того и сделал, что съездил к Владимиру Егоровичу, выпил у него чаю и, вернувшись, опять залег в палатке. Двенадцать лет назад я вопреки себе вышел с классом радоваться так называемым свободам, якобы дарованным народу государем-императором, а на самом деле вытребованным у него врагами империи. Я тогда не выйти не мог, потому что считал товарищество частью служения государю-императору. Сейчас я начал понимать, что присягнуть этому временному правительству я не смогу, если даже присягнет весь корпус во главе с Николаем Николаевичем Баратовым, то есть присягнут все мои товарищи. Последствия этого представить было просто. Я превращался в частного гражданского человека, в шпака, имеющего перед военным — по моем юношеском представлении, собственно, не очень-то изменившемся, — только одно преимущество, преимущество каждый вечер ложиться спать в одну и ту же постель и с женой. Я не принадлежал к кавалерии и тем более не принадлежал к гвардии, среди которых презрение к гражданским лицам доходило до абсурда. Пехота и мы, артиллерия, к гражданским лицам были более терпимы. Но лично я не мог себя видеть частным гражданским лицом. И не в том было дело, что я вынужден был бы исподние брюки по-граждански именовать кальсонами, вместо получения довольствия денщиком по-граждански “нанимать прислугу” и вместо соблюдения правил для содержания себя в чистоте и порядке по-граждански “мыться, причесываться или ходить в баню”, а вместо нарушения общественного в публичном месте благочиния по-граждански “пьянствовать и безобразить”, — такова была разница в военном и гражданском языках. Не в этом ерническом сравнении было дело. Его я прошу простить. И допустил я его только по той причине, что без него мое объяснение, почему я не мог стать частным гражданским лицом, выглядело бы напыщенностью. Я просто не видел себя никем и не мог быть никем, кроме человека в военной службе.

Я весь день переживал свой будущий уход из военной службы. Я рисовал картины беспросветного моего прозябания в комнатке нашего истопника и дворника Ивана Филипповича. Потом я рисовал мое бытие на Бельской даче то в одиночку, то с кем-то из женщин — хоть с той же Валерией, с восторгом пошедшей бы за меня замуж, а потом бы меня за мое прозябание проклявшей. В эти минуты я не помнил, что она была богата, что она была приближена к графине Бобринской, что вступление в брак с нею прозябания не предполагало.

— Да черт вас возьми! — вскричал я, адресуя слова государю-императору. — Черт вас возьми! Что за причина! Ведь триста лет! Ведь правили триста лет — и в один миг! Мы здесь, мы грязные, как вши, солдатики, мы серая скотинка, без жалоб, без просьб, без отпусков служим, кладем свои жизни! А ты там!.. — И что “там”, я не знал, но отчего-то был уверен в абсолютной невозможности отречения от престола, даже если “там” было престол удержать невозможно.

Потом мне рисовались фантастические картинки нашего — моего личного — вмешательства в дела государя-императора, наш поход на Петроград и возвращение престола.

— Прийти и всю эту сволочь вместе с советом министров вымести! — представлял я и вспоминал из истории, как в такое же смутное время, завершившееся воцарением нынешней династии, обошлись с Лжедмитрием Первым, с Гришкой Отрепьевым. Семнадцатого мая тысяча шестьсот шестого года много терпевший народ просто-напросто ворвался в Кремль и растерзал самозванца, заодно растерзал и его любимца, сподвижника и клятвопреступника Басманова. — Вот и этих клятвопреступников — так же! Вместо того чтобы остановить государя от гибельного шага, они тотчас в злобной радости пустились рассылать по войскам телеграммы! Судить всю эту сволочь и вздернуть на толстом осиновом суку! — говорил я.

Такие мои картинки не были годны даже для воображаемого мной альбома князя Гагарина. Они были решительно несбыточны. Но они как бы подталкивали на подобный поход тех, кто был рядом с Петроградом, подталкивали, если изъясняться образами смутного времени, на деяния Минина и Пожарского. Я рисовал себе возмущение командиров и начальников тех воинских частей, которые были рядом с Петроградом, их решительное выдвижение в Петроград, арест этой клятвопреступной сволочи, восстановление законного престола и с ним восстановление порядка.

Вместе с картинками в какой-то час мне замелькало число семнадцать. Семнадцатого мая шестьсот шестого года — свержение Лжедмитрия, то есть Гришки Отрепьева. Семнадцатого декабря прошлого года — убийство Гришки Распутина, по слухам, сказавшего, что его кончина станет концом империи. Семнадцатый — нынешний год. Мистиком, как это распространилось в последние годы в гражданской среде, я не был. Я любил числа только такие, которые мне позволяли опередить противника в стрельбе. Потому всю зряшность совпадения трех чисел “семнадцать” я понимал. Но как-то странно приятно было эти три числа “семнадцать” между собой связывать. Это было декадентством. Я декадентства не переносил. Но числа пульсировали отречением и были началом моего конца. Они меня выбивали из военной службы. Они лишали меня товарищества. Они обрекали меня на частное гражданское существование. И они странно заполняли пустоту.

В назначенный час приехал лейтенант Дэвид.

— Лейтенант, скажите прямо, я вам мешаю? — спросил я.

Он, стремительно краснея, отвернулся, некоторое время не отвечал, потом, глядя только перед собой, на чутко прядавшие уши своего коня, сказал не совсем складно:

— Мисс Элспет не разделяет моего чувства. Я же не позволю себе добиваться ее по каким-то другим обстоятельствам, кроме ее ответного чувства.

— Мы скоро уедем, — сказал я.

— Нет. Вы бы видели ее в эти дни! Я вас прошу, поберегите ее. Если вы ее

любите, я вам помогу во всем. Если нет… — он замолчал.

— Вы знаете, что случилось у нас. И неизвестно, что будет впереди, — сказал я.

— Это не может быть препятствием! — сказал он.

Мне показалось, что мои слова он принял за нечто оскорбительное для Элспет.

— Лейтенант, — сказал я. — Лейтенант, я не смогу изменить государю и присягнуть какому-то временному правительству. А что из этого следует, вы хорошо понимаете.

— Это не препятствие! — воскликнул он. — Это не препятствие, Борис! Если вы ее любите, это не препятствие!

— Но я… — хотел я сказать о последующей моей гражданской судьбе без товарищей и средств.

— Не пре-пят-ствие! — снова воскликнул он.

— Да как же! Я буду частным лицом, без службы, без средств и без дома! — тоже воскликнул я.

— Все это решить можно очень просто! Если вы действительно любите мисс Элспет, это решить очень просто! Вы не останетесь один! — сказал он.

Я вдруг увидел — разговор об Элспет, само произношение ее имени ему необходимы. Я увидел — он не мог о ней не говорить. Он любил ее. Радостная гордость моя от того, что Элспет любит не его, а меня, перехлестнула во мне через край. Я не мог не быть великодушным.

— Вы ее любите. Я сегодня же с мисс Элспет объяснюсь. Я ей внушу, что ее любите именно вы, а не я! — сказал я.

Рослая английская лошадь лейтенанта Дэвида вдруг ткнулась мордой Локаю в ухо и тихо всхрапнула. Локай в недоумении — иного и сказать нельзя! — Локай в недоумении мотнул головой. Лейтенант Дэвид дал лошади поводом немного в сторону. Я улыбнулся.

— Вы сделаете больно мисс Элспет! — сказал лейтенант Дэвид.

— Но как же вы? — спросил я.

— Не заставляйте меня говорить, что у меня нет никаких шансов, и от этих слов мучиться! — снова стремительно покраснел он. — И потом… — он запнулся. — И потом, идет война. Один Господь знает, что будет со мной завтра!

— Так ведь война и для меня! Да еще это!.. — сказал я, имея за обрывом слов слово “отречение”.

— Борис! Вам должно быть стыдно оскорблять чувство такой девушки, как Элспет, своими… как это… своими Wortwecksel! — потерял терпение лейтенант Дэвид.

— Пререканиями, — подсказал я.

— Да, — кивнул он.

— Но, Дэвид… — хотел я сказать о довольно необычной ситуации между нами.

— Борис, Sie haben ein Gemut wie ein Fleischerhund! Вы бессердечны, Борис! — оборвал он.

— Пожалуй! — буркнул я себе под нос.

Спесь моя, однако, с меня ссыпалась, едва я увидел Элспет.

По другую сторону городишки, куда мы приехали, был сад — кажется, гранатовый. Он запорошен был мелкими сероватыми и розоватыми цветами и был, наверно, из-за войны брошен. Густая трава тянулась к нижним ветвям деревьев. Возле сада расположилась британская служба Красного Креста. Здесь, на временно оборудованном плацу с флагштоком, были расставлены столы. Среди сестер Красного Креста толпой стояли с десяток офицеров. Поодаль в походной кухне готовил на стол знакомый сипай-повар. Я поздравил Энн. И мы с лейтенантом Дэвидом встали от всех поодаль, оба захваченные единым чувством к Элспет. На нее, пребывающую около Энн, я глядеть не смел. Да, кажется, и она на мня не взглядывала. Я набычился. За стол мы сели порознь. Ее с Энн окружили несколько офицеров. А мы с лейтенантом Дэвидом нашли место в отдалении. Энн было запротестовала. Но я резко возразил, конечно же, обидев ее. Наша позиция оказалась хорошей. Я осмелел и стал ревниво смотреть на Элспет. Ей при соседях-офицерах справа и слева смотреть в нашу сторону было сложнее. Я озлился. Лейтенант Дэвид внимательно посмотрел на меня. Я показал, что ничего не случилось. Он поверил. Ему было тяжело. Я подумал, что я на его месте быть бы не смог. Мне захотелось сказать, что до встречи с ним я не любил британцев. И хорошо, что я этого не сказал, — мое признание могло быть принято в ином смысле. Оно могло быть принято так, например, будто я их стал любить, потому что лейтенант Дэвид познакомил меня с Элспет. Да, собственно, сказав, что я их стал любить, я бы солгал. Я совсем не стал их любить. Чтобы не объясняться, я смолчал.

Не знаю уж почему, но и это застолье, как и у лейтенанта Дэвида, получилось холодноватым — не в пример нашим если и не буйным, то бурным. Впрочем, мне не было дела до этого. На взгляд со стороны мы с лейтенантом Дэвидом сами были переполнены холодом и скукой. Мы молча поднимали наши стаканы с виски, молча закусывали и молча, стараясь приветливо, улыбались всем, кто на нас взглядывал.

А случилось все в единый и долгий миг.

Я видел — Элспет улыбнулась своим соседям. У меня бухнуло сердце. Элспет отложила салфетку. Оба соседа встали. Встала и она. Сердце бухнуло снова. Что было с лейтенантом Дэвидом, я не видел. Элспет встала, в порыве вышла из-за стола. “Оскорбили!” — вздрогнул я. Элспет в порыве вышла, еще раз улыбнулась своим соседям, растерянно оглянулась на Энн и в порыве пошла к нам. “К нам?” — не поверил я.

— Плиз! — протянула мне руку Элспет.

Я не понял, что обозначал ее жест. Я поднялся ей навстречу. Наверное, за столом прошел ропот. Но мне показалось, что прошумели деревья в саду. Да, собственно, было все равно — стол или деревья. Я поднялся навстречу. Элспет взяла

меня под руку, и мы пошли в сад. Я увидел коноплю и крапиву. Я почуял их запах и опять удивился — удивился тому, как же может быть так, что деревья еще в цвету, а трава уже высока. Мы вошли в траву. Мы ушли далеко в сад. Я оглянулся. Сад за нами замкнулся. Никого и ничего не было видно. Элспет остановилась. Я все отчетливо видел. Я не буду об этом говорить. Об этом все равно не сказать так, как было.

Объяснялись мы посредством карандаша и бумаги из моей планшетки. Она трижды написала по-английски слово “люблю”. Мы сидели на моей черкеске. Портупея с кинжалом и шашкой лежала рядом с планшеткой. Ремни портупеи с ремнями планшетки перепутались и повисли на траве. Трава, конопля и крапива высоко вздымались над нами. Элспет подала мне листок с трижды написанным словом. Я ткнул себя в грудь, отдал листок ей и сказал ее слово по-русски. Только после этого я испугался — не соврал ли. Быстро принятое в бою плохое решение лучше потери времени в поисках решения хорошего. Оно, быстро принятое, идет от сердца. Я не соврал. Я сказал Элспет “люблю”. И мы не стали знать, что делать. Мы загнали себя в угол. Мы захлопнули дверь. Никуда более дороги нам не было. Мы слились воедино. Поодиночке нам дорога была везде. Слитым воедино, нам никакой дороги не предстояло.

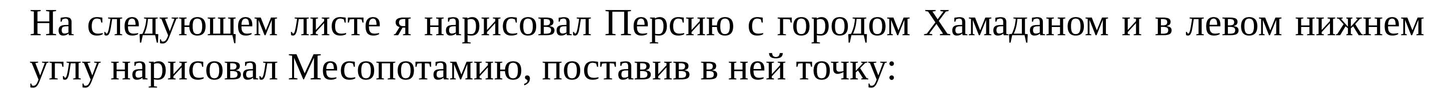
Мы были, наверно, с час. Поднялись мы, полные друг другом и пустые друг другом. Я поднял черкеску. Элспет снова взяла карандаш. Прежний листок был весь нами исписан и изрисован. Она его отложила себе. Я взял из планшетки другой. Она написала свой адрес — и Красного Креста, и домашний, в Шотландии, в городе Келсо, о котором я даже не слышал. Город сразу стал мне близким. Она попросила мой адрес. Я дал адрес корпуса и адрес сестры Маши в Екатеринбурге. В этом обмене адресами было какое-то бессилие, какая-то ложь, непризнание того, что на самом деле свершилось и что нам предстояло, непризнание нашего расставания. Этим обменом мы взялись обмануть самих себя и обмануть судьбу. Кроме прошедшего мига, у нас ничего не было. А мы делали вид, что у нас есть завтрашний день, у нас есть будущее. Кроме этого укромного уголка в чужом гранатовом саду, кроме гнездышка в высокой траве, у нас ничего не было. Кроме воспоминания, у нас ничего не было. Не было — потому что была война и было отреченье. А мы убеждали себя, что теперь у нас все будет. Мы приобрели только воспоминание, а стали обманывать себя, что приобрели будущее. Она к своему адресу приписала слово “люблю” и попросила написать это слово меня. Я написал. Она пальчиком прикоснулась к каждой букве и с вопросом поглядела на меня. Я произнес каждую. Она повторила. Потом она прижала мою ладонь к губам и довольно чисто сказала:

— Люб-лю!

Потом она нарисовала контур Великобритании и на севере ее, как я мог определить, где-то около Эдинбурга, поставила точку.

— Келсо! — сказала она.

Я взял новый лист, во весь его нарисовал нашу империю, кружочком обозначил Петербург, или, по-нынешнему, Петроград, и кружочком обозначил Екатеринбург.



На следующем листе я нарисовал Персию с городом Хамаданом и в левом нижнем углу нарисовал Месопотамию, поставив в ней точку:

— Вот мы здесь!

— Вот мы здесь! — повторила она за мной.

— Это Россия. Это в России Екатеринбург, мой город, — ткнул я себя в грудь. — А это Персия, это Хамадан, где мы располагаемся штабом, — я снова ткнул себя в грудь. — А это мы! Вот мы здесь!

— Вот мы здесь! — сказала она. — Вот мы здесь! Люблю!

Ее зеленые глаза были чисты. Она снова прижала мою ладонь к губам.

— Борис! Люблю! Вот мы здесь! — сказала она, и это походило, что мы в ладони.

— Нет, мы здесь! — стал целовать я ее ладонь.

— Борис! Люблю! Вот мы здесь! Нет, мы здесь! — стала повторять она раз за разом, целуя мою ладонь.

— Нет, мы здесь! — говорил я, целуя ладонь ее.

Потом мы пошли по траве обратно. На каждом шагу мы останавливались и целовались или целовали друг друга в ладони.

— Вот мы здесь! — говорила она.

— Нет, мы здесь! — говорил я.

И какая же это была ложь! Мы уходили от нашего гнездышка в траве чужого сада. Нам навстречу шло наше бессилие перед судьбой, перед поступком и словом единственного человека, которому я принадлежал без остатка. Я ощущал эту ложь. Но я продлевал время этой лжи. Я на каждом шагу останавливал Элспет, чтобы, целуя ее, сказать свое: “Нет, мы здесь!” Быстро принятое в бою плохое решение лучше потери времени в поисках решения хорошего. Оно, быстро принятое, идет от сердца.

Мы вышли из сада. За столом был перерыв. Люди стояли отдельными группами. Ближе всех к нам, будто караулили, стояли два соседа Элспет по столу. Я поискал глазами лейтенанта Дэвида. Он был подле Энн. Мы подошли к соседям Элспет по столу. Они сделали вид, что нас не замечают. Глаза их были злы. Элспет сжала мне руку. Я успел ей ответить. Она пошла к Энн. Все, как и два соседа Элспет по столу, сделали вид, что Элспет не замечают, — не замечают того, что она только что вышла из сада. Но я заметил — всем, кроме бывших ее соседей по столу, было неловко.

Я остановился около бывших соседей Элспет по столу. Они нехотя взглянули на меня.

— Сейчас! — сказал я и показал рукой подождать меня.

Я спешным шагом пошел к кухонным работникам. Повар-сипай навстречу радостно воскликнул.

— Виски, три стакана, братец, живо! — сказал я и продублировал приказ жестами.

Он сообразил и радостно поставил на поднос бутылку виски, три стакана и чашку со льдом.

— Льда не надо! — показал я убрать лед и скомандовал идти за мной.

Я мало на это рассчитывал, однако оба соседа Элспет со мной выпили. Может, они разбирались в наших погонах и подчинились старшему офицеру. Может быть, ими руководило другое чувство — может быть, они не были виноваты в стычке там, в караван-сарае, и им было стыдно за своего товарища, бросившего окурок к нам на стол. Они со мной выпили, поблагодарили и попросили разрешения уйти. Я разрешил. Они отошли в сторону и опять остались вдвоем. Я отпустил сипая. Он радостно блеснул на меня глазами.

Еще раз я прикоснулся к ладони Элспет через минуту, подойдя проститься.

— Борис! Вот мы здесь! — сказала она и украдкой, коротко, совсем по-мальчишечьи, но чрезвычайно родно чиркнула ладошкой себе около горла. Я понял, что именно предстоит ей после моего ухода. Глаза ее были чисты. Она была готова на все.

— Мы здесь! — сжал я ее ладонь.

Я тоже был готов на все. Я в эту минуту забыл об отречении.

Я откивнул ей, откивнул лейтенанту Дэвиду, откивнул Энн и всем остальным.

— Я вас провожу! — сказал лейтенант Дэвид.

Мы пошли. Я чувствовал глаза Элспет. Мне едва хватало сил, чтобы не вернуться к ней.

— Помните наш разговор, Борис. Я помогу вам! — в горячей решимости сказал лейтенант Дэвид.

Я молча и крепко сжал его руку.

В батарее было все по-прежнему. После вечернего построения я опять ушел к себе. Глаза Элспет и ее ладонь были передо мной. Я и во сне был с Элспет. Я переживал за себя, а не за государя-императора.

— Ложь, все ложь! — сказал я генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву его же словами, но в противоположном смысле.

Будучи один, я весь был в службе. С Элспет в сердце, я о службе и государе думал во вторую очередь. Постыдно, но так я хотел.

Глава 19

Сволочь заработала во всю мощь. Седьмого марта был отстранен от должности наш командующий Николай Николаевич Баратов. Приказом верховного главнокомандующего он был назначен руководить плешивыми штабсами, то есть был назначен главным начальником снабжения Кавказской армии. В плошку с цикутой — ядом, в лучших своих традициях, сволочь капнула пару капель розовой воды, назначив Николая Николаевича еще и главным начальником Кавказского военного округа, то есть совсем отстранили от руководства боевыми действиями и, отравив, попытались еще и утопить в омуте бумаг. Приказ об оставлении нами занимаемых позиций и возвращении на исходные подписал уже новый наш командующий, генерал-лейтенант Александр Александрович Павлов. До нас он командовал Шестым конным корпусом на Юго-Западном фронте. А до того был кем-то вроде порученца при верховном или кем-то в этом роде. И вот трудно воспринимаемая нами, серой скотинкой, вещь. Николаю Николаевичу Баратову за Сарыкамыш декабря четырнадцатого и Алашкерт лета пятнадцатого Святого Георгия четвертой степени утвердили только осенью шестнадцатого. Генералу Павлову же такой орден за бой в августе четырнадцатого утвердили уже в октябре.

— Потому что он был выпущен не в Сунжено-Владикавказский казачий полк, как наш Николай Николаевич, а в лейб-гвардии Гусарский! — в сильной ревности сказал Коля Корсун.

Пришло время новой присяги. Текст ее пришел телеграфом. По этому тексту я должен был сказать: “Клянусь честью офицера и гражданина и обещаюсь перед Богом и своей совестью быть верным и неизменно преданным Российскому государству как своему Отечеству…” — то есть этим косноязычным, со многими иканиями бубнением я должен был заново поклясться в том, в чем я уже клялся. И я должен был сделать это вместе с той сволочью, которая погубила государя. И я должен был это сделать для той сволочи. Я должен был произнести клятву той сволочи! Я должен был сказать далее: “Клянусь не нарушать своей клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды”. С меня этого требовал тот, кто сам нарушил из-за корысти клятву!

— Будем присягать этой сволочи? — спросил Коля Корсун.

Я со злостью, с какой давно ни на кого не смотрел, взглянул на него.

— Испроси у командующего командировку куда-нибудь к Василию Даниловичу да прикажи ему вновь в Луристан убраться! — попросил он.

Я не понял, серьезно ли он просил.

— Но ведь присягать придется. Иначе — со службы вон. Вон со службы в тяжелое, как сказано в телеграмме государя генералу Хабалову, время войны. Это же будет изменой, Борис! — сказал он.

— Но ведь ты сам из всего этого, — я показал на принесенные бумаги, — видишь, что все это подстроено! Это шакалье временное правительство сварганено где-то там, — я показал в западную сторону. — Ты посмотри! — я выбрал из кипы

листок со словами некоего Керенского об уничтожении, как он выразился, средневекового режима. — Вот! Наш государь-император — средневековый режим. А король Англии, король Швеции, король Дании, Бельгии — это не средневековый режим! Им там можно. Нам здесь нет. Присягать этому шакальему правительству — значит, изменять Отечеству, Коля! Надо не присягать, а надо всех их за такие слова — на осиновый сук! И тех, кто там бастует на оборонных заводах, по закону военного времени — расстрелять. Они что, они там голодают, холодают, они валяются в тифу и лихоманке, они гибнут во вшах, в дизентерии, струпьях, язвах, как мы здесь? Они спят, Коля, в теплых постелях под боком у теплых своих баб. Они по гудку приходят на работу и по гудку уходят домой. Они исправно получают денежное довольствие, или как оно у них там называется. И они бастуют! А почему не бастуют оборонные заводы Англии, Франции, Германии?

— Потому, Борис, что они тотчас будут окружены войсками и зачинщики будут расстреляны по приговору военного суда! — сказал Коля Корсун.

— Почему не расстреливают у нас? — спросил я.

— Потому, друг мой! — сказал Коля Корсун.

— Потому! — сказал я.

Далее мы не сказали. Мы оба были мнения, что за сволочью стояло то, что я не мог из-за Элспет назвать подлинным именем.

К нам постучали.

— Борис Алексеевич! — услышал я характерный говор фельдшера Шольдера.

— Входите, входите, Иван Васильевич! — позвал я.

— Так уже пархатому жиду можно ли войти к столь высоким господам? — с неизменной шутливой интонацией вошел он.

— Таки нынче демократия случилась. Нынче можно! — в тон ему ответил Коля Корсун.

— Пока! — прибавил я.

— Совершенно верно, господин полковник. У демократии и жида пархатого взаимность, как у коршуна с куренком! — сказал Шольдер.

— Слушаю вас, Иван Васильевич! — сказал я.

— Конечно, только такому казаку, как наш Василий Данилович Гамалий, можно поручить поход по непроходимым горам через дикие, жаждущие крови христианской племена. И конечно, только такому никчемному во всем корпусе человечишку, как ваш Иван Васильевич Шольдер, можно поручить поход до того славного Василия Даниловича Гамалия! — в артистической печали сказал Шольдер.

— Куда? Как к Василию Даниловичу? — спросил мы с Колей Корсуном в один голос.

— И шо бы вы думали о том, шо думает на это Иван Васильевич Шольдер? — напустил на себя еще большей печали Шольдер. — А он ничего не думает. Он

только думает, не пожелают ли такие высокие господа передать Василию Даниловичу нечто для него приятное?

— Вы в самом деле — к Василию Даниловичу? — переглянувшись с Колей Корсуном, спросил я.

— Та невжели ж Иван Васильевич Шольдер хранит в себе такие залежи фантазии, чтобы иметь шутки с такими высокими господами! — в прежнем тоне воскликнул Шольдер. — А если серьезно, Борис Алексеевич, — прибавил он, — то Василий Данилович купил вместо павших несколько жеребцов. Вот я еду их холостить, или, по-ученому, кастрировать!

— Едрическая сила! — в зависти воскликнул я.

— А не от присяги ли вы, доктор конских наук, задумали увильнуть под предлогом жеребячьей кастрации? — в подозрении спросил Коля Корсун.

— Увильнул бы, господин капитан, кабы был не ветеринаром Шольдером, а генерального штаба капитаном Корсуном! — вздохнул Шольдер.

— А может, и правда откомандироваться на время к Василию Даниловичу? — спросил я Колю Корсуна.

— Да кто же меня откомандирует! Это ты, инаркор, можешь позволить себе инспектировать артиллерию в казачьей сотне. А мы к представителю союзных войск прикомандированы-с! — едва не сплюнул при последних словах Коля Корсун.

— Вы о присяге, господа? Так разве же Василий Данилович ее не примет? — спросил Шольдер.

— Все примем! Иначе из армии — вон. И не в социалисты же нам подаваться! — сказал Коля Корсун.

Он был прав — потому я на него разозлился.

Далее к нам пришел приказ номер один петроградского сброда солдатских горлопанов. Далее появилось воззвание этой сволочи к населению, армии и флоту. Далее появилось воззвание офицеров Ставки верховного главнокомандующего. И это тоже мы приняли.

Не знаю, интересны ли кому-то еще, кроме нас, эти так называемые документы, все эти воззвания. Но, уж взявшись хранить разные выписки из войсковых документов Жоры Хуциева и известия, получаемые майором Робертсом, я взялся сохранить и эти изобретения сволочи, а вернее, изобретения специальных служб того, чье имя я из-за своего превращения в Андрия вслух не мог сказать. Вот выдержки из этих изобретений.

“Приказ номер один Петроградского Совета солдатских депутатов.

Во всех воинских частях выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов. (Вот и вольница, вот и демократия! Только почему она вводится в русской армии, а не во всех других?)

(…)

4. Приказы военной комиссии Государственной Думы выполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета. (Это как же, господа демократы? Первое. Да мало ли что вздумается какому-нибудь Ваньке Силкину, Пилкину, Брусилкину, скрывающемуся от посылки на фронт и потому побежавшему в Совет! Второе. Так ведь Государственная Дума указом государя распущена еще 26 февраля! Третье. Как же это соединить? Солдатику, например, следует заступать в караул, а он прежде идет в Совет?)

5. Оружие передать под контроль ротных и батарейных комитетов и ни в коем случае не выдавать офицерам даже по их требованиям. (Так ведь война, господа советчики! И враг не будет ждать, пока-то вы соизволите вынести решение выдать офицеру оружие или не выдать. И — главное — почему не выдавать?)

6. Вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть ущемлены в тех правах, коими пользуются все граждане. Вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется. (Еще раз, война, господа, или как вас, граждане! Война! И какая у солдата во время войны может быть частная и политическая жизнь! Ее нет ни у солдата, ни у офицера! Ее и у всех граждан не может быть! Интересно, есть ли оная частная и политическая жизнь у германского солдата, у английского, у французского? Нету ее в воюющей армии и воющей стране! Да и как во время войны разделять, что служба, а что не служба. Или в Петрограде все можно?)

7. Отменяется титулование офицеров. (Ну, это черт с ним, с титулованием. Но, опять же, почему не подождать до окончания войны? Почему путать солдата во время войны?)

8. Грубое обращение с солдатами, и в частности обращение на “ты”, воспрещается. (На грубое обращение с подчиненными есть статьи уголовного уложения. Их надо исполнять — и всего-то. К тому же оно воспрещено уставом)”.

И это подлинное преступление — что сей приказ, сочиненный только для петроградского сброда, вдруг был распространен по всей армии. А уж то, что приказ помечен датой “1 марта”, вообще вызывает необходимость передать его в судебные органы. Еще не было отречения государя. Власть еще полностью принадлежала закону. Он действовал по всей империи, включая и Петроград. А приказ уже был сочинен. Уже только поэтому следовало бы объявить приказ незаконным, а сочинителей его объявить террористами, бомбистами — кем угодно, по усмотрению обвиняемых — и повесить.

Разумеется, мы, отделенные от всей России и от всей армии персидской кошмой, сей приказ не только не признали подлежащим исполнению, но мы его признали именно преступным, сочиненным специальными службами врага и передавшимся врагу петроградским сбродом.

Армия рухнула с этим приказом. Наступил кавардак. Необходим, по логике сволочи, стал следующий документ — Воззвание офицеров Ставки. Был ли этот документ действительно сочинен в Ставке, или был он опять плодом специальных служб, но омерзительно было видеть в этом воззвании слова о том, что сочинители

его считают — далее по тексту — “совершившийся переворот окончательным и бесповоротным, возвращение к старому порядку недопустимым”. И эта мерзость была объявлена политическим кредо создаваемого Союза офицеров, в который нас якобы Ставка звала объединиться. Было в этом что-то от бабы, изнасилованной гуртом пьяных мужиков, вставшей, отряхнувшейся и сказавшей: “Ну-к що!”

А прочтите-ка — я не знаю, к кому обращаюсь, вернее всего, только к себе, — но прочтите-ка воззвание того же временного правительства, которое все это затеяло, к населению, армии и флоту.

“Получены сведения, — взывает оно, — что немцы, узнав о происшедшем в России перевороте, спешно стягивают силы на Северном фронте, решив нанести удар Петрограду. Этот удар был бы ударом не только столице, но и всему государству, обновленной стране, свободе… Временное правительство не скрывает от вас, что победа врага приведет вас к полному рабству… В столице отдельные группы продолжают сеять раздоры… Недремлющий, еще сильный враг уже понял, что великий переворот, разрушивший старые порядки, внес временное замешательство в жизнь нашей родины…”

Что это? Немцы узнали о перевороте и спешно стягивают силы? Это стало откровением вам, сволочи? Когда свой переворот делали, — что, не могли вы этого предположить? Офицер бесправен и безоружен. Солдатик при всех правах и даже с правом распоряжаться офицером: “А ты ндраву моему не препятствуй!..” — и не идет в бой, а бежит в тыл, — это для вас тоже стало откровением? Недремлющий враг понял, что ваша измена внесла замешательство, да не замешательство, а стала катастрофой для страны — это тоже для вас, сволочи, стало откровением?

Мерзостно было нам всем. Но поставленные перед фактом, припертые к скале Бехистун, мы вынуждены были все это принять, ибо вопреки себе осознали — если мы этой мерзости не примем, враг нас поставит на колени.

По сведениям, уже не представляющим секретности, а вернее, распространяемым как руководство к действию, в марте наша армия насчитала более миллиона дезертиров. По сведениям, там, в России, стало считаться актом революции убийство офицера, призывающего к дисциплине. Сколько нам известно, первым убил офицера, своего командира, некая сволочь по фамилии Кирпичников еще 27 февраля. Случилось это в лейб-гвардии Волынском полку — вдумайтесь, в лейб-гвардии полку! И эта сволочь Кирпичников стал для временного правительства героем! Вот вам образец подлинного правительства!

Совсем забыл сказать о таком факте, как… — одним словом, пришло мне письмо от сестры Маши из Екатеринбурга. Оказалось, что и она, бедная, вынуждена стала частную свою жизнь обратить в политическую и общегражданскую. Каким-то образом она вызнала о приказе по Екатеринбургскому гарнизону его начальника полковника Марковца, который гласил следующее. “Сего 31 числа марта посетила меня делегация Екатеринбургского общества офицеров-поляков со следующей резолюцией: “Офицеры-поляки Екатеринбургского гарнизона, с радостью узнав об осуществлении мечты своих дедов и отцов — о даровании свободной Россией полной свободы и независимости Польше, единогласно постановили еще с большим

рвением, ныне свободные, продолжать отстаивать грудью, бок о бок с русскими Польшу и Россию от общего векового врага”.

Вот так скромненько и со вкусом выразилось общество офицеров-поляков Екатеринбургского гарнизона. Так скромненько и так со вкусом, что заставили обратиться к общегражданской и политической жизни даже такую домашнюю даму, как моя сестра Маша. В глубочайшем тылу делегаты общества офицеров-поляков — ах, как это изящно: общество офицеров-поляков! — постановили — вот так, с заботою о судьбах родины собрались, чела свои напрягли, спросили друг друга: “А что же ты, пан офицер-поляк, можешь сделать для далекой родины, узнав об осуществлении мечты своих дедов и отцов?” И ответили: “А вот что, панове офицеры-поляки, мы сделаем! — распрямили в светлом постановлении свои чела офицеры-поляки. — Мы к полковнику Марковцу отрядим делегатов от нашего общества, дарованного нам свободной Россией. Мы отрядим делегатов с резолюцией, что еще с большим рвением, ныне свободные, будем продолжать здесь, в Екатеринбурге, отстаивать грудью и бок о бок!” И ах как хороши груди и хороши бока у паненок в Екатеринбурге. Так и манят они с ними в грудь и бок о бок отстаивать хоть на Главном проспекте, хоть в Харитоновском саду, хоть на Тарасовской набережной.

И с какого такого отстаивания им вдруг примерещилось, что немец — наш общий вековой враг! Да не впервые ли со времен Чудского озера, если не считать Семилетней войны в середине восемнадцатого века, коя, кстати, велась на немецкой территории, не с середины ли тринадцатого века мы столкнулись ныне с немцами впервые! Да и то столкнулись по нашей русской дурости. А следовало бы не сталкиваться. Следовало бы быть с ними в союзе.

Но, кажется, революция поселилась и во мне, если я полез рассуждать всякую всячину. И, кажется, я достаточно изошел желчью. Где-то в Соломоновых притчах есть слова: “Гибели предшествует гордость”. Так вот, приходится говорить: “Гибели следует желчь”. Да и с желчью своей я поспешил. Письмо сестры Маши пришло в июне, когда, слава Богу, случилось хотя бы одно хорошее дело — нам вернули Николая Николаевича Баратова. Но вернули его — зато забрали, или, языком приказа, отозвали в распоряжение военного министра нашего главнокомандующего Николая Николаевича Юденича. В распоряжение военного министра — это значило: не к делу.

Все свершилось. И у сволочи хватало совести, то есть хватало отсутствия совести, открыто называть свое предприятие переворотом. То есть у сволочи хватало бессовестности открыто попирать закон и этим попирательством гордиться. По Соломону, ждала эту сволочь гибель. Но мы вынуждены были этой сволочи служить, потому что без нашей службы прежде сволочи погибло бы наше Отечество.

И я никому не пожелал бы нашей доли.

Глава 20

И далее опять была война.

В двадцатых числах июня я возвращался из Курдистанского отряда, проводившего операцию южнее озера Урмия — на самом северном фланге нашего Персидского фронта.

Наконец показался Шеверин, бывшее поместье кого-то из шахских приспешников, ставшее нам со времени взятия Хамадана штабом корпуса. Мы проследовали широкие и постоянно открытые настежь ворота в высокой глинобитной стене вокруг поместья, въехали в тополиную аллею, некогда ухоженную, но за два года нами сильно загаженную. Сад по обе стороны аллеи тоже превратился в некое торжище. Кухни, палатки, коновязи, помойные ямы, отхожие места, повозки, фуры, едва прикрытые истлевшим брезентом склады имущества — все это некогда пышный и густой, а теперь частью вырубленный, частью обломанный сад уже не мог скрыть. Теперь, во время правления в России временной сволочи, это бросалось в глаза и давало некий образ самой России, неприбранной и чужой. И того только было хорошего от этой аллеи и этого сада, что давали они тень.

Вестовой Семенов будто ждал меня. Он побежал навстречу, не добегая, перешел на строевой шаг, отдал честь и широко в своей черной бороде чиркнул белозубой улыбкой:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Всего лишь господин подполковник! — нарочно поправил я его в соответствии с установленной временной сволочью нормой.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — еще более широко, во все свои зубы, улыбнулся он, взял одной рукой Локая за узду, другой ухватился за стремя.

Я с трудом перегнулся в спине, с трудом перенес правую ногу через седло, с трудом коснулся земли. Совсем затекшая нога земли не почувствовала. Я, держась за седло, поопирался ею, подождал, пока она наполнится кровью, и с трудом же вынул из стремени левую ногу.

Сзади, слезая с седла, прокряхтел сотник Томлин.

— Едрическая сила! Пыли столько, что я стал толще Вани Худявого! — хлопнул он себя черенком плети.

Я обернулся. С него летела пыль.

— Толще! — ответил он. — В Бутаковке, во втором доме от моста на поскотину, жил казак вот такой толщины, Иван Расковалов, — сотник Томлин показал вокруг себя. — Естественно, его прозвали Ваней Худявым.

— А я вас со вчерашнего жду. У меня и водичка вам приготовлена! — продолжал улыбаться вестовой Семенов.

— Водочка? — в своем репертуаре, как бы сказал хорунжий Комиссаров,

спросил сотник Томлин.

— И она, ваше благородие! — обрадовал его вестовой Семенов.

Операцию Курдистанский отряд проводил в составе частей пограничников, туркестанских стрелков и казачьей бригады. Нам приходилось сбивать противника с перевалов меньшим количеством. Перевал Кара-Серез мы взяли малочисленным батальоном туркестанцев и двумя сотнями Ейского казачьего полка. Туркестанцы, к слову сказать, это не туземные жители Туркестана, как я, кажется, уже говорил, а жители Пермской и Вятской губерний, призываемые на военную службу в Туркестан. Малорослые и молчаливые по суровому нашему климату, они будто не понимали, что под убийственным огнем пулеметов и орудий можно отступить. Они медленно, но упрямо, будто исполняли тяжелую работу на скудной пашне или на заводе, лезли на перевал. Когда перевал был взят и взяты на нем пленные, оказалось, что они сбили турецкий пехотный батальон при двух пулеметах и большую курдскую партию. О присутствии курдов по их старинным ружьям с пулями величиной мало не с грецкий орех, жужжащими словно шмели и дающими огромную рваную рану, мы догадались. Но то, что перевал защищался армейским батальоном, стало для нас неожиданностью. Полковник Петр Степанович Абашкин, воевавший в этих местах еще в девятьсот девятом году и временно сейчас командовавший Ейским полком, только покрутил своей большой головой.

— Никогда, Борис Алексеевич, не бывало так, чтобы мы были числом и огнем сильнее противника. А так хочется хотя бы разок не за счет непосильных трудов моих ребятушек, а за счет стратегии повоевать! — сказал он.

Следующий перевал мы брали уже под огнем турецких орудий. И я просто бесился от отсутствия орудий у нас. От бешенства и от желания найти и накрыть эти орудия огнем наших орудий я порой лишался сил. Во мне будто что-то обрывалось. Я в бешенстве отрывал от глаз бинокль.

— Что, Борис Алексеевич? — спрашивал полковник Абашкин, думая, что я ранен.

Я только молча бил кулаком себе в колено, а потом вставал и опять в бинокль следил, как спешенные казаки карабкаются от расщелины к расщелине по скалам во фланг турецкой позиции, а с фронта столь же упрямо, медленно, но неотвратимо лезут туркестанцы. Грязные, вшивые, раздетые и разутые, больные — наверное, те туркестанцы, из далекого восемьдесят второго года в Екатеринбурге, о которых мне рассказала матушка, гляделись против этих кавалергардами. Их там умерло пятеро. А наших здесь умерло неисчислимо. Там хотя бы после смерти этих пятерых несчастных спохватились. У нас не спохватились до сих пор, на четвертый год войны. И у них была задача: ать-два, сено-солома! — то есть задача учиться. У них была крыша над головой, горячее питание, какая ни есть баня. У наших и намека на все эти кавалергардские удобства не было. У наших были только льды и скалы, и задачей для наших было сбивать с этих льдов и скал превосходящего противника.

У нас орудий не было. Две батареи, по два орудия в каждой, — батарея терцев и батарея кубанцев, — едва сдерживали наступление превосходящих турецких сил и курдов севернее нас, близ озера Урмия. По сведениям, против нас действовали около

трех тысяч регулярных турецких войск и несколько курдских партий общим числом до четырех тысяч. Наши фланговые разъезды, соприкасавшиеся с разъездами соседей, докладывали, что у них дело доходит до шашек, что сам командир отряда полковник Николай Алексеевич Горбачев водил казаков в атаку.

Полковник Абашкин меня ни к казакам, ни к туркестанцам не отпускал.

— Вам приказ командующего корпусом в бой не лезть, а наблюдать. Так вот и исполняйте, господин подполковник! — официально говорил полковник Абашкин, но все-таки дважды проговорился. Сам в порыве вести туркестанцев на перевал в штыки, он мне сказал: — Вы мне будете нужны после меня! — Он имел в виду взятие мной командования отрядом на себя в случае его тяжелого ранения или гибели.

Я бил себя кулаком в колено, бесился, но по въевшейся привычке смотрел, куда бы я поставил орудия, как бы я считал градус стрельбы и считал количество выстрелов для дуэли с турецкими батареями. А для всего этого я сперва по гулу стрельбы определил бы место турецких батарей. Непосвященному человеку все эти задачки явно доставили бы скуку. Мне же они были чем-то вроде музыки, чем-то вроде искусства написания живописного полотна. Они мне приносили силу. В целом эти задачки не были сложны. Как я уже сказал, надо было как можно точнее определить место неприятеля, расстояние до этого места, определить градус подъема ствола и далее учесть зону поражения от моего выстрела в зависимости от калибра орудия. Эти расчеты определяли количество выстрелов. Далее все зависело от сообщений артиллерийских разведчиков, наблюдающих за стрельбой, за ее действенностью — за тем, как ложились выстрелы, и за тем, как перемещался неприятель. Было бы очень хорошо, если бы сведения поступали от нескольких разведчиков, наблюдающих огонь с нескольких точек. Но не столь уж было плохо, если наблюдал всего один разведчик. Задача, конечно, усложнялась, но оттого становилась еще интересней. Каждый калибр выстрела имел свою зону поражения. В одну и ту же точку выстрел попасть не мог. За первым попавшим в цель выстрелом последующие выстрелы могли ложиться только рассеянно — и это даже при том, что стрелять пришлось бы с неизменной точки, не меняя градуса по горизонтали. Одним словом, последующие выстрелы создали бы эллипс с определенной длиной и шириной. А другое орудие моей батареи таким же образом создало бы свой эллипс. Да третье — свой. Четвертое — свой. И этими эллипсами мы создали бы новый общий эллипс. И когда батарея противника оказывалась внутри этого нового общего эллипса, минуты и даже доли минуты существования такой батареи были сочтены. Такому сосредоточивающему и охватывающему огню я научился сам, и ему я учил своих товарищей. Правда, для создания такого эллипса требовалось определенное, и немалое, количество выстрелов. Самое интересное решение задачи состояло в том, чтобы количество выстрелов было при этом наименьшим.

Это все я в своем бессилии просчитывал и тем занимал себя, тем возвращал себе силы.

Конечно, было у меня много другой работы. Но ходить в атаку, как на Диал-Су весной прошлого, шестнадцатого года, мне больше не доводилось. Да и не дело

артиллерийского командира ходить в атаки. Хотя бой с этим совсем не считается. Одним из многих трагических примеров тому стала гибель полковника Николая Алексеевича Горбачева. В рапорте о его гибели начальник штаба Курдистанского отряда полковник Кочержевский написал: “Лично руководя боем, он четыре раза отбивал контратаки противника и в последний момент, стараясь вырвать наши орудия из рук неприятеля, бросился врукопашную с ближайшими частями на турок, но был окружен и поднят ими на штыки”. Я прошу прощения за военно-канцелярский язык с деепричастными оборотами. Но этот язык стал нормой военных документов такого свойства. И я сохранил его, тем как бы сохраняя напряжение и торжественность последних минут Николая Алексеевича. Я переживал за того молодого, выпуска военного времени командира батареи, не успевшего прочесть моего наставления по огню батареи. Я переживал, что сам я не был там. Я думал, что я бы не отдал орудий противнику.

Тыл же в это время жил своей собственной жизнью — вернее, тыл в это время бесился.

Из письма моего племянника Бориски.

“У нас в гимназии сегодня был митинг. Теперь мы все свободны, и нам никто не может сказать, чтобы мы учили уроки. Наш классный наставник теперь не может нам запретить гулять, сколько мы захотим. Сегодня мы его выгнали из класса. Он вошел в класс во время митинга и сказал, что нехорошо господину ученику влезать на парту и кричать, как извозчик. Мы все закричали на него: “Долой сатрапов!”

Из письма сестры Маши. Чтобы хоть как-то сохранить дом от разгрома, она вернулась с детьми в Екатеринбург.

“Борис, стыдно писать тебе на фронт обо всем у нас. Но мне кажется, что фронт теперь и у нас. Наступает что-то невероятно гнусное. Никто ничего не хочет делать. Все только хотят митинговать и кричать, что свобода. Бедный Иван Филиппович не вытерпел, на днях пожаловался. “Раньше, — сказал, — я все знал, что мне делать. А теперь свобода, и я ничего понять не могу. Вон у нас прямо на углу нашей Второй Береговой и Крестовоздвиженской соседская жиличка Новикова собрала женщин, митинг устроила и кричит, что Бога нет, что царя нет. Я подошел. А там и околоточный стоит, ее слушает. Она ему прямо в лицо говорит: “Вот ты сейчас на меня смотришь и ничего мне не сделаешь, потому что ваш царь был немец, а Бог был еврей! Царя вашего теперь скинули. А Бога вашего мы убили две тысячи лет назад!” Я околоточному сказал, как же так, Иван Петрович? А он только головой покрутил: “Пускай она, стерва, — так и сказал Иван Филиппович, передавая слова нашего околоточного, — пускай она, стерва, вышепчется!” Вот и все.

А одна каторжанка на митинге кричит: “Теперь я вас научу, как надо жить свободным гражданам! — это мне рассказала наша Марьяна. Она из эвакуированных, прижилась у нас и теперь что-то вроде прислуги. Так каторжанка кричит, что десять лет за нас в тюрьме сидела, и стала подучать прислугу против своих хозяев. — Вы здесь на митингах теперь все рассказывайте или идите в комитет и рассказывайте все, о чем ваши хозяева между собой говорят!”

Все женщины стали ругаться скорбными словами. Повсюду только и слышно,

что эти скорбные слова. Я не знаю, что будет с нашими детьми. Стало опасно отпускать их даже в гимназию. Ираидочку всегда сопровождаю я сама или сопровождает Марьяна. Хоть от нас до ее гимназии близко, да надо переходить этот Покровский проспект, который ты из-за железной дороги не любил. А там всюду теперь толпы ругающегося народу.

А встретила я свою одноклассницу по гимназии — может, ты ее помнишь, Анечку Попову, теперь она по мужу Истомина. Муж у нее на фронте. Она с детьми вернулась к родителям, так теперь легче. Я ее и не узнала. Одежда помята, ботинки не чищены, волосы не чесаны, шляпа смята и на боку. Глаза бегающие, испуганные. Я ее позвала по имени. Она остановилась и говорит: "Вот бегу к воинскому начальнику. В казначействе теперь жалованье мужа не выдают и не объясняют почему. Может быть, воинский начальник что-нибудь скажет. А нам жить совсем не на что. Я всюду всем задолжала".

И так все ходят — немытые, нечесаные, грязные, мятые, все ругаются. Все куда-то спешат. У всех вид потерянный. Стало много грабежей. Вдруг появилось много воров и разбойников. Грабят прямо днем. А если кто-то увидит и что скажет, то его могут и убить. Да если и не скажет, то все равно могут убить, говоря, что он видел, значит, в участок донесет. Я очень боюсь за Ивана Михайловича. Он ведь никогда такого не стерпит…"

Из письма Валерии, переведшейся в Тифлис.

"Решительно хочу бросить все и уехать… Как только объявили эту свободу, какие-то подозрительные типы пришли в госпиталь и стали вести "беседы" с ранеными. Результаты этих бесед сказались сейчас же. Первым делом пациенты выкинули фельдшерицу с вещами прямо на улицу, и всем стали распоряжаться сами раненые солдаты. Главный врач больше в госпиталь не приходит. Делать операции солдаты никому не позволяют, говорят, что мы операции делаем только во вред, так, чтобы больше лишить ноги или руки, чтобы нельзя было работать в поле. На перевязки они приходят только тогда, когда от раны пойдет вонь. В перевязочной они постоянно скандалят, говорят сестрам скабрезности и грубости, пристают с грязными предложениями. Они выбрали себе комитет, который всем распоряжается и который остановил всю жизнь госпиталя. Они запретили принимать новых раненых и больных в госпиталь, сами ходят и всем распоряжаются, сестрам милосердия же кричат: "Папиросы, спички — гоп до сестрички!" или "Эй, офицерская чекушка!". Недавно, не вынеся таких оскорблений, отравилась сестра, бывшая на фронте два года. Она за ними без устали ухаживала. А потом у нас потерялся доктор, который пытался навести в госпитале порядок. Его искали больше недели и нашли в овраге за городом голого и подвешенного за ноги. Все сразу сказали, что это сделали солдаты".

Рассказ отчисленного по постановлению полкового комитета и направленного к нам в Персию капитана Сергиенко.

"В Баку я остановился в доме своего товарища, и мне довелось наблюдать свободу во всем ее торжестве. Толпа грабила склад напротив дома моего товарища. Я наблюдал из окна. Сначала послышался рев толпы. Потом она появилась сама —

толпа баб и мужиков. Она подошла к складам и с ревом же кинулась на складские двери. Те не поддались. Тогда толпа стала ковырять мостовую и швырять в двери камнями. Опять безрезультатно. Кто-то закричал: “Найдите дворника, найдите сторожа! У них есть ключи!” Кто-то другой закричал: “Тащите бревна! Бегите на лесные склады и притащите пару бревен!” Человек двадцать из толпы кинулись куда-то, наверно, действительно на лесные склады. Вскоре они вернулись с двумя бревнами и ударили ими по дверям. Одна дверь сразу же разбилась, и из нее на толпу стали падать пирамиды сахарных голов. Передние стали их хватать. Задние стали их вырывать и бежать прочь. За ними кинулись и взялись отнимать эти головы третьи. Какой-то мужик, захвативший одну сахарную голову, стал ловить свободной рукой другую. Целая толпа баб стала у него вырывать первую. Они накинулись на него хуже разъяренных собак. Одной удалось вырвать, она бросилась бежать. Другие — за ней. Мужик опять бросился к дверям склада. Две бабы не могли поделить одну доставшуюся им сахарную голову, крыли друг друга матом, плевались, старались вырвать каждая себе. Вывернувшийся из толпы ни с чем мужик выдернул у них их добычу и кинулся в ближайший переулок. Но не тут-то было. Бабы догнали его. Он стал от них отбиваться. Не получилось. Бабы напали на него, прямо сказать, серьезно. Тогда он этой сахарной головой с размаху ударил одну из баб по голове. Баба с окровавленной головой упала. “Убили!” — закричали близстоящие бабы. Но никто не обратил внимания. Все рвались в склад”.

Такая вот была разница между фронтом и тылом в период свободы и революции.

Глава 21

Сколько мог, отхлопавшись и оттерев от пыли лицо, я пошел доложить о возвращении. Из двери кабинета Николая Николаевича Баратова навстречу вышел его адъютант поручик Аннибал.

— Вах, Борис Алексеевич! А мы только что о вас говорили! Правда, только что говорили! Давайте, я доложу командующему о вашем приезде! — воскликнул он.

Николай Николаевич Баратов вышел ко мне из кабинета, приобнял, распорядился подать чаю и увел в кабинет.

— Рассказывайте! Хотя я многое знаю, но рассказывайте! — велел он и тотчас воскликнул о командире Курдистанского отряда Николае Алексеевиче Горбачеве: — Как же он не сберег себя! Вот старая школа — всюду быть самому! А ведь какой был офицер! Как бы он пригодился в нынешнее время! Ну, да Господь с ним, вечная ему память! — А после моего доклада и чая он вдруг сказал: — Полковника Беломестнова от нас взяли. Первую кавалерийскую дивизию от нас взяли. Николай Николаевич Юденич не сберегся. Всех практически, с кем сжились, сработались, мы теряем. В одиночестве мы с вами, Борис Алексеевич, остаемся! И вот что. Вам новое назначение. Завтра же и отправитесь. Дела в Казвине плохи. Тамошний комендант полковник Подзгерский не справляется. Прибывающие солдатики бунтуют. Все сплошь из дезертиров — вот и бунтуют, революция и свобода, говорят. Надо привести к дисциплине! — И тотчас жестом остановил мой вопрос: — Ни в коем случае! Никакого оружия! Будете там не один. Но никакой силы не применять! Я знаю ваш характер. Знаю, как вы собирались нынешнее правительство по петроградским фонарям развесить!

— Откуда же вы это знаете? Я вам, ваше превосходительство, такого не говорил! — обиделся я.

— Вы не говорили. А ваш amis cordiale, друг сердечный капитан Корсун, сказывал! — улыбнулся Николай Николаевич.

— Как! — едва не вскочил я.

— Да вот как-то чаевничали мы с майором Робертсом и, конечно, разговорились о делах нынешних. Капитан Корсун и сказал, что нечего нам ждать, а надо в Петроград направить от нас сотню Гамалия да наших партизан войскового старшины Бичерахова, и чтобы весь отряд возглавил подполковник Норин. Ручаюсь, сказал капитан Корсун, порядок будет восстановлен в империи в два дня! — снова улыбнулся Николай Николаевич.

— Однако же! — фыркнул я.

— Не серчайте! Капитан Корсун любит вас всем сердцем. Это же видно! — взял меня за грязный рукав черкески Николай Николаевич. — И вот вам задача: усмирить и препроводить на фронт этот взбунтовавший полк. Я на вас надеюсь.

— Слушаюсь, — угрюмо сказал я, думая о словах Коли Корсуна.

— Да. Такая задача, не свойственная инспектору артиллерии корпуса. Ну да вы

эту несвойственность с самого начала исполняете! В Казвин прибудет партизанский отряд войскового старшины Шкуры. Вы его знаете. Ваша задача не дать ему довести до шашек и винтовок. Вы наделяетесь полной властью. Но очень вас прошу, оберните все дело миром! — попросил Николай Николаевич.

— Слушаюсь, — со вздохом сказал я.

Николаю Николаевичу приходилось тяжелее всех нас. Он обязан был выполнить задачу по удержанию Персии от перехода на сторону Турции и тем обеспечить Кавказ и весь левый фланг огромного, от Балтики и до озера Урмия, фронта. Кроме качеств полководца он должен был обладать и качествами политика, ладить с персидским правительством, ладить с местными ханами и князьками, ладить с англичанами. Он с ними со всеми ладил. И на его долю теперь вышло ладить с нашей временной сволочью. Меня лично покоробила его телеграмма, посланная в корпус перед его возвращением. Он написал, что безгранично рад вернуться к нам и так далее, чтобы продолжить нашу общую работу, как он выразился, для блага и счастья нашей великой СВОБОДНОЙ Родины. Эти-то слова о свободной Родине меня и покоробили. “И вы — туда же, Николай Николаевич!” — горько сглотнул я, как потом глотал его длинные и восторженные разглагольствования перед солдатами о той же свободной Родине, о какой-то новой жизни в этой свободной Родине. Я понимал, что иначе он не мог поступить. Ему надо было держать в руках корпус. А его удержать можно было, только чутко чувствуя его пульс, пульс не того здорового организма, которым мы вошли в Персию, а пульс организма, уже зараженного губительной болезнью. Я это понимал. Но меня все равно коробило. И я вопреки себе перестал чувствовать прежний перед ним восторг, прежнее преклонение, прежнее его, можно сказать, обожествление.

— Вы не слушаете, Борис Алексеевич! — воскликнул Николай Николаевич.

— Виноват! Некоторая усталость, — попытался словчить я.

— Не может быть никакой усталости в ваши годы, подполковник! Не должно и не может быть никакой усталости в служении Отечеству, отец родной! Если вы хотите послужить ему, нашему горькому Отечеству, не может быть никакой усталости! — вскричал Николай Николаевич.

— Есть “никакой усталости”! — снова попытался я словчить и изобразить бодрость.

Он уловил мою попытку и хитровато блеснул взглядом.

В кабинет привычно без стука и вкрадчиво вошел прапорщик Альхави. Несколько пригибаясь и этим говоря, что просит прощения и просит не обращать на него внимания, он прошел в угол и сел в кресло. Я опять подумал, что он попросту состоит на английской службе и имеет связи в верхах, а никакой он не провидец и не мудрец, и что Николай Николаевич сам восточный человек и терпит его только из соображений восточной дипломатии, а советов его не слушает. Не видел я в этом азиате никакой мудрости. Он мою неприязнь чувствовал, но был со мной безупречно ровен и даже обходителен.

— Что, Селим Георгиевич? — спросил Николай Николаевич.

— Ничего безотлагательного, ваше высокопревосходительство, — встал с кресла прапорщик Альхави.

Николай Николаевич вернулся к нашему разговору.

— А вот есть некоторая необходимость соотнестись с союзниками, а Василий Данилович по плечи увяз в боях. Не подскажете, кто бы это мог сделать? — снова хитровато блеснул глазами он.

Я понял, что он знает и об Элспет. И мне его хитреца стала неприятной. Я смолчал. Я смолчал — а он стерпел. Только служивый человек мог бы оценить степень моей дерзости.

— Так не знаете? — спросил он.

— Ich kann nicht bestimmt sagen! Не могу знать, ваше превосходительство! — раздражающим Александра Васильевича Суворова ответом ответил я.

— А вы бы не взялись? — спросил он.

— Готов на любую вами поставленную задачу! — сказал я.

— Ну вот, сразу после Казвина будем готовиться к соотнесению с союзниками.

Наверно, он увидел, что я был готов его обнять.

— Ступайте. Все остальное — у Александра Ивановича! — сказал он о начальнике штаба корпуса генерал-майоре Линицком.

В довершение нечаянной радости у себя в кабинете я нашел письмо Элспет. Я взглянул на штемпели. Между нами расстояния было верст в пятьсот. Но письмо шло через Лондон и Петроград. Учитывая условия войны и едва не кругосветного путешествия, в дороге оно было всего ничего. У меня хватило выдержки не порвать конверт, а обрезать его бок ножницами.

— Знаю, что ты здесь, и знаю, чем ты сейчас занят! — зашумел за дверью Коля Корсун, вошел, протянул ко мне руки, чуть склоняясь на правую сторону, как бы приспосабливаясь к моему росту. — Дай я тебя обниму, друг мой! — И, обняв меня и громко чихнув от моей пыли, он сразу доложил: — Я через своего гуся отправил по известному адресу уведомление, что письмо получено, что адресат…

— Да зачем же! — было рассердился я.

— Что письмо получено, что адресат пока в отъезде! — не стал слушать меня Коля Корсун. — И вообще, за это благодарить надо, благодарить и обещать мне после войны бутылку шабли. А ты вместо этого сам полез в бутылку! — сказал он в артистическом гневе.

— Капитан, как вы изъясняетесь?! — подлинно в сердцах, но стараясь, чтобы это выглядело шуткой, прикрикнул я.

— Я изъясняюсь в соответствии с положением в стране. Вчера был я в городе, проезжал мимо новопреставленных, то есть мимо только что прибывшего эшелона. Уже хлебнули чего-то, приплясывают в кругу и орут похабное. Вот запомнил: “Был я раньше смазчик, жид обыкновенный, а теперь на фронте комиссар военный!” —

Это появилась мода назначать от Временного правительства, или, как ты его называешь, от временного сволоча, в армию комиссаров. И кстати, знаешь, как вся эта сволочь придумала называть наших казаков? Они стала их называть монашками — то ли из-за нашего против них монашеского образа поведения, то ли из-за длинных казачьих черкесок. — Коля Корсун сказал это и без перехода спросил: — Ну, что, сам прочтешь письмо от своей Джин или доверишь прочесть своему другу? — Разумеется, Элспет он называл именем жены шотландского поэта Роберта Бернса. Он так спросил и опять не стал ждать моего ответа. — А гусь мой, — сказал он, — весь зарделся, как селезень, когда узнал, по какой причине я попросил воспользоваться его каналом связи. Ему это понравилось. Так что советую тебе завести с ним шашни. С худого гуся — хоть шерсти клок!

— Связи! — сказал я.

— Что? — не понял он.

— С худого гуся — хоть связи клок! — сказал я.

— Да вы хваткий парень, полковник! Вам бы, по прошлым временам, какую-нибудь концессию у государства отхватить по примеру всех нынешних нуворишей фон Мекков, Поляковых, Губониных! Ну, а по нынешнему времени, вам с успехом можно податься к господам временным! — скаламбурил Коля Корсун и тотчас снова спросил, буду ли я читать письмо сам или все-таки дам ему для перевода.

— Сам буду! — снова было рассердился я.

— Ладно, прости, Борис! Я же это — от радости, что ты вернулся живой и невредимый! — обнял меня он.

— А что же командующему наплел про этих временных сволочей?! — сказал я.

— Борис, я ведь могу обидеться! — уже обиделся он. — Что значит “наплел”? Я сказал то, что думаю. Я ничуть не сомневаюсь, что ты бы навел в Питере порядок. Я это и сказал. И если бы довелось, я сам бы пошел с тобой!

— Пошел бы, пошел бы! — буркнул я.

Мы еще перебросились парой слов, таких же никчемных, как и прежние, но много говорящих, что нам хорошо было вместе. Только потом я протянул ему письмо. О том, каково оно, письмо любящего и любимого человека, говорить совершенно излишне. Коля Корсун мигом перевел его, лишь споткнувшись на русских словах, написанных латиницей.

— “Вот мы здесь!” Вот мы здесь — что это? — снял он пенсне и поглядел на меня немного пристальным близоруким взглядом.

Я улыбнулся.

— Понял! Когда ответ переводить? — сказал он.

— Утром, — в совершенной неловкости от охваченного чувства и того, что об этом чувстве кто-то еще, кроме нас с Элспет, знает, сказал я.

— Понял! — снова сказал Коля Корсун и не удержался сказать из Книги Экклезиаста, что женщина — это сеть. — “И нашел я, что горче смерти есть

женщина, потому что она сеть, и сердце ее — силки, и грешник уловлен будет ею!” — продекламировал он в позе какого-нибудь артиста Тальма.

— Будет, будет! — снова буркнул я.

— Будет уловлен, или будет — это значит, хватит вас просвещать? — спросил Коля Корсун.

Я промолчал. Мы договорились встретиться через час, когда я помоюсь. Но лишь я вымылся, как меня сморило, и я, сказав себе, что на минутку, лег с письмом Элспет в руке да и проспал до ночи, слыша, как приходили и Коля Корсун, и сотник Томлин и как их вполголоса встречал вестовой Семенов, слыша, но не находя сил проснуться, — ну, прямо в полную игноранцию слов Николая Николаевича Баратова о безустанности служения. Оправдывал меня только стыд, который я во сне испытывал, и во сне же я говорил:

— Да, я сейчас встану, ведь я должен служить. Да, я сейчас встану, ведь я должен написать Элспет!

Утром мы долго мешкали с необходимыми мне для выполнения задачи документами, с получением денежного аванса на проезд, долго ждали автомобиль с уже знакомым шофером Кравцовым, выехали не по прохладе, как следовало бы сделать, а в наплывающем зное, ехали медленно, и я в горячем сиденье автомобиля спал, не в силах одолеть давящей дури сна. Слава Богу, мы заночевали на Султан-Булаге, то есть в относительной прохладе. И слава Богу, выехали рано. Шофер Кравцов привычно балагурил и что-то беспрестанно рассказывал. Я не слушал что, думая об Элспет.

— Вот ведь как, господин подполковник! — с какой-то особенной интонацией сказал шофер Кравцов.

— Вы о чем? — спросил я.

— Да вот о подполковнике Мясникове, о котором я сейчас рассказывал! Вот ведь как судьба завернулась! — сказал шофер Кравцов.

— И как она завернулась? — спросил я.

— А, вы не слышали, господин подполковник! Сейчас расскажу! — обрадовался шофер Кравцов. — Вот свобода, господин полковник. Вот как она людей выворачивает! — Вообще, я слышал о шофере Кравцове, что он сию свободу, то есть революцию, принял, но сейчас, видимо, зная меня, он захотел мне показаться каким-то другим, как бы вольномыслящим, что ли. — Так вот, пришло из дома, из Тифлиса, подполковнику Мясникову письмо, — стал рассказывать шофер Кравцов. — Написала жена. И написала она, венчанная с ним, что наступила свобода и она пошла жить к одному богатому татарину, который давно за ней волочился, что все равно от подполковника Мясникова никакого толку нет, находится он далеко и безвылазно, жалованье от него ей задерживают, а если и дают, так все его подполковничье жалованье ее нынешний татарин в ресторане по пяти раз за вечер спускает — так богат он. Подполковник Мясников послал ей развод. А она развода не дала. Опять от нее пришло письмо. Венчанная его жена ему написала, что дать развода не может, потому что не знает, сколько любовь татарина к ней продлится,

мол, случиться может всякое, “а тогда, милый мой лысый пупсик, я вернусь к тебе, потому что содержать меня будет больше некому!” Вот как при свободе, а, господин подполковник!

— Причем же здесь свобода? Курв всегда было в большом количестве!

— Так точно, господин подполковник! — сказал шофер Кравцов. — И раньше такое бывало. А вот еще случай, совсем другой! Вы простите, господин подполковник, что я беспрестанно говорю. Если я замолчу, я тотчас засну, и мы…

— То есть как заснешь? — не поверил я.

— Обыкновенно, господин подполковник! Я на Западном фронте газом травленный. Такая вот теперь со мной трансмиссия случается! — сказал шофер Кравцов.

— Но вас же следовало… — хотел я сказать об освобождении его от военной службы.

— Нет, господин подполковник! Я скрываю это. Я отличный шофер. И мне служить нравится. Дома бы я давно заснул навеки. А здесь — я жив-здоров, птицей летаю! — сказал шофер Кравцов. — Ну, так вот, послушайте еще. — И вдруг он вспыхнул каким-то отчаянным азартом: — А хотите, я вам скажу, что о вас в корпусе, ну, в среде нашего брата шоферов, говорят?

Я не успел ответить, хочу ли, а он уже стал говорить.

— А то про вас говорят, господин подполковник, что вы не такой, как все. Это они говорят в хорошем смысле. Уважение, говорят, от него так и идет. Он ничего не скажет или только подойдет, а уже вытянуться охота, и, прошу прощения, скорбное словцо само застывает, хотя до того человек из мати в мать ругался. Но тут же говорят, что вы не наш, то есть не их. Шофера — народ особый. Всякого они насквозь видят. И видят, кто их, а кто не их, будь он хоть какой высоты начальник. Вот, извините, наш командующий корпусом генерал Баратов, он наш. Генерал-майор Линицкий Александр Иванович, чей я шофер, он тоже наш. С командующим корпусом они, простите, на ножах, так что командующий выхлопотал себе другого начальника штаба, своего старого друга генерала Ласточкина. Но оба они наши. А про вас говорят, что уважают, говорят, справедливый и солдата любит, но вот какой-то из высоких, не достать.

— Спасибо! — усмехнулся я.

— Прошу извинить, господин подполковник.

— Как же я не знаю этого? — сердито, будто шофер Кравцов был виноват, спросил я.

— А как вам знать? Вы все время на линии. Там много не узнаешь, — сказал шофер Кравцов и вдруг стал рассказывать дальше: — А войскового старшину Бичерахова знаете? Он ведь тоже, как и вы, какой-то такой, что не достать. А вот, извините, в свое время его ведь из полка судом чести отчисляли!

— Да это-то откуда вам известно? — снова сердито спросил я.

— Дело прошлое. А шофера все знают. Везем мы своих начальников. А они между собой обо всем разговаривают. Вот и мы все знаем. Еще до войны его отчисляли!

Из документов строевой части я знал эту историю командира-партизана войскового старшины Лазаря Федоровича Бичерахова, отважного, как было написано в его служебной характеристике, до дерзости и беззаветно преданного Отечеству офицера. Но, как это бывает, сильная боевая натура сильна и в своей страсти помимо боя. Он не смог сдержать своего чувства к жене своего друга, тоже осетина, что привело у того к распаду брака. Конечно, офицеры полка исключили господина Бичерахова из своего состава. Командир его полка сообщал тогдашнему начальнику штаба нашего корпуса генералу Эрну, дай Бог памяти, что “прикомандирование к полку войскового старшины Бичерахова нежелательно ввиду исключения его из полка судом чести”. Кажется, так. Но скажу еще раз, это был настоящий воин. Его отряд в пять конных и одной пешей сотен при двух орудиях и восьми пулеметах отличался особенной доблестью, инициативой и решительностью.

— И еще про вас могу сказать! — совсем разболтался шофер Кравцов.

— А я могу вас поставить на часок под ружье! — остановил я.

— Слушаюсь. Понял! — сказал он.

Глава 22

Казвин открылся не сразу. Он мало чем отличался от прочих азиатских городов по архитектуре и устроению, но имел свою особенную черту. Собственно, все персидские города отличались тем, что выносили свои сады за городские стены. Но Казвин был окружен виноградниками, фисташковыми и миндальными садами плотно, как хороший солдат хорошо скатанной шинелью. К тому же он располагался на равнине перед снежным хребтом Эльбурс, показывающимся из-за холмов на поворотах дороги и магнетически притягивающим к себе глаза, так что городу внимания не оставалось. Два года назад, во время антирусского разгула, Казвин стал прибежищем массы русских служащих со всей Персии. При этом местные жители, научаемые дервишами и агентами турок и германцев, приняли беженцев, как и все русское, весьма враждебно. По улицам пошли своеобразные демонстрации в виде похоронных процессий. Толпы жителей, выряженные в белые передники и украшенные черными флагами, с неизменными же дервишами во главе, шатались по улицам и пели некие гимны, в переводе обозначающие ни много ни мало, а “смерть нам, правоверным, если ранее не умрут русские нечестивцы”. Торговля, находящаяся в руках местных армян, была полностью прекращена, и говорят, что те, кто отваживался торговать, были преследуемы и даже убиты.

Теперь же было наоборот. Город был в руках расхристанного русского полка, собранного из уголовного элемента и дезертиров, что вошло в обычай при временной сволочи.

Первых из них мы встретили при въезде. Были они то ли пикетом, то ли неорганизованной группой в шесть человек, по своему желанию вышедшей на окраину и расположившейся в тени большого платана, среди брошенных наземь шинелей и прочей амуниции. Я спросил, как проехать на Рештскую улицу, к начальнику гарнизона.

— Ой, не стоит, ваше высокоблагородие! Я же все здесь знаю! — предупредил меня шофер Кравцов.

— Братец! — позвал я ближнего к дороге.

— Ну! — отозвался он и посмотрел на остальных.

— Рядовой, ко мне! — приказал я.

— Ну! — снова сказал он и снова посмотрел на остальных.

— Дядя, тебе чего? — спросил один из них, очевидно, старший.

— Прошу вас, ваше высокоблагородие, не связывайтесь. Поедемте. Я сам все знаю! — взмолился шофер Кравцов.

Сколько ни был я со времени отречения и преступного приказа номер один готов к подобному случаю, у нас совершенно немыслимому, тут же, однако, я впал в холодное бешенство. По мне враз прошли две мысли: я ничего с ними сделать не смогу, и я сейчас их всех просто-напросто застрелю. И тотчас мне почему-то вспомнилась картинка, мной увиденная год назад на Асад-Абаде, когда мы с

Николаем Николаевичем Баратовым последними, уже в полуокружении, покидали этот перевал. Я вспомнил, как командир пограничников полковник Михаил Семенович Юденич специально приехал на перевал, ходил по лазаретам, собственно среди лежащих прямо на земле солдатиков, и искал своих.

— А, кажется, мой! — тыкал он неизменным ореховым прутом в кого-то из своих и, если рана того оказывалась пустячной или бедолага оказывался в лазарете по чрезвычайному переутомлению, бил его, называл дезертиром и гнал обратно в полк, последними силами держащий фронт.

Я жестом велел шоферу Крацову и вестовому Семенову оставаться в автомобиле и пошел к группе. Она вся тотчас напряглась. Я подошел. Все невольно встали и заправились.

— Кто старший, братцы? — дружелюбно спросил я.

— Я, двести семьдесят девятого пехотного полка, пятой роты рядовой Лямин! — встал во фронт малый с каким-то зловатым, но умным выражением лица.

— Кто командир роты? — спросил я.

— Прапорщик Сизиков, ваше… — запнулся рядовой Лямин на отмененном, но въевшемся титуловании.

Я решил его выручить.

— Что же он вас, братцы, не научил дисциплине? — спросил я.

— Виноваты, господин подполковник! — за всех ответил рядовой Лямин.

— Ну, а как, если бы курды или местные бандиты дженгелийцы нагрянули? А вы расхристанные! Враз уволокут к себе и начнут мучить, прежде чем убьют! — сказал я.

— Виноваты, господин подполковник! — снова за всех сказал рядовой Лямин.

— Это что же, весь полк такой? — спросил я.

— А ты кто будешь? При тебе мандат или документ есть? — вдруг шагнул ко мне некий тип моего возраста, с сероватым на цвет и безволосым лицом.

— Фамилия, рядовой! — потребовал я.

— А я член ротного комитета, и каждому докладываться мне нет надобности! — сказал он.

— Ладно тебе, Штыпель! Видно же, что они при исполнении! — несмело сказал рядовой Лямин.

— А ты больно-то не тянись, не кум перед тобой! Я доложу в комитет! Там тебе потянуться дадут! — пригрозил Штыпель.

Николай Николаевич Баратов был прав, когда говорил, что знает мой характер. Я снова был готов вынуть револьвер и пристрелить сего Штыпеля на месте. Но Николай Николаевич был прав еще раз, когда говорил, что знает мой характер. На слова Штыпеля я любезно улыбнулся и — вот картинка для альбома князя Гагарина,

вероятно, завершающая его альбом, — протянул Штыпелю служебное предписание.

— Глянь, Коростелев! — стараясь небрежно, но что-то чуя неладное в моем поведении, сказал Штыпель через плечо.

Предписание взял солдатик, по виду из приказчиков на розничном рыбном торге.

— Командир корпуса Баратов и печать. Подполковник Норин. В Казвин, к нам, значится. Полномочный. Это значит… — как-то выборочно стал читать Коростелев.

— Все, смолкни, — велел Штыпель.

— Разрешите идти? — с той же улыбкой спросил я, хотя никуда уходить не собирался.

Штыпель, уже явно хлебнувший офицерской крови, но неизвестно почему не отирающийся у себя в комитете, а выпровоженный в пикет, постарался незаметно оглядеть меня, как бы проверить степень моей опасности. Мой вопрос поставил его в тупик. Однако же он не сделал выводов. Я не стал ждать, шагнул к нему и быстро ударил тычком в нос, а потом сзади подсек по ногам. Он упал на колени. Я выхватил револьвер.

— А ну встать! — сказал я Штыпелю, хотя был уверен, что сразу встать он не сможет. — Поднять мерзавца! — махнул я револьвером на остальных и не сдержался сказать: — Стыдно вам, защитники Отечества, стыдно и позорно терпеть вот этаких! Поднять мерзавца! — И жестом остановил полетевших ко мне шофера Кравцова и вестового Семенова.

Потом я велел Штыпелю утереться, посадил в автомобиль и повез на улицу Рештскую, где сдал дежурному по караулам.

Город действительно был во власти дезорганизованного полка. Нас несколько раз останавливали. Я велел Штыпелю говорить, что он комитетчик и провожает нас. Он говорил. На нас с подозрением смотрели, но, видно, Штыпель был известным в полку. Нас пропускали.

— Как же ты, из комитета, оказался в пикете? — спросил я.

— Это все Кодолбенко! — всхлипывающе сказал Штыпель.

— Кто такой? — спросил я.

— Главный в полковом комитете, мокрушник, зараза! — сказал Штыпель.

Начальник гарнизона полковник Подзгерский был у себя.

— Вы одни? — сразу же спросил он и показал в окно: — Это черт знает что такое! Четвертые сутки болтаются! Дальше отправляться не хотят, требуют возвращения! Грозили меня пристрелить. Командир полка под арестом. Офицеры, которые не с ними, — тоже.

— Как это “которые не с ними”? Что же, есть “которые с ними”? — опешил я.

— Военный выпуск, всякая шваль — земские учителя, землемеры, какая-то эсеровщина! — в злой брезгливости сказал полковник Подзгерский.

— Так что? У вас в руках власть — комендантский взвод, караульная команда, в конце концов! — сказал я.

— Все пустое! Этих бандитов шестьсот человек! Сметут и не поморщатся. Даже онучей своих не запачкают! — с прежней злой брезгливостью ответил полковник Подзгерский и спросил: — Вы-то почему одни? По крайней мере, я ждал с вами пару сотен казаков!

— Они отведены на отдых, — едва не сквозь зубы сказал я.

— Вот как! — воскликнул полковник Подзгерский. — Это новость! А командующий сообщал, что нет ни одного свободного солдата, не только казака!

— Я же говорю: отведены на отдых! — сказал я.

— Вы, кажется, шутите! — наконец догадался полковник Подзгерский. — Да, следовало мне самому догадаться.

— Давайте к делу, господин полковник! Пожалуйста, дайте сколько возможно полную картину на сегодняшний день в городе в связи с этим полком, и какие вами приняты меры! — прервал я полковника Подзгерского.

— Извольте! — начал было он, но тут же махнул рукой: — Да все в их руках!.. Если уж командир полка арестован!.. И ни одного сильного человека, который бы… Да что говорить! Вон проходил Восемнадцатый драгунский полк и тоже, так сказать, изволил расседлаться, то есть тоже забузил! Так у них, я скажу, унтера заступились за офицеров! Мне запомнился один такой. Полный бант на груди, сам небольшой, а как замахал кулачищем: “Вы что! — заорал. — Вы думаете без начальства прожить! Да дураки вы!” — и так далее.

— А фамилия унтера? — с интересом спросил я.

— Да кто же унтеров запоминает! — в усмешке воскликнул полковник Подзгерский. — Но если вспомнить… Да, — и крикнул адъютанту войти. — Скажите-ка, этот унтер из драгунского полка, что вам понравился, как его фамилия? Ну, тот, который все их сборище обозвал дураками и помог офицерам восстановить дисциплину?

— Буденный его фамилия, Сергей Юлианович, унтер Буденный! — вспомнил адъютант.

— Молодец! — не удержался воскликнуть я при упоминании фамилии моего старого знакомого.

В кабинет гулко, с притопом разбитой обуви и отстраняя адъютанта, вошла толпа солдат.

— Вот! — только и успел сказать полковник Подзгерский.

— Это как, полковник, понимать? — вышел от толпы солдат с веселым круглым лицом при белесых ресницах и с револьверной кобурой на поясе.

— Доложитесь по все форме, Кодолбенко! Перед вами начальник гарнизона и полномочный представитель командующего корпусом! — крикнул полковник Подзгерский.

Он крикнул явно для меня. Явно без меня у него был с этим солдатом другой тон.

— Ты меня знаешь, полковник. Я подчиняюсь только приказам армейского комитета. Мне ваши представители — вот! — изобразил он высморк.

— И что тебе надо, Кодолбенко? — перешел, видимо, в прежний тон полковник Подзгерский.

— А первое, не тебе, а вам. А второе, факт рукоприкладства к революционному солдату! — сказал Кодолбенко и обернулся на толпу: — Который?

— Вон подполковник сидит. Он и сдал! — ткнул из толпы на меня пальцем начальник дежурного караула.

— Прямо по сопатке. Мы в пикете, при исполнении. А он по сопатке! — уточнил факт рукоприкладства Штыпель.

— Ну, вот, как говорится, баушка Орина тихо померла! Собирайся, твое высокоблагородие, на выход! И оружием не баловать! Враз к стенке, как клопа в гербарии, приткнем! — весело глянул на меня Кодолбенко.

Толпа передо мной развернулась в полукруг. Несколько ближних штыков почти коснулись меня. Я весь опустел. Меня хватило только на короткую мысль о том, как я бездарно провалил поручение Николая Николаевича Баратова. Мысль закончилась словом “проткнут”. В каком-то сковывающем холоде, будто на Марфутке и будто от пролетевшей высоко пули при дурацкой атаке Раджаба на наши позиции, я отдал револьвер, кинжал и шашку, усмехнулся, явно криво усмехнулся, не торопясь поглядел на Кодолбенко. Он кивнул на дверь. Я пошел. Толпа затопала за спиной.

— Надо кончать сразу, — сказал там, за спиной, голос Кодолбенко, не он сам, а, в моем застывшем представлении, лишь его голос.

— Сперва надо судить! — возразил ему другой голос.

— Таких надо кончать сразу! Это белая кость! Ее не исправишь! — сказал голос Кодолбенко.

— Нет, Кодолбенко, как решит комитет. Стрелять его не за что. Ишь, сатрап какой! Мы тебя с власти-то по чилде мешалкой — быстро! — ответил ему другой голос.

Так, в препираниях, меня привели все-таки не к стенке, а в пакгауз в конце двора, велели часовому открыть дверь и толкнули в темноту.

— А я доложу на повестку заседания твою блудную требуху, Ульянов! — уже за воротами пакгауза сказал голос Кодолбенко.

— А я доложу, что ты в сатрапы метишь, поперек революции власть в полку взять хочешь. Из тебя самого твой гербарий сделают! — ответил другой голос, то есть теперь уже голос Ульянова.

— А вот баушка Орина тихо померла. Ризнула в перину, не подождала! А это ты, Ульянов, видел! — сказал голос Кодолбенко.

Я остановился на пороге, ничего не понимая. Я чувствовал только холод. И я не мог сообразить — приснилось ли мне это или все произошло наяву. Я с трудом думал, что, может быть, все-таки я уснул в автомобиле, что никаких Штыпелей с Кодолбенко не было. Тому помогала темнота, в которой я оказался. Я пошарил по поясу. Ни кинжала, ни шашки, ни револьвера в кобуре не было. Но и это не убедило меня. Я подумал о планшетке с письмом Элспет и вспомнил, что оставил ее в автомобиле у вестового Семенова. Я хотел проснуться. “Любовь не окрыляет и не подвигает. Она отнимает последние силы!” — подумал я, радуясь тому, что все это во сне.

— Проходьте, добрый человек! Кажись, вы из офицеров? — вдруг заговорила темнота сильным стариковским басом.

— Спасибо. Только я ничего не вижу! — услышал я свой голос и даже подивился, что голос мой был совершенно спокоен — именно как во сне.

— А вы на наш голос проходьте. Под ногами ничего нету. Не запнетесь! Только, извиняйте, не разглядели мы вашего звания! — снова сказала темнота.

— Спасибо! — снова услышал я себя и несмело шагнул.

— Та вот туточки и сидайте!

Холод не отпускал меня. Я с трудом нагнулся, нашарил край чьей-то одежки, присел и еще раз спросил себя, во сне ли я.

— Так кто же вы будете, шо вас зрестовали? Ныне худых не зрестовывают! — услышал я едва не около уха.

— В таком случае и вы не худые! — кое-как нашел что сказать я и стал склоняться к тому, что все-таки я не во сне.

— Были бы не худы, разве ж поддались бы этой ерлыжне! Господи, прости! Ерлыжня и есть! — сплюнула темнота.

Говорила темнота по-малороссийски. Этого наречия я воспроизвести не умел, потому ее слова передал, как вышло.

— Ерлыжня. Только что много ее да со штыками. А так выйди хотя бы три на один. Мы старики, а сопли-то пятками утирали бы они!

— Расхристались. Революция им. Плетей давно не чуяли! — сказала темнота голосом другим, а потом в два голоса спросила снова: — Так кто же вы будете, добрый человек?

Я сказал.

— Тю, ваше высокоблагородие! Честь имеем! А мы вот, он Кубанского войска Уманского полка отставной старший урядник, а ныне старик Кавказского отдела станицы Переясловской Иван Петренко, а я того же полка отставной хорунжий Федор Прудий! — в восторге отрекомендовалась темнота.

— Как?! — сколько мог в моем холоде, вскричал я. — Как станицы Переясловской?! А случайно подъесаула Гамалия вы не знаете? Он уроженец вашей станицы!

— Ваше высокоблагородие! Так ведь мы ж от станичного собрания стариков к нему в полк почетными аманатами направлены. Мы же его, героя, на все будущее время объявить постановили!

И последующий мой вопрос, почему старики оказались здесь, совпал со сказанным в один голос их вопросом, откуда знаю я сего героя Гамалия. Мы вскрикнули на три голоса, смолкли каждый в ожидании ответа и опять вскрикнули, опять смолкли, ожидая, кто же скажет, и опять вскрикнули. Не спрашивать, а подождать стариков я спохватился первым.

— Так знаете Ваську-то? — спросили старики.

— Да как же нет, господа! Ведь два года вместе! — сказал я.

— Эвон каков он стал ныне, Васька-то! Герой. А, поди, так теперь к нему нас не пустят! Скажет: “Кто? Старики из Переясловской? А гнать их отсюда, пока я им на старые зады гостинца не отвесил!” Шибко ведь он малолетком-то шебурным был! — сказали старики.

— Василий Данилович Гамалий сотенный командир и Георгиевский кавалер. При этом он душевнейший человек! — в обиде за друга сказал я, и будто холода еще убавилось.

— Васька молодец. Молодец Васька, казак! — согласились старики.

Часовой в ворота стукнул прикладом.

— Эй вы там, вашу мать! Галдеть вам приказу не было! Вмиг через дверю стрелю! — пригрозил он.

Меня в ответ прорвало. Будто река вздулась, вспучилась, выгнула и сломала лед. “Меня так же травили собаками и тыкали вилой!” — ударило мне в голову.

— Ах ты, сволочь! А ну зови сюда начальника караула! — заорал я.

Никакого начальника караула мне не было надо. Но лопнул лед, ожившая река потекла. Я не смог сидеть просто так.

Часовой на мой приказ в удовольствии заржал, захлебнулся, кое-как откашлялся и утробно сплюнул. Плевок шмякнул о камни.

— Эй ты! — позвал он кого-то со смехом. — Передай, эти благородия нашему начальнику велят прибыть сюда! А то сами заявиться грозят, иху мать! — И потом, в том же удовольствии стукнув прикладом в ворота, прокричал мне: — Сейчас, мил человек! Сейчас, сволочь, тихий гусь!

— Сейчас, сейчас! — в бешенстве сцепил я зубы.

— Ваше высокоблагородие! — схватили меня старики за руки.

— Сейчас! — сказал я.

Бой — это та же степенная и размеренная мирная жизнь, только до предела сжатая. Как и в мирной жизни, так и в бою, мы не можем предугадать следующего мига. Только в бою этот миг отличается от мига жизни несжатой. Потому в бою даже при хорошей, а то и прекрасной разработке плана, в отличие от жизни мирной,

приходится постоянно преодолевать нескончаемую череду непредвиденного и случайного. Степень их преодоления определяет успех или неуспех боя.

Эту простую штуку следовало бы знать начальнику караула. Пока он, возмущенный моим поведением и явно выслуживающийся перед комитетчиками, входил в пакгауз, царапал свою кобуру в намерении помахать револьвером передо мной, я сбил предвкушавшего некое развлечение часового с ног, его штыком загнал начальника караула в угол, велел отдать револьвер и для острастки дал ему хорошего леща в ухо. Потом я пинками загнал часового в пакгауз, разрядил его винтовку, а с револьвером в прижатой к бедру руке пошел по двору к полковнику Подзгерскому. Я, чтобы не обратить на себя внимания, намеренно пошел шагом.

Однако бой есть бой. В этот раз случай был не на моей стороне. От караулки за своим начальником следили, чего я не предусмотрел. Там заполошно заорали тревогу. Пришлось мне спешно возвращаться в пакгауз и закрываться изнутри. Навалившемуся и начавшему долбить прикладами в ворота сброду я объявил, что этого не следует делать, что это может повредить их — как начальника караула назвать — товарищу, не товарищу. Я так и сказал: “Вашему товарищу или не товарищу!” Ругани в ответ было изрядно. Пришлось выстрелить в потолок и снова, так сказать, попросить, чтобы успокоились. Это подействовало. К пакгаузу приставили двух часовых.

Ни во время моего так называемого боя, ни во время возвращения в пакгауз я не видел моих стариков, даже забыл о них. Опыта рукопашного боя у меня не было. И я все делал в сильной аффектации, механически. Для меня снова стало неожиданностью, когда они заговорили.

— А джигит вы, ваше высокоблагородие, истый казак! — услышал я их, и мне стало стыдно. — Джигит, джигит! Теперь можно поверить, что вы Ваську Гамалия знаете! — похвалили старики.

Я тяжело выдохнул. Что теперь с нами будет — вот этого я подлинно не мог предугадать. То есть наоборот. Теперь я определенно мог сказать, что со мной будет, только я не мог сказать, как и когда.

Так прошла ночь, в течение которой то и дело какая-нибудь сволочь считала своим долгом подойти к пакгаузу, ударить в ворота и погрозить мне растерзанием. Я не отвечал. Подходили и спрашивали начальника караула, как он. Я или давал отвечать ему, или отвечал сам. Разумеется, мне грозили самыми изощренными карами. Я сел подле ворот, прямо под запором, чтобы услышать, если вдруг мои пленники отважатся, если я ненароком засну, открыть. Я предупредил, что убью, если они попытаются это сделать. Они заверили, что не попытаются.

Старикам я предложил выйти — не делить же им мою судьбу.

— Так за что же вас арестовали? — спросил я.

И оказалось, их арестовали за то же, что и меня, — они стали призывать полк к дисциплине.

— Да разве ж теперь мы вас бросим! Не було такого на Кубани среди казаков, чтоб джигитов предавали! — сказали они, долго шарили по полу, собрали все

патроны, брошенные мной из обоймы, зарядили винтовку. — Вот! — сказали. — Теперь мы тоже казаки при оружии. По очереди караул нести будем!

Я не знал, что делать дальше, и устал думать об этом. Я стал сочинять письма Элспет. Опять, как и в автомобиле, я насочинял их много. В силу одинаковости всех любовных писем приводить их здесь нет нужды. Может быть, отличным от других было то, что я за многие годы войны почувствовал себя свободным. Я где-то говорил, что война освобождает от многих условностей, не дающих человеку свободы в мирной жизни. С войной у меня появилось много, как вот сейчас, свободного времени. И это было странное счастье — писать ей и знать, что она все каким-то образом прочтет, хотя не только не прочтет, но даже не узнает, что я ей целую ночь писал. Я написал ей о моей любви к Ражите, к шестнадцатилетней Ражите, живущей только во мне. Я признался ей в своей теперь уже ушедшей страсти к Наталье Александровне. Я писал о том, как у нас не сложилось с Ксеничкой Ивановной, как искала моего чувства Валерия, как что-то дрогнуло во мне к Маше Чеховой. Писать было легко. Я все искал в себе и обо всем писал Элспет. Я пересказывал ей слова лейтенанта Дэвида, поклявшегося помочь нам в нашем чувстве. Я перемежал свои строки о любви к ней строками о Василии Даниловиче, его подвиге, нашей дружбе, написал о Коле Корсуне, о Николае Николаевиче Баратове, уходил в воспоминания о детстве, о нашей прибельской даче, лесе и лугах, черном озере Кусиян с его чудищами, вспомнил Фазлыкая и Тимирбая, опять вернулся в Персию, написал наши труды по отходу с Диал-Су, написал о Бехистуне, рассказал о сотнике Томлине, вернулся на Олту и сказал о Саше, заодно сказав о каком-то его участии в персидских событиях. Все, что было во мне, я написал Элспет. Я написал, что это не прощание. Это просто мое чувство к ней. А потом я написал, что, возможно, это прощание, — ведь я уходил от нее к Ражите, к моей шестнадцатилетней Ражите, живущей только во мне. Потом я снова написал, что это не прощание. Это просто псалом, написал я. Это так, будто я читал псалом — девяностый ли, иной ли, но светлый, радостный псалом. “Господи! Не суди меня! — читал я своим письмом. — При всех грехах моих, я нашел это! да ведь и Ты же вел меня к этому, Господи! Ты дал мне это!” — А “это” как раз было мое чувство свободы, мое время писать Элспет.

И вместе с письмами я чувствовал то, как я боялся смерти, как я ее не хотел. Переламывая страх, я думал, что нужно успеть застрелиться. А для этого нужно не представлять заранее этой сцены и сцены глумления над моим телом, не надо представлять оставляемой жизни, не надо думать об Элспет. И я чувствовал, как я боялся начала рассвета, — я боялся в это время заснуть.

Именно на рассвете я заснул. Разбудил меня голос начальника караула.

— Ваше высокоблагородие, нет мочи, до ретроградного места бы, до ветру! — прохныкал он.

Я только молча сматерился. “Вот что нас погубит!” — подумал я о смраде испражнений, неминуемо нас ожидаемых.

Не стало счастья быть свободным и писать письма. Пришла служба. Я злобно стал думать, как мы сдохнем не от пули, а от смрада своих испражнений в полном

соответствии с поруганием мундира офицера его императорского величества, офицера Российской армии. “Революция знала, когда, где и как достать!” — стал думать я.

— Делай у себя в углу! — сказал я.

Начальник караула долго кряхтел, тужился и долго что-то там — уж и не знаю, как сказать, — вытворял. Однако после всего он едва не с плачем доложил, будто я был виноват:

— Не могу, ваше высокоблагородие! Не могу! Спеклось!

— Ковырни пальцем! — посоветовали старики.

— Ковырял, ваши благородия! — доложил он.

— Тоти ж поганы твои дела! Час-другой, и помрешь! — сказали старики.

— Отпустите меня! Не дайте загибнуть христианской душе! — взвыл начальник караула.

Вздернувшийся от его воя часовой громыхнул прикладом в ворота:

— А ну там, вашу мать! Сейчас через дверь стрелю!

Это было похоже на давешнее. Старикам стало смешно.

— А что, ваше высокоблагородие! Может, повторим? Теперь и мы с вами. А? — всхохотнули они да вдруг спохватились: — А что, может, правда, а? Хоть в бою жизнь продадим! А то ведь тоже спечется!

О том, что дело пустое, что не дадут нам в бою помереть, я ответить не успел. В нескольких местах двора по-гусиному загоготалось: ась? шо? гы? — оказывалось, что нас караулил едва не весь полк.

— Поймают и будут мучить, — сказал я.

— Ах ты, Васька! — вдруг взорвались старики на Василия Даниловича Гамалия. — Ведь к тебе, язви тебя в душу, от станицы нас отправили! Ведь тебе, голодранцу, нас отправили почет отвезти. А ты вона что! Ты, поди, давно уж и не воюешь! Ты, поди, с персиячкой какой займуешься! Ты, поди, уж и родну станицу забыл, поди, уж веру православну горьку на сладко магометанство променял! А мы тут со всякими пердунами сиди! Ах ты, язви тебя в душу!

— Отставить, господа! — рявкнул я.

— Как это отставить? — удивились и тотчас обиделись старики. — Да вы хоть и штаб-офицер, да мы-то зато старики! Мы-то зато выбранные в станичное собрание стариков!

— Молчать, старики! — прошипел я.

Я уловил — что-то новое случилось во дворе. Гусиное гоготание, эти все “ась?”, “шо?”, “гы!”, “стрелю!” вдруг сменились на что-то другое. Вдруг возник и стремительно стал нарастать некий иной оттенок этого гоготания, стремительно переросший в шум накатившей на берег и отползающей волны.

— Что, ваше высокоблагородие? — шепотом спросили старики.

Я не мог точно различить что. Но этот же вопрос “что?” тревожно заперекатывался по двору.

— Что? Что? Кто? — понеслось оттуда к нам и вдруг все взорвалось паническим криком: — Тикай!

Все мимо нас прогремело и стихло. Сиротливо хлопнули где-то на улице два револьверных выстрела. Когда к нам в ворота постучали открывать, в городе революции уже не было.

— Здравствуйте, полковник! Здорово ли ночевали? Пожалуйте к нам на молебен! — раскинул руки навстречу раскрываемым воротам чрезвычайно малого роста казачий подполковник, то есть, по-казачьи, войсковой старшина со Святым Владимиром на черкеске.

Это был тот самый командир партизанского отряда Шкура, о котором говорил при постановке задачи Николай Николаевич Баратов, но о котором я в связи с моим некоторым заморожением напрочь забыл. Да и хорошо, что забыл. Господь уберег помнить о нем и тем уберег от мучений ожидания помощи, отнимающего всякую волю.

Надо ли говорить, что молебном была картина выстроенного обезоруженного полка, вкруг которого стояли партизаны Шкуры с драгунками наперевес. Перед полком стояли кучкой освобожденные из-под ареста командир полка и его офицеры. Знойное молчание всей картины как-то гармонично вписывалось в наливающееся зноем утро. Завидев нас, вернее, завидев своего командира, навстречу побежал высокий и плотный подъесаул.

— Ваше высокоблагородие! Двести семьдесят девятый пехотный полк выстроен по вашему приказанию! Докладывает подъесаул Ассиер! — сверху вниз прокричал подъесаул.

— Начинайте! — снизу вверх махнул перчаткой Шкура.

— Слушаюсь! — подъесаул на месте повернулся так, что из-под сапог брызнул гравий дорожного полотна.

— Ну, тоти ж дадуть плетюганов! — в удовольствии сказали старики.

— Войсковой старшина! — окликнул я войскового старшину Шкуру.

— Да, господин полковник! — отозвался он.

— Я не вижу рядом с полком комендантской команды. И я не вижу полкового знамени! — сказал я.

— Совершенно верно! Подъесаул! — крикнул войсковой старшина Шкура своему подъесаулу.

Тот так же круто развернулся.

— Гарнизонную команду и знамя сего сброда — сюда! — приказал войсковой старшина Шкура.

— Слушаюсь! — подъесаул снова повернулся на месте, и снова из-под каблуков его брызнул гравий.

— Господа! — едва не в слезах взмолился командир полка. — Господа, избавьте от позора. Не позорьте знамени! Ведь не эти смутьяны под ним сражались! Прошу вас, господа!

Войсковой старшина Шкура посмотрел на меня. Я понял, что хватил лишку.

— Вы правы, господин полковник! — сказал я. — Но скажите им, как вы их назвали, смутьянам, о том, что они опозорили полковое знамя. И по закону военного времени они должны быть преданы суду. У них один выход — очистить знамя от пятна позора своей самоотверженной службой.

— Да, да! Благодарю вас покорно! Я скажу! Мы проведем расследование! Благодарю вас, господа! Вы спасли полк от расформирования, а меня от суда и позора! — засуетился командир полка.

Ко мне подошел полковник Подзгерский.

— Как я рад, что все так обошлось. Я протестовал против вашего ареста. Я пытался связаться с корпусом. Я сразу же сказал этому войсковому старшине о вас. Поздравляю со счастливым окончанием! — сказал он по-французски.

— Не имею чести быть с вами знакомым! — по-французски же ответил я.

Подъесаул ждал команды войскового старшины Шкуры. Тот коротко махнул.

— Полк! — протяжно, как далекий нарастающий гром, прогремел подъесаул. — Шапки-и-и долой!

Опять побежавшей на берег волной по улице прошел шум. Полк скинул папахи.

— Полк! Запе-е-е-вай! — скомандовал подъесаул.

Революционный полк запел гимн Российской империи “Боже, царя храни!”. Мы взяли под козырек.

Глава 23

В ноябре постановлением корпусного комитета я был уволен со службы.

В России все рухнуло, а мы сидели от нее за тысячи верст и не знали, что делать. Сплоченные чужбиной, обволокшей нас со всех сторон толстой глухой кошмой, мы оставались боеспособным соединением, вместе держались до последней возможности и не поддерживали прибывающие к нам с других фронтов части, которые только тем и занимались, что митинговали и мародерствовали. Отречение государя прошлось по нам жестоким огневым налетом, который мы, однако, выдержали. То, что он отрекся не сам, а уступил разрушителям России, как в пятом году, было очевидным. Пятый год как бы подготовил нас к отречению. Мы как бы жили с ожиданием этого отречения и в целом какой-либо непоправимой трагедии не увидели. В конце концов, стали считать мы, отрекся лишь государь. Хотя бы внешне мы успокоили себя тем, что признали это право за государем. Мы были слугами его, и не нам было судить его поступки.

Но так я мог сказать по прошествии едва не года, когда чувства притупились и когда случились гнусности нового, теперь уже большевистского, переворота. От него, кстати, чувства еще более притупились, и поселилось в душе нечто неприязненное к государю, будто он был виноват во всем после него случившемся. Те, кто следовал обычной логике, так и постановили: да, он виноват, так как отрекся и тем допустил. Я же стал полагать другое. Из доходивших к нам известий можно было вынести только одно — восстали рабы. Восстали рабы не по положению. Восстали рабы по душе своей, те, чьей страстью было разрушать и властвовать. А коли так, они бы восстали и без отречения государя.

Необходимо сказать, нас было много, и не только в Персии, а и в самой России, кто отречения не принял. Как нам стало известно, так сделал командир Третьего конного корпуса граф Келлер, так сделал командир Кавказской туземной дивизии князь Багратион, так сделали генерал Крымов, генерал Корнилов. И я уверен, так сделали многие не столь известные военачальники и командиры. Однако они не играли погоды. Рабская страсть революции, то есть страсть управлять через разрушение, растоптала этих людей.

Сейчас, в свете нового переворота, можно было сказать, что тогда отречение стало большинству чем-то волнующе новым, пьянящим — несущим ужас, но одновременно пьянящим. Большинство из нас на время стало пьяным и стало ждать чего-то нового, какой-то такой перемены, которая бы переменила, ничего не переменив, когда бы стало все хорошо и ново, но все бы осталось прежним. Большинство из нас поверило в это.

Треснуло и лопнуло после большевистского переворота. Из России нам отстучали телеграфом о захвате власти новой сволочью и о захвате командования всей Российской армией какими-то тремя личностями — Крыленко, Дыбенко, Овсеенко, из которых высшим по чину был прапорщик военного времени.

— Ко-ко-ко-конэць! — сказал с характерным малороссским выговором, который придал фразе злое обаяние, командир бригады Третьей Кубанской казачьей дивизии

Федор Иванович Кравченко.

А потом плешивые канцелярские штабсы приняли телеграф о передаче командования в войсках солдатским комитетам, об уничтожении воинских званий, знаков различия и орденов.

Образовался комитет и у нас. Объявились комиссары новой сволочи — всякие Фричкины, Вичкины, Опричкины и с ними воспряли Штыпели с Кодолбенко. Тот же Федор Иванович с артистически глубокомысленным и глубоко презрительным вывертом воздел над собой полусогнутый палец, выпучил для большей страсти жгучие свои глаза и опять сказал:

— Ко-ко-ко-комытэт! — а потом грохнул по столу кулаком: — А усих пид суд! Суд, кажись, ще без “ко”!

Но комитет образовался. И комитет пришел ко мне с предложением стать его членом.

— Вы боевой офицер, кавалер. Вас масса слушает! Вы принесете пользу! — сказал комитет.

Стоит ли говорить, что я отказался.

— Подумай, товарищ! — стараясь внушительно и с превосходством своего положения, но со спотыканием на словечке “товарищ” по отношению ко мне сказал на мой отказ начальник комитета или что-то в этом роде комиссар Шумейко.

— Благодарю за совет! — усмиряя себя, сказал я.

А думать было о чем.

Чехарда отставлений от должностей и новых назначений цели достигла — фронт развалился. Попытался, говорят, что-то сделать назначенный в октябре новый его командующий, князь Илья Зурабович Одишелидзе, но тут же отступился, потому что комитет ввалился к нему с примкнутыми штыками.

— Ты, гражданин, или с революцией, или тебе на месте конец! — сказали ему.

И все-таки неумным своим умом я не верил в серьезность событий как в России, так и у нас. Я все еще романтически ждал Минина и Пожарского и даже готов был стать рядом с ними. Но сам я стать Мининым или Пожарским не был способен. Во мне не было той силы, той страсти, которая одна только водит полки на правый бой. В моем представлении кто-то там, на верхах, должен был решительно хлопнуть кулаком о державный стол. И тогда я встал бы под его знамена. Там, однако, никто не хлопнул. И я понял, что ничто никому не нужно, что нас здесь бросят на растерзание. И бросят тем более, что мы для этих сволочей и комитетов в России могли представить смертельную угрозу.

Почти такое же, что и Илье Зурабовичу, сказали комитетчики на мой отказ.

— А контра он! — сказали комитетчики побольше, то есть комитетчики из Тифлиса.

Слово у нас еще особого хождения не имело.

— Контра — это, скажем, кто? — спросили комитетчики поменьше, то есть наши комитетчики.

— А кто за царя и помещиков! — разъяснили комитетчики побольше, из Тифлиса.

— Вон как! Тогда конечно. Тогда контра! — яро ахнули комитетчики поменьше, то есть наши.

— А с контрой один базар — на штык ее, и кишки по ветру! — сказали комитетчики побольше, из Тифлиса.

— Да как же — на штык и кишки! — совершенно не революционно взялись рассуждать комитетчики поменьше, наши. — Мы ведь тут с ним два года одну грязь месили, одну нескончаемую мириаду блох и вшей кормили. Мы под его артиллерией, как у Христа, просим прощения, как у революционной сознательности в загашничке, были. Он как беглым влепит, так персак с турком и всякой прочей Германией такого чесу дадут, что и казаки угнаться не могут. А вы говорите: на штык!

— Революция требует таких — на штык! Исполнить и доложить. Иначе вы сами — контра! — загремели комитетчики побольше, из Тифлиса.

— Ах, исполнить и доложить! А может, вы нам старую вонькую, как прошлогодний сиг, дисциплину подсунете! А вот вам революционный кукиш! — революционно оскалились комитетчики поменьше, наши.

Конечно, было не так. Но приказ о моем аресте из Тифлиса приходил. И в ответ было послано, де, пришлем его к вам, но с пушками.

Любви ко мне в этом поступке не было. Барин и холоп, командир и подчиненный оставались каждый при своем, если даже оказывались в одной беде. Отчисленные решениями комитетов от своих полков и присланные к нам офицеры рассказывали причины их отчислений. Нижние чины долго чесали затылки, изыскивая причину, по которой можно было бы отчислить авторитетного офицера, не запятнавшего себя ничем и перенесшего с этими нижними чинами все тяготы окопов, а потом, не найдя причины, вдруг требовали отчислить такого офицера с решением: “А вот слишком начальнический! — или: — А вот слишком хороший!” Так что при защите меня от комитетчиков побольше, из Тифлиса, сыграла первую роль войсковая корпоративность. Комитетчики побольше, из Тифлиса, в данном случае удовлетворились тем, что уволили меня со службы. В это время Николай Николаевич Баратов находился по делам вывода корпуса в Тифлисе. Замещал его генерал Раддац Эрнст Фердинандович. Я уже говорил, что он командовал Первым Сибирским казачьим полком, потом командовал Первой Сибирской казачьей бригадой. Бригада большей частью рейдировала по тылам противника, так что наша жизнь сибирякам казалась, по их словам, милой, как у любимой сватьи в гостях. Потом он был переведен возглавить нашу Первую Кавказскую казачью дивизию. Он до последней возможности оберегал корпус от кровопролития. Потому он ничего в мою защиту сделать не мог и согласился с решением комитета. Я его понял. Но чувства сдержать не мог. Я оскорбился. Перед тем, как покинуть корпус, я поехал попрощаться с Василием Даниловичем Гамалием и как бы уже родной Первой

Терской батареей, расквартированной в Керманшахе. Я поехал, но, как выстрела в спину, ждал приказа о возвращении меня на службу. Кроме нее у меня ничего не было. Я себе говорил, что никакого приказа не будет и надо себя приучать к мысли о какой-то частной жизни. Именно какой — я не имел никакого понятия. У меня не было ни дома, ни дела, ни способности жить частной жизнью. Я мог только служить в военной службе.

Я себе говорил, что приказа не будет. Но я ждал его. И только в Керманшахе после застолья в сотне у Василия Даниловича Гамалия я понял — приказа не будет. По приезде я представился только командиру бригады генералу и бывшему офицеру конвоя Его Императорского Величества Илье Ильичу Перепеловскому и сразу отправился к Василию Даниловичу в сотню. Не стал я наносить визита ни в наше консульство, куда был постоянно приглашаем, ни губернатору сего края, почитающему меня вторым лицом во всем нашем корпусе после Николая Николаевича Баратова. Причина этого почитания крылась в самом простецком. То ли губернатору самому довелось видеть пушки моего дивизиона в деле, то ли кто-то из его подчиненных во всех персидских, недоступных русскому языку красках описал их работу. И почтение губернатора — если не сказать страх — передо мной и моими батарейцами было едва не священным.

У Василия Даниловича мы хорошо выпили.

— А мы тебя никуда не отпустим. Мы тебя к себе возьмем! Будешь с нами служить! — говорили и Василий Данилович, и командир полка полковник Лещенко, и другие старшие офицеры.

— А мы у себя в полку заведем артиллерийскую батарею! Нет, Борис у нас выше батареи! Мы заведем артиллерийский дивизион! Мы будем партизанским полком! И Борис будет командующим артиллерией полка! Нас никакая холера не сокрушит! На Тифлис пойдем! — призывал Василий Данилович.

Пьяный, я с легкостью в это поверил. И мне стало хорошо. Я даже нарисовал себе благостную картину службы в казачьем полку. Я стал говорить, что возьмем в руки всю артиллерию корпуса, что я ее всю знаю, что меня все господа артиллеристы любят, что нам все удастся. И только ночью, проснувшись в своей, можно сказать, родной Первой Терской батарее, все это вспоминая и много вспоминая из прошлого, я вспомнил соседа из госпитальной палаты капитана Драгавцева, говорившего про судьбу так, что она нам дана заранее и в нашей власти остается только следовать ей. Я поверил во все случившееся, в конец моей службы.

— Буду подвизаться по какой-нибудь коммерции, хоть вон у отца одноклассника Миши Злоказова или на мельнице господина Борчанинова! — сказал я.

И я стал перебирать все, так сказать, сильные фамилии Екатеринбурга, которые помнил на момент моего отъезда из него, вспомнил Ижболдиных, Агафуровых, Ошурковых, Поклевского-Козелл, Симановых, вспомнил, что жили на то время в Екатеринбурге граф Строганов и граф Толстой, тайный советник Иванов. Вспомнив их, я вдруг вспомнил разговор моего батюшки со своими сослуживцами у нас за обеденным столом. Началась война с Японией, и пришел правительственный

циркуляр, как мне запомнилось, на предмет призрения больных и раненых воинов, эвакуируемых из действующей армии. Этим циркуляром было необходимо представить губернатору список домовладельцев, которые согласны взять себе на призрение кого-то из них. Я вспомнил, как меня потрясло то обстоятельство, что эти сильные фамилии, имеющие свое дело, имеющие собственные дома порой в десяток тысяч и более стоимостью, не очень-то широко открывали двери этих домов увечным защитникам Отечества. Я запомнил, как батюшка читал список.

— Так, — говорил он, выискивая в списке фамилии этих сильных. — Вот, пожалуйста, Агафуровы. Они имеют восемь домов. И они в каждый дом взяли по одному воину. Дрозжилов Алексей Александрович, потомственный дом в десять тысяч стоимостью. Он взял себе три воина. Почетные граждане Ижболдины — два дома общей стоимостью в сорок семь тысяч. Взяли десять воинов. Похвально. Злоказов Федор Алексеевич — ну, тут три воина. Наш присяжный поверенный Магницкий — тоже, в соответствии, взял троих. Братья Ошурковы на три дома взяли шестерых. Далее, ну, вот граф Строганов в свой домик на четырнадцать тысяч взял одного. Ну, а вот господа братья Симановы — ни одного, почетный гражданин Тупиков Степан Ельпидифорович в два своих дома — ни одного, Филитц Эмма Федоровна — ни одного, купец Ларичев Дмитрий Егорович — ни одного… Вот такой, господа, веселый разговор!

Я это вспомнил и понял — не служить мне ни у кого из них ни по коммерции, ни по управлению, ни по дворничеству.

Утром было не холодно, но сыро. Я вышел во двор. Лошади у коновязей дремали под попонами. Грязь им была по бабки. Со сна они вздрагивали, вскидывались, переступали в сторону, теснили друг друга и, если позволял повод, пытались кусаться. Ездовые хмуро выходили к ним, отирали мокрую шерсть на мордах, смотрели тощие торбы, в скуке озирались. Ездовой Наймушин ради развлечения зажал своему любимцу чубарому мерину ноздри. Мерин всхрапнул, задрал голову и оскалился. Ездовой Наймушин напускно рассердился и в знак примирения скормил мерину сухарь. Увидев меня, он вытянулся, помрачнел, как обычно делал при любом начальстве. Я отмахнул ему “вольно”. Выходить за порог и тотчас провалиться по щиколотку в грязь желания у меня не было. Но быть в темной и смрадной сакле не хотелось еще больше. Я решился на прогулку в город и ждал вестового Семенова, посланного к Василию Даниловичу с этим предложением. Прогулку я предложил и сотнику Томлину. Не протрезвевший со вчерашнего, он сказал, что по такой погоде у него мозжат руки и он лучше выпьет кышмышевки.

— Это бы к Серафим Петровичу сбегать! А то после Александра Филипповича грязь здесь месить нам шибко зазорно! — еще сказал он.

Его алогичную фразу надо было понимать так, что к своей давней бутаковской пассии Серафиме, кстати, мужней женщине и оттого для сокрытия прискорбности измены называемой сотником Томлиным на мужской манер, он собрался бы, а прогуляться по городу, где до него прохаживался Александр Македонский, он считал ниже своего достоинства.

Я вышел во двор. Локай почуял меня. Он стоял под древним, наверно, как раз

времен Александра Македонского, кособоким навесом. Он тихо и приветственно заржал. Тотчас ему ответил другой конь.

— Но, но! Балуй мне! — услышал я следом полный любви окрик батарейного вахмистра Касьяна Романовича.

Я позвал его.

— А, это вы, ваше высокоблагородие Борис Алексеевич! Здравия желаем! — вышел он из-под навеса. — И что же вам не спится! Вы ровно куда нацелились в этакую затируху? — неестественно приветливо спросил он.

Локай снова коротко заржал. И ему снова ответил тот же конь.

— Так ведь, Касьян Романович, бока болят лежать без дела! — сказал я.

— Эк, ваше высокоблагородие! Раз за все два года довелось прилечь, а вы уже — бока болят! Да лежали бы впрок! — в той же неестественной приветливости воскликнул он.

Локай снова коротко заржал, и снова в ответ заржал другой конь. Касьян Романович как-то неприятно скосил рот и глазами ворохнулся под навес.

— Так что, ваше высокоблагородие, хорош ваш конь. Ай хорош! Такой путь проделал, а не подбился, с тела не спал! — сказал он.

— А кто ему ответил оба раза, не ваш? — спросил я.

— Оно, конечно, ваше высокоблагородие, — уклонился Касьян Романович. — Кони мало-мало тоже меж собой балакают. Тоже ведь они с понятием. — И вдруг не сдержался. — И-эх, ваше высокоблагородие! До чего же умны-то они, наши кони! Вот вы, Борис Алексеевич, большого ума человек. Вот вы скажите, сколько же это кони нам служат, сколько они на земле живут! А ведь как они служат! Иной казачишка так не служит, все шоды ждет! — И сам себя остановил. — Да где казачишке хоть бы из-под шоды так служить! Он ведь только и смотрит, чтобы без меры напиться да чужой жёнке под подол сгульнуть. А конь — это вот уж кто верой и правдой служит, вот уж кто за веру, царя и Отечество!

— Да сколько же они на земле, Касьян Романович? Да вот по науке, так появились они пятьдесят миллионов лет назад. И, простите, были они, как нынешние собаки! — сказал я.

— Такие злые, ваше высокоблагородие? — поразился Касьян Романович.

— Нет, как утверждает наука, ростом они были с собаку, вот такие, — показал я по колено.

— Как же по колено, Борис Алексеевич! А под седло его как же? — не поверил Касьян Романович и вдруг догадался: — А, и людишки-то тогда мелконьки были! — И снова переменился: — Нет, с чего бы им мелконьким быть. Мой дед Иван Иванович вон какой был. Моя бурочка-то ему как раз по пояс была бы!

Конечно, следовало бы объяснить бедному вахмистру эволюцию лошади. Однако представил я тяготу объяснения — чужого и неестественного в этой нашей грязи, в мороси неба, жути въедавшихся в нас насекомых, в нашей первобытной

жизни. Представил я все это декадентство университетского объяснения — и мне ничего не захотелось говорить, кроме самого простого, житейского, служебного, навроде того, как нынче в батарее обстоит с овсом, сеном, упряжью, обмундированием, лошадьми, хотя и без того я знал, что обстоит никак.

— А что, Касьян Романович, если бы вдруг опять, как в шестнадцатом году, в рейд. Лошади вытянули бы? — спросил я.

Однако вырвать старого вахмистра из охватившего его вдруг чувства негодования на науку, отважившуюся обратить коня в собаку, оказалось непросто. Он явно представил себя в одно прекрасное утро вышедшим на крыльцо с намерением если не тотчас вскочить в седло, то хотя бы, потянувшись, хрустнув всеми застылыми за ночь костями, прошествовать с каким-нибудь лакомством к своему любимцу. И он представил тот ужас, какой мог его охватить, когда бы он вместо своего коня застал подсунутое наукой нечто несуразное и мерзкое, должное именоваться лошадью.

— А зачем это науке, Борис Алексеевич? — едва не шепотом спросил он.

— Что? — спросил я.

— Лошадь портить, зачем ей надо? — снова едва не шепотом спросил он.

— Да зачем! Наука, она и есть наука! Дарвинизм называется. Докапывается до самых корней! — сказал я.

— И где же она такая проживается? — спросил он.

— Да началась в Англии, а теперь уж по всему свету разошлась! — сказал я.

— А, вон оно что! — будто от зубной боли, вздрогнул он. — С этими-то понятно! С этими все понятно! Себе — битюгов породистых, а нам, казакам, — ростом с собаку! Эх, жалко, не всех их турок взял, как в этой Кут-Эль-Амарке!

— Так как, Касьян Романович, вытянули бы наши кони еще один рейд? — спросил я.

— Так как же вытянули бы, Борис Алексеевич! — все еще пребывая в своем открытии, как бы даже отмахнулся от меня Касьян Романович. — Они, значит, коней себе придумывают, а нам — собак!

— Касьян Романович! — прикрикнул я.

— А? Виноват, ваше высокоблагородие! — опомнился он. — Виноват! Да где же вытянули бы они, наши кони! Ведь откормить их надо прежде того. Ведь как их кормить надо-то! Ведь надо овсу, сена, водицы светлой терской, снова овсу, люцерны! Ведь яровой соломки нарезанной, да запаренной, да отрубями посыпанной надо! Да моркови надо! Да еще как-то вы говаривали, Борис Алексеевич, в артиллерию-то коней тех же английских полукровных надо! А наши-то теперь совсем малокровные! Нет, Борис Алексеевич, не вытянули бы наши кони рейда, так и пали бы, сердечные!

Я уж стал не рад, что возбудил бедного вахмистра.

Что и говорить, российская лошадь в своей массе, кажется, спокон века была

малокровной. Вся масса наших российских лошадей была малорослой, не достигающей двух аршин, то есть примерно ста сорока пяти сантиметров роста. Да взять другого роста было негде. Для хорошего содержания лошади, по науке, требуется минимум шесть десятин хозяйственной земли. Хозяйство в четыре десятины уже не может содержать лошадь в требуемых нормах, потому что при этом оно вынуждено было бы тратить на ее содержание половину всех кормов, чего хозяйство себе позволить не может. А вот еще одна вводная, всплывшая у меня в памяти из курса академии. У нас на коневодческие мероприятия из казны тратится по семи копеек на лошадь в год. В Европе в среднем — по два рубля. Отсюда и последствия. У нас породистых лошадей не наскребется и одного процента, а в Европе эта цифра достигает пятидесяти или даже семидесяти процентов. Печально все это. И тем более печально, что мы имеем самое большое поголовье лошадей в мире.

— Господа, — читал нам курс старый преподаватель, за глаза именуемый нами лошадником. — Нет повести печальнее на свете! Вы только вслушайтесь и проникнитесь! Вам служить России будущего. И мне не хотелось бы, чтобы вы служили ей по примеру наших господ кавалеристов. А там вышла следующая, извините, профундия! На высочайшем уровне было принято решение для нашей кавалерии подготовить лошадь на основе английской чистокровной с тем, чтобы наша кавалерия через необходимое для сего мероприятия время пересела бы на английскую полукровку. И только бы вскричать, как в театре, “браво” и “бис”. Но вот что за оказия, или, говоря словами Грибоедова, “что за комиссия, Создатель” браться за дело нашему русскому человеку! Кобыл-то чистокровных в заводы завезли. А необходимого количества жеребцов отыскать не удосужились. Жеребцов поставили в сорок раз меньше необходимого! И ведь никто не ответил за сие безобразие! Никто, господа! Я старый человек! Я могу сказать прямо, кто должен был ответить! Но не ответили! Развели руками: “Ах какая профундия!” — да пошли в буфет закусить и высказаться во всех тонкостях о постановке коневодческого дела в Европе!

Перебирая все это в уме, оставил я Касьяна Романовича и пошел к Локаю, погладил его по широколобой морде, отогнул попону, похлопал по холке и шее. Касьян Романович молча и с нагнанным подобострастием пошел за мной.

— Смею доложить, хороший у вас конь, Борис Алексеевич! — сказал он.

Я смолчал. Локай ткнулся мне в рукав. У меня с собой ничего не было. Я отвернул его морду. Он не поверил и ткнулся вновь.

— А вот, Борис Алексеевич! — подступился с сухарем Касьян Романович.

— А вашему? — спросил я.

— Так точно, и нашему найдется! — просиял Касьян Романович.

Локай хрустнул сухарем, дыхнул на меня, то есть поблагодарил, поискал губами еще. Снова ему отозвался коротким ржанием тот же конь.

— Не ваш ли? — спросил я снова Касьяна Романовича и предложил: — А коли ваш, так поставьте их рядом, пусть потешатся!

— Так точно! — в прежнем подобострастии сказал Касьян Романович, но не двинулся исполнять.

— Касьян Романович, — догадался я. — А не тот ли у вас жеребчик, который… как вы писали в фуражных ведомостях… “Конь Араб один”!

— Вы теперь не командир, ваше высокоблагородие! — угрюмо и, будто готовый на смерть, в страсти вскрикнул Касьян Романович.

— Так что? — не понял я.

— А теперь не заберете! — в ненависти сказал Касьян Романович.

— Да Господь с вами! — возмутился я.

Революция была и здесь.

Заклокали за дувалом конские копыта. В открытую и для удобства со сбитым верхом калитку с конем в поводу вошел вестовой Семенов. Он широко улыбнулся. Зубы белым галуном черкнули по черной бороде.

По его докладу, сотня Василия Даниловича Гамалия оказывалась дежурной по полку. Сам Василий Данилович посылал мне привет и звал на чай. Я решил ехать с вестовым Семеновым вдвоем. Касьян Романович наконец понял, что его жеребчику Арабу больше не угрожает быть отнятым, преобразился.

— Так хоть конвой возьмите, Борис Алексеевич, отец родной! Башибузукская страна, поганый городишко! Конвой попросите у командира! — запереживал он.

— Седлай, — велел я вестовому Семенову и пошел в саклю взять оружие и бурку.

— Кудысь, Лексеич? — отрвался от вьюка сотник Томлин.

— До ветру! — буркнул я.

— Саенко тоже ходил до ветру! Пошел, да не вернулся! — вспомнил сотник Томлин.

Я смолчал. Сотник Томлин сел, опустил с топчана ноги.

— Да едрическая сила, как сказал бы незабвенный Самойло Василич! — вдруг взорвался он.

Я скосил на него глаза.

— Ты что думаешь? — вскричал сотник Томлин себе под ноги. — Ты думаешь, я тебя в вестовые взял, так и морду, как холоп, мне под пятки можешь подставлять!

— А? Виноват, Григорий Севостьянович! — со сна, но сразу весело вскочил с пола крупнотелый и по повадкам прощелыжистый вестовой сотника Томлина, некий пехотный солдат Божко.

— Пошел вон, болван! — сказал сотник Томлин.

— Слушаюсь! — прихватил с пола папаху, на миг вздернулся передо мной и вывалился в дверь вестовой Божко.

— Растележился! Ступить некуда! Думает, морду под пятки подставил, так и службу несет! — вдогонку сказал сотник Томлин и поднял на меня глаза: — Не ходи никуда, Лексеич! Хлобыстнем давай по манерке кышмышевки да и похрюкаем до обеда!

Я молча пошел в дверь.

— Возьми хоть винтарь моего оллояра — все козлоногим острастка будет. Они-то с маузерами шастают! — крикнул вдогонку сотник Томлин.

Семенов затягивал седельную подпругу. Локай надувал живот и не давал затянуть ее.

— Ты понадувайся, басурманская рожа! — весело ткнул его в живот вестовой Семенов.

Касьян Романович стоял рядом. Он опять сказал в подобострастии, что Локай хорош. Я прошел в штабную саклю. Командир батареи есаул Храпов сидел рядом с телефонистом. Телефонист кричал в трубку, что ничего не слышит, и просил повторить.

Есаул Храпов поднялся мне навстречу, поприветствовал и показал на телефониста:

— Вот что-то из штаба дивизии передают, а ничего не слышно!

— Пришлют с пакетом! — сказал я и далее сказал, что на время выеду в город и потом загляну к уманцам.

Во дворе я спросил вестового Семенова, перековал ли он, как я поручал с вечера, Локая.

— Так точно, на все четыре ноги! — привычной скороговоркой ответил вестовой Семенов.

Я взял Локая за переднюю ногу выше бабки. Теплая даже через мокрую щетину кожа его чуть вздрогнула. Он без команды согнул ногу. На грязном копыте я ничего разглядеть не мог, поискал прут или щепку, не нашел, отскреб грязь пальцем. Подкова была посажена аккуратно. Была она местной, то есть — не ободом, как наша, а сплошной пластиной, защищавшей копыто от камней. Я похвалил вестового Семенова. Он козырнул и нырнул в саклю за водой.

Выехав со двора, я свернул в первую и довольно безобразную улочку с привычными глухими дувалами и загаженной проезжей частью. Ехать по ней в два коня было невозможно. Вестовой Семенов пристроился в хвост. Хорошо города я не знал. Да, пожалуй, всякий азиатский город по его запутанности европейцу узнать было нельзя.

— Керманшах самый скверный городишко на всей земле! — сказал я.

— А ничто, Борис Алексеевич! — ответил вестовой Семенов.

Дальше мы поехали молча. Мне ни о чем не хотелось думать. Я отбывал в Россию, в Екатеринбург, в дом к сестре Маше. Более ничего у меня в России не было. И как было мне жить дальше, я не знал. И об этом лучше было не думать.

Локай, видно, не слыша моего повода, пошел наудачу. Он остановился, когда мы оба едва не ткнулись лбами в стену какого-то тупичка. Он остановился. Я качнулся вперед, встряхнулся и увидел, что ехать дальше некуда.

Тупичок был площадкой в два десятка квадратных саженей между глухих стен слепленных друг с другом домов разной высоты, но в целом низких. Два тутовых и два барбарисовых дерева стояли по углам пустого, с выщербленными стенками водоемчика-хауса. За водоемчиком из стены выглядывала низкая деревянная и какая-то неприветливая дверца. Мокрый саман, перемеженный серо-синеватыми камнями, казалось, набух и камни выталкивал. При этом казалось, что деревья напряглись. Капли по ним текли и падали в мокрый снег, дырявя его. Ни людей, ни собак, ни какой-нибудь мокрой птицы в тупичке не было. Тупичок мне понравился пустотой и печалью. Собственно, к пустоте улиц и тупичков в такую погоду здесь было не привыкать. В суеверии этого народа, как я уже говорил, было бояться дождя. И боялись персы дождя по самой неожиданной причине. Они боялись, что капли дождя прежде попадают на весьма ими не жалуемых и многочисленных здесь армян, евреев и гебров, которые коварным образом направляют эти капли на них, правоверных персов, чем, конечно, превращают их в поганых.

Так что пустой тупичок был не новостью, но именно этот тупичок захватил меня какой-то неизъяснимой печалью. Я открыл планшетку и, как уже давненько стал это делать, взялся за набросок карандашом.

И вот — хороша Азия! Не было ни в улочках, ни в тупичке ни одного окошка наружу, ни одной щели. Ни один возглас не перелетел из-за толстых стен и глухих, неприветливых дверец. Никто не попался нам встречь, никто не догнал нас. Но стоило мне открыть планшетку и ткнуться в лист бумаги карандашом, тотчас появились в тупичке несколько разновозрастных ребятишек в лохмотьях самого неожиданного сочетания ядовито-зеленого, рубинового и грязно-коричневого цветов и едва ли не босых. Они со стрекотом выбежали в тупичок, двинулись ко мне. Но на том их порыв иссяк. Они робко остановились.

Я же тотчас нанес их в рисунок, замечательно оживив его. Следом за ними из неприветливой дверцы вышли двое мужчин, пожилой и молодой, оба в красных бородах и в столь же, что и ребятишки, неопрятных одежках. Нечто вроде настороженного недоумения прочел я в их лицах. Видно, они наблюдали за мной и как-то по-своему определили мое занятие. Я нанес в набросок и их. И потом вдруг увидел людей на крыше. С удивлением я оглянулся — а уже несколько их встали возле своих неприветливых дверец по улочке.

Закрыть планшетку и повернуть коня я посчитал неуместным. Бог знает, что они думали про меня и про мое необычное занятие. Соображения гигиены и санитарии, соображения боевой дисциплины, авторитета империи и имени русского солдата, строго проводимые в приказах и устных просьбах Николая Николаевича Баратова, да и исповедуемые массой нас без приказов и просьб, обособляли нас от местного населения. Потому я не знал, кем я сейчас смотрелся здесь, в тупичке, с планшеткой в руках и верхом на хорошей лошади под хорошим седлом. Наверно, я казался им губернаторским чиновником, от которого следовало ждать только худого. В восстановление их спокойствия я показал на высвобожденный из-под бурки

погон.

— Урус топхана сартип! — сказал я в намерении сказать о себе как о командире русской артиллерии и тем их успокоить.

Но ребятишки от моих слов шарахнулись и исчезли, а взрослые вмиг помертвели. Только увидев эту метаморфозу, я понял, что сделал ошибку, что, представляясь командиром русской артиллерии, я являл им сатану, что с моим появлением всему здесь наступал конец, ибо, как я уже говорил, персы до поселения в их персидских душах отчаянья не могли понять, зачем же надо было придумывать артиллерию, то есть это оружие сатаны.

Я хотел еще что-то исправить, но меня вдруг сильно ударило яркое видение Ражиты в ее шесть лет. Ничто тому не было предвестием. Вдруг же шарахнувшаяся толпа детей ярко и сильно ее мне явила. В одном из этих голодранцев, мелким всплеском речной гальки исчезнувших из тупичка, я увидел ее. Мне стало темно и тотчас светло. Это произошло быстро. Она, прикрываясь ресницами, вся в ярком свете стремительно придвинулась, стала шестнадцатилетней, объяла меня и прошла сквозь. Мне стало больно в глазах. И мне больно ударило в голову. Я качнулся, схватил повод. Локай дал в сторону. Я снова качнулся. Свет исчез. Я увидел перед собой отсыревший саман и мокрые камни в нем, увидел падающие с голых веток и дырявящие, будто простреливающие, снег капли. Я увидел замерших в ужасе людей.

Я убрал планшетку, развернул Локая, встретился глазами с вестовым Семеновым. Он подождал, пока я проеду мимо, и тоже повернул коня.

Глава 24

Вернулся я к себе в саклю после того, как пробавился у Василия Даниловича, то есть попил “чайкю”, запивая чаек водкой.

— Ну, что там, Лексеич? — спросил с топчана сотник Томлин.

— Азия-с! — ответил я.

— Неуж? — якобы удивился он.

— Именно Азия-с! — сказал я.

— И что? И эти, как их, кобылдырык, шакалбырык и брякбырык витают? — опять спросил сотник Томлин, имея под этой белибердой якобы персидские обозначения провозглашенных еще Французской революцией свободы, равенства и братства.

— Прямо по заборам! — сказал я.

— Ну тогда точно Азия! А я думал, что уже в Бутаковке! — якобы в разочаровании сказал сотник Томлин.

— Да и есть в Бутаковке, если не считать дороги, — намекнул я на наше возвращение домой.

Сотник Томлин с нарочитым шумом вздохнул.

— Эх, — сказал он. — А как бы сейчас со своего покоса на покос к Серафим Петровичу вдариться! Прибежишь к ней, до жары отмашешь ей клин да снова к себе. Вечером сколько себе накошу да снова к ней. Ночь-то наша. Тут тебе весь ажиотаж, все либерте, егалите и фратерните — весь французский набор. Больший ажиотаж я только на Кашгарке имел.

Я молча прошел к себе на топчан, молча лег.

— Да хлобыстни ты, Лексеич, кружку! Вот заботы нашел! Никуда от тебя служба не денется! Пока домой приедем, на пять раз власть сменится! — сказал сотник Томлин

Я опять промолчал. Ражита по светлому, с голубыми тенями двору отца, прикрываясь ресницами, шла ко мне. Горячая волна пресекала мне дыхание, рубцы мои шевелились, стягивались, мне становилось одновременно и больно, и сладко. И мне становилось страшно от вернувшегося чувства, потому что Элспет оставалась рядом. Вечером я не выдержал и спросил у сотника Томлина его кышмышевки. Мы пригласили командира терцев есаула Храпова и втроем напились. Ночью я проснулся и тотчас вспомнил ее и тотчас вспомнил Элспет.

— Что же я? — спросил я себя.

А Ражита снова шла ко мне, и Элспет при этом оставалась со мной. Я нашел Ражите нелепое слово “Куко”.

— Куко, Куко! — сказал я медленно и любовно.

Я вспомнил, откуда это слово во мне нашлось. Этак матушка с нянюшкой прозвали меня, младенца, о чем мне потом поведали.

— Ты очень любил смотреть в окно, подползал и показывал на него, требуя: “Куко! Куко!” Вот мы тебя меж собой стали называть Куко. Где наш Куко? — звали мы тебя, а ты закрывал глазки ладошками, дескать, нету! — рассказывали они мне потом.

Слово всплыло у меня ночью. Я отдал его Ражите. И наверно, любовь моя к ней выходила отцовской.

За ночь небо отстоялось, посветлело, луна всплыла напряженным совиным глазом, но к утру снова пошел густой, непроглядный снег. Как и накануне, я вышел во двор рано. Дежурный коновод прозевал меня и команду подал запоздало. Я отмахнул “вольно”. Из-за лошадей, ныряя под морды и отмахиваясь от поводов, поспешил ко мне есаул Храпов.

— Вот и уедете сегодня, Борис Алексеевич! — пожал он мне руку.

Я смолчал.

— А как славно мы с вами повоевали! — вздохнул он.

Я ничего на это не смог сказать и в знак благодарности тронул его за рукав. Он коснулся клинышка бородки, отчего-то прикосновением напомнив мне Владимира Леонтьевича, инженера на строительстве горийского моста.

— Я помню, у вас, кроме военной службы, ничего нет, ни семьи, ни дома, ни содержания, — сказал он. — Я подумал, не пойти ли вам на Терек. Следом ведь и мы отсюда уйдем. На Тереке встретимся. Опять будем вместе. Я приготовил для вас рекомендательное письмо. Вас примут хорошо. А там мы вернемся. И, может быть, если все останется, как сейчас, то есть — ни царя, ни Бога, ни козы, ни кобылы, есть смысл вернуться нам со всем хозяйством, — он показал на лошадей и орудия, — не сдавать его в парки. Я не думаю, чтобы наши терцы смирились. Да ведь и вообще много тех, кто не смирился. Вот возьмите!

Он дал вчетверо сложенный листок, рекомендательное письмо, объяснил, к кому и куда с ним обратиться, заверил, что буду я принят хорошо. Этакое же рекомендательное письмо я получил от Василия Даниловича, вернее, от командира Уманского полка полковника Лещенко, а еще вернее, от всего Уманского полка — столько офицеры полка приняли участия в моей новой судьбе. Меня приглашали на Кубань.

Дом в Екатеринбурге, по письмам сестры Маши, был сдан под эвакуированных по постановлению Городской Думы о раскладе этих эвакуированных по жителям. “Мы с Иваном Филипповичем просто согрешили с ними, ничего не понимают, не берегут, будто сами ничего никогда не имели и будто пущены в дом они не из милости”, — писала мне сестра Маша. Наша бельская дача, куда вернее всего следовало бы мне ехать, тоже наверняка была разграблена. Да и трудно было представить после стольких лет постоянного пребывания в службе и среди многого народа себя в сельском одиночестве. Но и никак я не мог себя представить на Тереке или на Кубани. Я думал ехать только в Екатеринбург.

Чтобы тяжелым воспоминанием не рвать душу, сразу скажу, что мое прощание с батареей прошло самым торжественным и трогательным образом. Прилетел в батарею Василий Данилович. Я, он, есаул Храпов и сотник Томлин стояли на старой арбе, затянутой ковром, а батарея прошла маршем, потом выстроилась повзводно во фронт. Георгиевские серебряные ее трубы, полученные за взятие Карса в прошлую войну, чисто вывели мелодию марша. Пока все это было, прибыли в батарею комитетчики. После моего прощального слова вдруг вышел от них вперед корпусной комитетчик Кодолбенко, вдруг тоже сказал обо мне довольно лестное и от имени их комитета объявил о награждении нас с сотником Томлиным солдатскими Георгиевскими крестами. Это было столь неожиданно, что я едва не расхлябился. Сам же Кодолбенко прицепил нам солдатские Георгии выше всех остальных орденов, уже в России запрещенных, и запрещенных как раз этими комитетами с Кодолбенками во главе. Пока он мне прицеплял крест, я смотрел поверх его папахи, но вдруг скосил глаза ему на висок. Крупная вошь медленно, как корова по сухому полыннику, ползла по его виску. Он быстрым движением царапнул по виску ногтями, сразу не угадал, царапнул еще и весело глянул на меня. “Вот же скотина! В какой момент привязалась!” — сказали его глаза. И взгляд, и свободное отвлечение в момент церемонии награждения на вошь были атрибутами революции.

Комитетчики увязались с нами и в дорогу. Среди них я узнал солдата Ульянова, некогда, в момент моего ареста в Казвине, не давшего Кодолбенко застрелить меня на месте. Василий Данилович с несколькими своими казаками взялся нас проводить до Бехистуна. Так мы и отправились кавалькадой едва не в взвод. Я и Василий Данилович ехали рядом, говорили о своем. Сзади уже пьяненький сотник Томлин взялся в перепалку с Кодолбенко.

— А помнишь, Борис, речь отставного нашего государя в самом начале войны? — сказал Василий Данилович.

Я сказал, что помню.

— Так он, оказывается, повторил слова своего предка Александра Первого против Наполеона в восемьсот двенадцатом году, мол, я торжественно заявляю, что не заключу мира, пока последний неприятельский солдат не уйдет с нашей земли! И вот утром балакал я с этим Кодолбенко. Он сказал, что у них связь прямо с Питером. И там, в Питере, когда их сволочь брала Зимний дворец, то якобы наши генштабисты и офицеры штаба округа с вечера собрались в каком-то заведении и всю ночь пили. К ним утром явился кто-то из этих комитетчиков и спрашивает, ну, кто-де поиудствовать согласен, кто надумал на нашу сторону? Так якобы эти наши штабисты расфуфырились, как девки перед клиентом, и поздравили друг друга с тем, что-де сволочь-то без них обойтись не может. Как думаешь, могло такое быть? Неужели совсем все кувырком полетело козе под хвост?

А мне по какому-то наитию вспомнился маленький случай из детства. Как-то однажды к нам зашел наш учитель истории Василий Иванович Будрин и в беседе с моим батюшкой стал рассказывать о своих архивных находках.

— Ах, метки были, Алексей Николаевич, в своих речах отцы наши! — воскликнул он. — Вот послушайте, что сказал один из основателей нашего города в

славную Петровскую эпоху о женщинах особого поведения. А курф, — сказал он, и именно так в документе было записано, с “фертом” вместо “веди”, — а курф раздевать и гнать из города вон!

Сейчас я тоже сказал Василию Даниловичу эти слова.

— А курф, — “ф” я выговорил с нажимом, — а курф гнать вон!

— Погоним, Борис, погоним. Ты поезжай к нам на Кубань, прямо к нам в станицу. Стариков наших ты знаешь. Они о тебе там легенды сказывают. Не быть такому, чтобы!.. — Василий Данилович в порыве наполовину вынул из ножен кинжал и ткнул его обратно. — Не бывать! — свирепо глянул он куда-то вдаль.

Сзади же Кодолбенко спорил с сотником Томлиным.

— Насчет этого неправда! — услышал я его. — Как это, всего нам хватает! Кому хватает, а кому высморкаться некуда! Насчет землицы-то — курлык. Наши наделы седельным вьючком обвяжешь, а у господ ее на ероплане не облетишь! Вот так, баушка Орина!

— И раньше хватало, и теперь хватит! — сказал ему сотник Томлин. — Мне от батька досталось три десятины пахотной и покосы. И что? Я их брату отдал да в Оренбургское казачье пошел! И у брата земли прибавилось. И я при службе, а не голяшом в проруби!

— К белой косте, известно! — с издевкой отмахнулся Кодолбенко.

— Вот она, белая кость. Одинаково с твоей гниет! — сказал и, я думаю, ткнул Кодолбенко под нос свои культи сотник Томлин.

— Белая кость! — услышал я своего вестового Семенова. — У нашего командира нет земли совсем. Ни своего дома, ни земли нет. На одно жалованье живут. Всего их имущества, что на них самих!

Кодолбенко не сдался.

— У их, у господ, если и земли нет, есть заводы, шахты. А то они покупают акции. Он купил акцию за сто рублей. А она ему сверху сотню принесла. Он на их — две купил. Они ему две сотни принесли. Он их — в тот же оборот. Уже четыре сотни сверху у него, а это уже конь строевой породы. А он с кожаного дивана не подымался, из своего кабинета не выходил, не только что там за сабан взяться! — сказал Кодолбенко.

— Врешь! На наше жалованье акций не купишь! — обругал его сотник Томлин.

— Как сказать! — хмыкнул Кодолбенко.

— А до призыва ты кем был? — спросил сотник Томлин.

— Неважно, — уклонился Кодолбенко. — Важно, что теперь я зрячий.

— Зрячий! — передразнил сотник Томлин. — Небось, на складе у купчишки мануфактуры караулил да в приказчики выбиться мечтал! Зрячий он стал. Зависть в тебе поперед тебя родилась. Завистливый ты, а не зрячий! И в свою революцию пошел только по своей зависти! — сотник Томлин сплюнул.

А ведь правда, стал думать я. Вся эта сволочь выходила из той породы, которую изнутри угнетала беспрестанно скапливающаяся то ли зависть, то ли злоба, то ли обыкновенная душевная нечистота. Мир таким людям казался средоточием крайней несправедливости, по которой именно они оказывались обделенными, и они каждое мгновение своей жизни боролись с этой обделенностью, плескали скопленными нечистотами. И эта борьба, этот выплеск нечистот являлись единственным залогом их жизни. В условиях взятого этой сволочью верха, то есть в условиях смуты, бунта, революции, они начинают превращаться в вожаков. Их нечистоты начинают приниматься за некое возбуждающее лекарство. Большинство людей начинают идти за ними, начинают нуждаться в них, сами будучи несамостоятельными и объятыми общим потоком. Вот и все объяснение.

Я уже знал, что Кодолбенко был именно из приказчиков, как метко угадал сотник Томлин. Он был легко ранен, просто оцарапан и хотел остаться в роте, чтобы получить солдатского Георгия. Его, однако, дав пару затрещин, отправили в госпиталь свои же сослуживцы. “Ежели у нас с крестом объявится, так нам всем придется крест и пояс снимать, чтобы против него удержу иметь!” — якобы сказали солдаты его роты.

— Пошел, ваше благородие! — со злой издевкой над благородием сказал Кодолбенко. — Пошел в революцию, баушка Орина тихо померла! Но вот сравним. У него конь только, небось, стоит тыщу! — стал он говорить про меня, полагая, что я занят своим разговором. — У кого еще такой конь? У него шашка вся в серебре. Еще одна тыща рублей. У кого из нас еще такая? У него ордена, какие нам никогда не дадут. Обмундировка у него справная. Сапоги хорошего шевра. Умывается он пахучим мылом. И всяко тако прочее. А что нет земли или там акций, так он и без их против нашего по своему господскому положению айда-пошел проживет. Да и ест он там всякие анчоусы и кавиары. А за что все это? Ведь здесь, на фронте, как ты сказал, сотник, одинаково гнием!

Меня слова его, столь явно показавшие его характер, развеселили, а упомянутые анчоусы и кавиары даже заставили пожалеть его. “Что ж, он никогда не ел их?” — в каком-то сожалении и какой-то неизвестно на кого досаде перевел я умом, но тотчас настроением переменился. Я повернулся к Кодолбенко.

— Да брось, Борис, не лезь! Шашкой его по лбу перекрестить — и в канаву бросить! — сказал Василий Данилович.

— А вот переведи-ка им, Вася, на наш язык названия сих мудреных и изысканных блюд, о которых вели речь господин наш революционер! — громко сказал я Василию Даниловичу.

— Извольте, ваше высокоблагородие! Анчоус есть не что иное, как мелкая и дрянная у нас рыбешка самса. А кавиар есть не что иное, как немецкое название черной икры. Стоимость ее у нас на Кубани перед войной была сорок копеек за фунт! — поднялся в стременах и по-юнкерски отрапортовал Василий Данилович.

— Да как же, станет Кодолбенко два двугривенных платить! Он на пятак требухи купит и неделю питаться будет. А семь пятаков в запердяйчик положит! — сказал кто-то из комитетчиков.

— Я вам, сучата! — выплюнул на них злобой Кодолбенко.

— А как бывало в детстве, Борис! Мы бедно жили. Но как-то отец осетра привез домой, икру выпотрошил, от пленок промыл, посолил и на час в холод поставил, а потом мне ломоть черного хлеба отрезал, икры этой наложил, зеленым луком присыпал: “Ешь, Васылю!” То было, Борис! — закатил под папаху глаза Василий Данилович.

— Было, Васылю! — вспомнил и я из своего детства.

Я вспомнил отставного бельского бакенщика Тимофея, за тощесть и долговязость прозванного Журавлем. Он часто приносил нам небольших осетров и стерлядей и всегда был со мной ласков. Имени его у меня выговорить не выходило. Я называл его Тифомеем. Я любил его за ласковость, за прибаутки, с которыми он всегда говорил, за странно волнующий и куда-то зовущий запах реки и рыбы. Я выбегал к нему навстречу, где бы ни увидел его длинную журавельную фигуру, венчанную старой-престарой, выцветшей на сто раз фуражкой речного ведомства.

— Здравствуйте, Тифомей Журавль! — издалека кричал я.

Он навстречу широко раскидывал длинные, как весла, руки, пригибался в худых и бугристых коленях, сладко морщился дубленым лицом. Я подбегал. Он на ходу ловил меня, больно хватал под мышки и несильно, старчески, подбрасывал вверх.

— Здравствуйте, здравствуйте, Борис Алексеевич! А вот что я вам принес! — ласково отвечал он, ставил меня на землю, снимал со спины лубяной короб, плетенный в косую клетку, откидывал крышку.

Я впивался глазами в его мрак, видел только траву, которой была переложена рыба, и в каком-то охотничьем трепете сдвигал ее в сторону, порой пальчиком натыкаясь на острые шипы рогового рыбьего покрова.

— Ух, сколько! — восхищался я.

Он гладил меня по голове и тоже в восхищении приговаривал:

— Ай-я-яй, вырос-то как! Стал то ли осетр, то ли судак — не пойму никак! Через неделю снова встречу — будешь мне по плечи. А через другую — перемахнешь мою голову седую!

Я вспомнил его и снова подумал — ехать бы мне на бельскую дачу.

— А вот ты грамотный, подполковник, а такого поэта Надсона знаешь? — подъехал ко мне Кодолбенко.

— Знаю, — сказал я.

— Ну-ка расскажи! — сказал он читать что-нибудь наизусть.

— Наизусть я ничего не помню. Да ведь пошлый он поэт-то. Для барышень! — сказал я.

— А сам стихи сочинить умеешь? — в неприязни спросил он.

— Стихи? А зачем тебе стихи? — удивился я.

— Да вот, — вдруг застеснялся он.

— Сочинить умею. Но все это так, любительски, — сказал я.

— Ну, вот тогда это как. Послушай! — вдруг засвирепел лицом Кодолбенко. — Вот. Мать-то у тебя есть?

Мне только за его “ты” следовало бы угостить его плетью. Однако я догадался, что он будет сейчас читать что-то сочиненное им, ему сокровенное, и это меня обезоружило.

— Нету, уже нет ни матери, ни отца, — сказал я.

— Ну, это ничего. Все равно была. Вот. За окном снежок кружится, на лицо наводит грусть. Кто-то к нам впотьмах стучится. Если я виновен — пусть. Кто есть дома? — пьяный голос, шорох лошади гнедой. Не упал бы мамин волос с головы ее седой! — глядя в упор перед собой и покраснев, прочитал речитативом Кодолбенко.

Впору было, конечно, мне заржать той гнедой лошадью, которая издавала шорох и с головы которой не упал бы седой мамин волос. Но я даже не улыбнулся.

— Вообще-то учиться надо, — сказал я.

— А другого от вас, господ, и не услышишь! — сказал Кодолбенко и отъехал назад.

Через два привала показался Бехистун. Снежная крупа с его козырька ударила в лицо. Все вскинулись.

— Ну, ладно, Борис, — тронул Локая за шею Василий Данилович. — Ладно. Не буду коней и казаков дальше гнать. Давай здесь простимся!

Мы слезли с седел, отошли немного в сторону.

— Васылю! — сказал я и больше не мог ничего сказать, отвернулся.

— Лексеич! — дрогнул он голосом и тоже отвернулся.

Мы обнялись. Он, высокий и могучий, навис надо мной, будто хотел укрыть.

— Поезжай прямо в нашу станицу, Лексеич. Я прошу тебя, поезжай к нам! — сказал он сверху.

— Я сначала — домой, Вася! — как-то жалобно сказал я.

— Я буду ждать тебя у нас! — сказал он.

Мы оттолкнулись друг от друга. Он свистнул своим поворачивать, сел в седло, оглянулся на меня, дал коню шенкелей, пошел рысью и вдруг вернулся.

— Борис, я совсем забыл! Подъесаул Дикой просил передать. Ты с ним в прошлом году отходил от Ханекина. Какой-то бой у вас был, и вы захватили пленных курдов. Помнишь? Ну, так вот. Он просил передать. Он просит прощения. Тогда этих пленных они расстреляли. А тебе с каким-то драгунским унтером соврали, что стреляли друг в друга. Ты его прости!

Мне осталось в ответ только хмыкнуть. Я и хмыкнул. Какое это могло иметь

значение, когда я прощался с другом Василием Даниловичем Гамалием. Я хмыкнул.

Бехистун из снежной крупы медленно наплыл на нас. Кодолбенко, будто проснувшись, вдруг снова заругался. Кто-то из его товарищей ему ответил с угрозой.

— Ты не сучись, морда! Всю твою требуху мы насквозь видим! Как бы не скубыкнуться ей с седельца-то! — сказал он.

— Я тя, Ульянов, на комитете поставлю. Контрой от тебя воняит. С господами ты паруешься! Требушонку-то свою тодесь зажмешь в горсточку! — пригрозил и Колдобенко.

— Это они здесь только грозят друг другу, но не предпринимают действий, потому что выходить вместе. А выйдут — представь себе, Лексеич, что начнут делать! — сказал сотник Томлин.

— Да черт с ними, — отмахнулся я.

Сзади зло и жестко треснул винтовочный выстрел. Кони всхрапнули и коротко всплясали. Я тотчас обернулся и ткнул рукой в кобуру. Ульянов с косым и слепым лицом опускал винтовку. Он смотрел на Кодолбенко. А Кодолбенко, сначала застывший и несколько выгнувшийся в спине, стал медленно запрокидываться на круп лошади и валиться влево. Лошадь, чтобы устоять, тоже подалась влево и даже присела на задние ноги.

— Туть! — сказал сотник Томлин.

Ульянов дернул затвор. Гильза весело и беспечно полетела в грязь.

— Ульянов, отставить! — закричал я.

Ульянов оскалился.

Все враз закружились — одни в сторону от Ульянова, другие к нему. И все враз оказались прижатыми друг к другу. Все враз завертелись воронкой, придавливая ноги и сшибаясь. Я не спускал глаз с винтовки Ульянова и тянул из кобуры револьвер. Закричать еще раз не выходило, будто с криком я мог прозевать движение винтовки Ульянова. Мне нужно было взять его на мушку и тем не дать стрелять еще. Локай, перетаптываясь и не находя прохода, развернулся. Я до хруста в позвоночнике вывернулся в обратную сторону. Сотник Томлин культей своей тыкал в сторону Кодолбенко. Я догадался — он хотел крикнуть, чтобы ему не дали упасть, но тоже, как и я, не мог. Локай толкнул в бок коня вестового Семенова, из-за спины хватавшего винтовку. Все опять как-то неловко закружились, и Семенов вдруг оказался с краю. Медленно, будто из чего-то густого, он отвалился от воронки и стал заворачивать коня к Ульянову. Я наконец вынул револьвер и ткнул его мушкой на Ульянова. Локая опять заставили дернуться. Ульянов с мушки ушел. Семенов в два судорожных скачка поравнялся с ним. Я перехватил револьвер в левую руку. Но и с этой руки мне его закрыли. А несчастная лошадь Кодолбенко пыталась выбраться из воронки. Кодолбенко в толчее не было видно. Он, вероятнее всего, упал. Третий круговорот воронки высвободил его лошадь. Она курцгалопом в ужасе поволокла свалившегося влево и назад Кодолбенко по дороге. Винтовка его стволом бороздила

по грязи. Приклад натянул ремень и торчал веслом переставшего грести в лодке человека.

Семенов схватил винтовку Ульянова. Тот покорно отдал ее.

— Это что? — закричал я.

— Так что, ваше высокоблагородие, он хотел по комитету вас убить! — косо воротя челюсть, ответил Ульянов.

Глава 25

Кодолбенко я приказал похоронить в стороне от дороги со всеми воинскими почестями, а комитетчика Ульянова на время дороги арестовать, то есть просто разоружить.

— Если не проболтаетесь, то я все объясню разбойным нападением. Если вам это не угодно, то вы подставляете Ульянова, своего товарища. Не знаю, уж какие у вас в комитете законы, но по закону Российской империи он подлежит смертной казни! — сказал я остальным комитетчикам, и они угрюмо дали слово молчать.

— Не было нам никакого приказа убивать вас, господин подполковник. Разве что Кодолбенке и Ульянову тайно это было поручено! Приедем — разберемся, что к чему! — с каким-то чувством не то стыда, не то страха за свою жизнь пытались они оправдаться.

Меня событие в целом не задело. Я был уверен — если они и лгут, то все равно мне нечего опасаться. Убить меня они не посмеют — столь им самим грозил смертью этот шаг и столь они были подавлены случившимся.

— Разоружить бы от греха, — предложил сотник Томлин.

Сказать честно, так и мне сначала хотелось того же. Но я возразил сотнику Томлину.

— Революцию надо победить, — сказал я, стараясь как можно беспечнее, и он, конечно, меня понял.

— Дух духом, Лексеич, а я со своими паклями тебе плохой помощник — разве что только в пупе вот этим у них пощекотать, когда они нападут! — выставил он свой палец-крюк.

— А говоришь — плохой помощник! — сказал я.

Тем и обошлось. И в Шеверин, в штаб корпуса, мы приехали к полудню следующего дня благополучно. Только мы успели бросить поводья, как получили приглашение на совещание офицеров штаба.

— На митинг? — переспросил я.

— Нет, ваше высокоблагородие, на совещание офицеров. Эрнст Фердинандович проводит. Да вот уже с час, как идет! — откозырял посыльный штаба.

Чтобы хоть сколько-нибудь размять ноги, мы с сотником Томлиным пошли пешком. Пошли медленно и враскоряку, чувствуя при каждом шаге отдающую после полуторасуточного седла во все тыльные части боль не боль, но нечто этакое мешающее, будто туда нам поместили клин. В саду солдат жег наломанные от яблонь ветки. Пахнуло дымком. Я вспомнил весну в Хракере, вспомнил те дни конца апреля, когда я уже видел ее, мою Ражиту, но совсем еще не было моего к ней чувства. “Это я прощаюсь с ней! Завтра уеду, и один Бог знает, когда сюда вернусь!” — подумал я. Я увидел синюю, в обрамлении трепетных солнечных бликов тень шелковицы во дворе Иззет-аги и увидел ее, сидящую с сестрами. Глаза ее, еще глаза

девочки, поднимающиеся на меня, отдавали синей тенью ресниц и уже трепетали, подобно солнечным бликам. Она тоже пока не знала своего чувства ко мне. Но ее сердце уже знало о близком его приходе.

Нас вдруг окликнул всадник на караковом рослом жеребце. Еще до оклика мое внимание привлек именно жеребец, как-то странно походивший на обиженного мальчика, готового вот-вот расплакаться.

— Честь имею, господа! Надеюсь, спешите на собрание? — весело и пьяно крикнул всадник.

— А, Андрей Григорьевич! — узнал я командира партизанского отряда войскового старшину Шкуру.

— Ба! Полковник Норин! — узнал он меня, но не преминул отрекомендоваться: — А перед вами командир казачьего отряда особого назначения, или, попросту, командир партизанского отряда, а еще более попросту, командир “волчьей сотни” войсковой старшина Шкура!

Спрыгнул с седла и при этом как бы незаметно, но так, что не заметить этого было нельзя, коснулся Георгиевского темляка на шашке.

— Вы на собрание, господа? — снова спросил он.

— А вы не знаете причины? — спросил я.

— Революционные дебаты по поводу какого-нибудь очередного воззвания ко-ко-комитэта! — ответил он и резко махнул рукой: — А вот у меня в отряде нет никакой революции. У меня при встрече с моим отрядом вся эта матросня “Боже, царя храни!” поет со всем подобострастием — а иначе за отлынивание плетей! А, да вы помните же!

Был он такого роста, что даже против меня был мал. Но эта малость дала ему характер ни в чем не сомневаться и всегда делать так, как требует его далеко не безупречный и вспыльчивый, хотя и веселый, нрав. Он продолжал пороть, как он выразился, матросню и солдат. От этого репутация у него была самая контрреволюционная. Его многие грозились убить и, говорят, предпринимали попытки. Но для него все как-то обходилось благополучно. И как бы в отместку комитетчики фамилию его с ударением на последний слог со смачным ругательством произносили с ударением на первом слоге.

Мы пошли втроем, а “обиженный мальчик” послушно пошел вслед.

Оказалось, собрание уже шло давно. Мы поспели к моменту чтения какого-то документа. Читал Коля Корсун.

— Даже командиры полков жалуются на старших своих начальников по отсутствию их внимания, отсутствию откровенной обоюдной и сердечной беседы, — энергично и вместе как-то вязко читал Коля Корсун, сквозь пенсне взглядывая в зал.

— Это о чем? — спросил я первого же офицера.

Он приложил палец к губам и только потом спохватился, живо скосил глаза на

мой погон. Я удержал его от вставания, а он живо же сказал мне шепотом что-то не особо внятное. Я услышал только про какое-то письмо. А капитан Коля Корсун читал дальше.

— В самых сильных и резких выражениях жалуется пехота на то, что ее систематически и безжалостно посылают на верный расстрел атаковать сильно укрепленные позиции с недостаточной артиллерийской поддержкой… — читал он.

— Это к вам, господин полковник! — зашептал мне Шкура.

Водочный перегар заставил меня поморщиться. Шкура увидел это и отстранился. Коля Корсун посмотрел в нашу сторону, но от чтения не оторвался.

— В погоне за выигрышем пустого и частного прорыва начальники заставляют войска занимать слабые и невыгодные позиции, не позволяя иногда отнести окоп из болота на триста метров назад, а при этом конницу отводят на отдых при мало-мальски заметном утомлении лошадей… — читал Коля Корсун. Я на этом месте хотел Шкуре вернуть его реплику, но, вспомнив водочный его запах, удержался. — Пехоту же, — читал Коля Корсун, — пехоту же оставляют в боевой линии при самых тяжелых нервных потрясениях. К опасному недостатку надо отнести и непонимание обстановки боя или отсутствие смелости многих начальников, начиная с командиров полков, откровенно донести о ней старшему начальству. По уверению войск, некоторые начальники даже добиваются больших потерь, ибо у нас большие потери положительно свидетельствуют о доблести войск. В то же время они являются отрицательным показателем, а то и отсутствием способностей и умения их начальников.

— Совершенно верно, господа! — громко сказал кто-то из первых

рядов.

А я невольно подумал, что зачитывается письмо комитета руководству корпуса. И подумал я так по одной причине. У нас в корпусе дела обстояли противоположным описываемому образом. Потому описываемое я счел клеветой. И из этого дальше вывел, что письмо могло стать только каким-то ультиматумом руководству корпуса.

— Пехота заявляет открыто и громко, что ее убивают умышленно, при желании старших начальников получить чин или орден, что на потерях пехоты в неподготовленных операциях начальники хотят создать себе репутацию лиц с железным характером! — продолжал Коля Корсун. — В своей среде, в обществе, в вагоне железной дороги среди случайной публики офицеры открыто и громко заявляют, что начальники не любят своих войск.

“Нет, не комитет, — отказался я от своего предположения. — Уж коли офицеры на страдательной стороне, то не комитет!”

— Что начальники не жалеют их, думают не о деле, а только о своей карьере, льготах, выгодах, собственной безопасности. Обвиняют начальников уже не только в неспособности, непродуманности операции, неумении, а много хуже всего этого — обвиняют в злой воле, недобросовестности, небрежности, преступности! — читал Коля Корсун все более громко и отчетливо, придавая голосу накал. И тишина в зале

солидарно с ним становилась все более громкой, отчетливой и накаляющейся.

— Самое гнетущее впечатление на войска производят постоянные угрозы взысканиями, отрешением от должности, преданием суду за неисполнение мельчайшего из требований начальников, подчас противоречащего уставу и практике боя, лишающего младшего командира даже тех прав, которые ему представлены высочайшей властью как офицеру и командиру! — прочитал далее Коля Корсун и смолк, не поднимая от текста глаз, будто искал в нем еще что-то или будто не верил прочитанному и искал иное.

Не поднимали от стола глаз и Эрнст Фердинандович, и все, кто сидел рядом. Зал тоже молчал. “Будто приговор зачитан!” — подумал я, хотя не понимал, за что приговор выносился нам.

— А вот, господа, ответ генерала Эверта, который в момент подачи ответа был командующим Западным фронтом. Вот, господа. Вот такая фраза, Слушайте, господа. “По исторически сложившимся условиям Россия поставлена в необходимость бороться с техникой врагов кровью своих сынов, и притом кровью более обильной, чем кто-либо…” — прочитал Коля Корсун.

И опять на прочитанное никто не откликнулся. Всем было стыдно. Коля Корсун пождал чего-то, возможно, каких-то вопросов. Но все молчали. И он, попросив разрешения, сел. Еще через минуту молчания встал Эрнст Фердинандович.

— Я не могу назвать это правдой, потому что ни умом, ни сердцем этого принять не могу. Я не воевал на Западе. С декабря четырнадцатого, с боев под Ардаганом, я воевал только здесь, на Кавказе и в Персии. Я думаю, никто не может сказать подобные слова про нас. Сражались мы, по мнению наших подчиненных, вернее, руководили мы нашими подчиненными, возможно, небезупречно. Но лишней крови мы не лили. И прежде всего это требование дорожить подчиненным, любить его исходило от нашего командира Николая Николаевича Баратова. Врага мы били малыми силами и малой кровью. Возможно, у тех офицеров, которым довелось сражаться на Западе, мнение будет отличным от моего. Но я призываю соблюдать воинскую и обыкновенную внутреннюю человеческую дисциплину. Митинга ни под каким предлогом я не допущу. Если потребует необходимость, я возьму на себя ответственность перед Богом и перед Отечеством за введение более строгих дисциплинарных мер. Сейчас же довольно того, что после случившегося на базаре я их не ввел и по получении этого письма не стал его скрывать от вас. Мы объединены честью русского офицера. С нашими подчиненными мы объединены пролитой кровью и одержанными во славу Отечества победами. Сколько бы сейчас эти понятия ни дискредитировались новыми так называемыми властями, я прошу вас их исповедовать от всего вашего сердца. В испытаниях, которые нам предстоят, они будут вам путевой звездой, как были ею до того. Несколько минут назад здесь была сказана обстановка по нашей Кавказской армии, по всему фронту, обстановка по России и русской армии, которой, кроме нас, практически не стало. Но обстановка сказана в тех данных, которые оказываются нам доступными в связи с общим развалом службы. Потому еще раз напоминаю: обстановка, вероятней всего, не вполне отвечает полученным данным. То есть надо быть готовым ко всем испытаниям, к испытаниям многократно более тяжелым, нежели мы испытали и

испытываем здесь! Будьте готовы к ним. Благодарю, господа!.. Вас, Александр Иванович, — повернулся он к начальнику штаба, — и вас, Борис Алексеевич, — обратился он ко мне через залу, — а также вас, Николай Константинович, — посмотрел он на Колю Корсуна, — я прошу через пятнадцать минут быть у меня.

— Господа офицеры! — дал команду дежурный.

Дробно, но враз, словно упавшая на дощатый настил шрапнель, простучали отодвигаемые скамьи, застучали каблуки сапог, и мимо застылой массы офицеров Эрнст Фердинандович, ни на кого не взглядывая, вышел из залы.

— Что это читали? — в опережение многочисленных рукопожатий спросил я.

— Письмо в Ставку генералу Алексееву, ваше высокоблагородие! — сказали мне.

— Что за письмо? — снова спросил я.

— Корсун, что вы читали? — громко спросил Шкура.

Коля Корсун, пробиваясь ко мне, отчетливо и раздельно ответил:

— Революцию, Андрей Григорьевич! Я читал вам самую подлинную революцию! — потом же, когда пробился и обнял меня, показал два серых больших листа машинописного текста. — Вот, эта революция называется “Рапорт начальника штаба Первой стрелковой дивизии полковника Морозова на имя начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерала Алексеева Михаила Васильевича от третьего мая одна тысяча девятьсот шестнадцатого года”. Вот так приходит революция, господа! И не ищите другой причины! Недаром комитет нам этот документ преподнес со всею выспренностью!

Коля Корсун еще не отошел от чтения и был пунцов.

— Революция в том, что начальник штаба дивизии посмел с таким письмом обратиться в Ставку, или в том, что все описываемое в письме на самом деле имело место, господин генерального штаба капитан? — с веселой язвой спросил Шкура.

— Революция в вашем вопросе, господин войсковой старшина! — отпарировал Коля Корсун.

Шкура от ответа вспыхнул. Левая щека потащила рот в перекос, глаза мелко и зло сузились, синевато блеснули морозом. Коля Корсун этого не увидел. Он глядел только на меня. И по блестящим его глазам, блестящим отлично от глаз Шкуры, я увидел — он переживал за меня и был рад моему появлению.

— Разве это, разве такое отношение к войскам, к своим людям, нельзя признать революцией? — спросил Коля Корсун.

Втягиваться в разговор у меня не было времени.

— Господа! — сделал я объявление. — Вечером в офицерском собрании мы с сотником Томлиным ждем вас на ужин по случаю нашего отъезда! — И спросил Колю Корсуна, о каком событии на базаре говорил Эрнст Фердинандович.

— Да погром кто-то на базаре устроил и свалил на наших казаков! — сказал

Коля Корсун и спохватился: — А тебе же, Борис, письмо от… Оно у тебя в кабинете не столе!

Я глазами поблагодарил его.

— И что за погром? Кто свалил на нас? — спросил я.

— Да вот!.. — стал рассказывать Коля Корсун.

События на Хамаданском базаре оказались погромом, произведенным неизвестно кем, но сваленным комитетом на наших казаков. По событию было произведено следствие. Солдаты-комитетчики дружно кричали, что погром учинили монашки, то есть казаки, и что только благодаря комитету и им, революционным солдатам, погром удалось остановить.

Зачинщиком был объявлен якобы пьяный казак, то есть, по их терминологии, пьяная монашка, не известная ни по фамилии, ни по чину, ни по полку. Комитетчики так и кричали:

— А хто ж ево знал, што так вывернется! Знатье бы, дак патрули заранее на базар послали! А так приташшились ваши монашки гурьбой, пьяные, стали приставать хоть к мужикам, хоть к бабам. Один с бабы содрал дерюжку, которой она морду-то закрыват. Сильничать хотел. Глядь, а она страшней кобылы, старая! Он ее в кобылью морду-то тык — айда иди, пока поперек морды шашкой не покрасил! Да тут же другую — хвать! Она побашше окрутилась. Он ее за юбку загинать!.. — и далее во всех незамысловатых солдатских красотах живописалось продолжение казачьих безобразий. Уже по тому, как живописалось — без осознания и ужаса случившегося, можно было судить о намеренном со стороны рассказчиков, пардон, со стороны живописцев, характере живописи.

В переводе с их живописного языка на общечеловеческий все произошедшее выглядело так. Я предупреждаю — я излагаю не само событие, а лишь пересказ события.

Якобы кто-то из персиян вступился за женщину. Якобы возмущенные такой его наглостью казаки разделились на две группы. Одна продолжила насилие над женщиной, а другая с возгласом: “А что нам! Теперь революция!” — зарубила несчастного заступника и взялась крушить базар. При этом якобы крушить она его стала не направо и налево, то есть не стихийно, а по преднамеренному плану, выразившемуся якобы в том, что эта группа согнала несчастных персиян к лавке зарубленного и на их глазах расчленила его по всем правилам разделки мясных туш, нацепила куски на крючья и стала продавать толпе, вот-де голова, кому надо, а вот задняя часть, а вот ребра, вот печенка и так далее. Чтобы торговля пошла бойко, якобы несколько казаков стали сзади толпу вполсилы рубить шашками. Появились раненые. Толпа взревела, заметалась и в силу своей многочисленности сумела вырваться и пуститься наутек. Не удовлетворенные такой торговлей казаки якобы открыли стрельбу и кинулись грабить брошенные лавки. И якобы базар был бы сметен с лица земли, если бы не явились комитетчики и, пораженные ужасом случившегося, прежде всего не кинулись помогать многочисленным раненым. А дошлые казаки тотчас якобы подобрали полы своих черкесок, то есть ряс, и исчезли с базара, будто растворились. Ни одного из них патрули взять не смогли.

Едва мне это было рассказано, я вспомнил эпизод с продажей человечьего мяса на каком-то из базаров Турции. Эпизод был описан одной нашей газетой летом пятнадцатого года и передавал рассказ армян-беженцев из турецкой Армении. Точно так же, как якобы и на Хамаданском базаре, только не казаки, а пьяные турецкие стражники зарубили армянина, расчленили его и, согнав пребывающих на базаре армян, стали их заставлять купить… — кажется, совершенно невозможно сказать, купить чего? — куски мяса, куски человека, части тела человека? — а как было сказано в газете, я не помню.

Одним словом, подобный рассказ очевидцев был помещен в газете, и я сейчас не только не поверил в то, что подобное же учинили наши казаки, но сразу же указал источник погрома — турецкие и германские агенты или дервиши. Я об этом сказал Эрнсту Фердинандовичу и ни с того ни с сего брякнул и про британских агентов. Эрнст Фердинандович при этом даже вздрогнул, будто от неожиданного выстрела. Не поднимая на меня глаз, он мягко, но внушительно сказал:

— О британцах как союзниках, я думаю, полковник, следует говорить со всей ответственностью!

— Виноват! — равно же, как он не назвал меня по имени и отчеству, не назвал его по имени и отчеству я.

Он это почувствовал, вздохнул, вероятно, увидев в моей дерзости влияние революции, но не выговорил.

— Части корпуса, особенно пехотные, одна за другой принимают своими комитетами решение выходить в Россию, да практически уже беспорядочно выходят, — стал говорить он. — Приняли подобное решение и мы. Можно сказать, последними, но приняли — что называется, сочли за благо. У нас здесь нет ни провианта, ни фуража, ни денег в полковых и корпусной кассах. Нам ничего от командования фронтом не поступает. Практически, как вы знаете, нет и самого фронта. Мы остались в полном одиночестве. И наше решение о выходе в Россию является вынужденным, хотя осуществляется без приказа. Ответственность я беру на себя. Буду кем-то вроде Стесселя Анатолия Михайловича, — он при упоминании всем известного и ставшего именем нарицательным руководителя обороны Порт-Артура в войне с японцами, после почти года обороны сдавшего этот Порт-Артур, криво усмехнулся, следом же без перехода продолжил: — Повторю слова, сказанные на совещании: задача выйти отсюда очень сложная. Возможно, придется выходить в условиях возмущенного против нас населения. Вы правильно предположили, Борис Алексеевич, — он посмотрел на меня с неяркой искрой в глазах, мол, помню, как вы можете быть дерзки при неудобном обращении к вам. Он так посмотрел, а я стерпел его взгляд. — Вы правильно предположили насчет турецких и германских агентов. Есть сведения и о работе против нас в среде местного армянского населения так называемой партии дашнаков — это в месть нам за оставление фронта в турецкой Армении, за неудачи наши в пятнадцатом году под Ваном и Алашкертом. Постоянно возмущают население дервиши, призывают встать против нас всем мусульманским миром. Ну и так называемые дженгелийцы в лесах и горах Гиляна — одним словом, все против нас, включая наши же комитеты и подчиненные им части.

— Дашнаки? А кто это?— удивился я.

— Капитан Корсун вам объяснит! — сказал Эрнст Фердинандович.

— Так точно, ваше превосходительство! — встал Коля Корсун.

— Что же они туркам не мстят? — не выдержал я.

— Борис Алексеевич! — повысил голос Эрнст Фердинандович и потом продолжил: — В этих условиях мы приняли решение, и я повторяю, я беру всю ответственность на себя, мы приняли решение часть имущества продать нашим союзникам британцам с тем, чтобы на полученные средства вывести в сохранности имущество остальное. Комитет же распространяет слух о том, что мы продаем имущество и деньги кладем в карманы. Возможно, нас по возвращении на родину будут судить. Но я твердо заявляю: ответственность я беру на себя, так как иначе, без продажи части имущества, отсюда в организованном порядке нам не выйти. Но многие части нам уже не подчиняются. Они уходят самостоятельно, имущество бросают, и это имущество достается населению и нашим врагам. Так что наше решение в этих условиях является единственно честным и открытым. Я и прошу вас, Борис Алексеевич, в Казвине, на нашей основной базе, взять на себя обязанность вывести часть предложенного вам имущества. Соответствующие распоряжения и документы на ваши полномочия уже оформлены! Отправитесь послезавтра автомобилем Александра Ивановича.

— Простите, а как же!.. — воскликнул я о Локае, но тут же представил, что в порту Энзели мне все равно пришлось бы с ним расстаться. — Простите! Есть отправиться автомобилем начальника штаба! — сказал я.

— А вас, — Эрнст Фердинандович посмотрел на Колю Корсуна, — я прошу позаботиться об ужине так, чтобы было на уровне! — И встал: — До вечера, господа!

Мы щелкнули каблуками.

— Вы возвращаетесь в Екатеринбург? — еще спросил Эрнст Фердинандович.

Я сказал про рекомендательные письма и прибавил, что окончательного решения не принял.

— Да, — сказал Эрнст Фердинандович. — Этакое же письмо даю вам и я. Вопреки всему нам необходимо сохраниться единой боевой единицей, если уж не всем корпусом, то хотя бы дивизией. По согласованию с нами на Терек решили выходить части Отдельной казачьей бригады генерал-майора Эльмурзы Асланбековича Мистулова. Мы с ним бок о бок сражались в Турции, под Мемахатуном и Эрзинджаном, исключительных доблестей человек. Посчитал бы честью рекомендовать вас Эльмурзе Асланбековичу! — было заметно, как ему приносит удовольствие снова и снова произнести это сочетание двух мусульманских имен, словно именно они характеризовали доблести этого человека.

Я застеснялся маленькой его слабости и опустил глаза, одновременно поблагодарив за честь рекомендации. Я понял — Екатеринбург отменялся. Но я вспоминал письмо Маши о том, что живущие в нашем доме эвакуированные люди

совсем дома не берегут. Я представил, как они все ломают, везде гадят, а бедного и единственного его защитника, Ивана Филипповича, всякий раз бьют и пинают. Я представил, как он, старенький и немощный, падает, а они над ним, стареньким и немощным, упавшим, смеются.

От этого представления нестерпимо захотелось домой. Но я сказал, что буду польщен рекомендацией к генерал-майору Мистулову.

— Прежде всего нам необходимо вывести артиллерию. Вот и кому, как не вам, инаркору, инспектору артиллерии корпуса, лучше всего это поручить! — с улыбкой сказал Эрнст Фердинандович.

Лишь мы вышли от Эрнста Фердинандовича, дежурный офицер передал мне распоряжение комитета явиться пред его светлые очи.

— В сущности, ты уже в отпуске из корпуса. Нечего тебе туда ходить! — сказал Коля Корсун.

Я согласился. Однако около моего кабинета меня ждали два куривших солдата-комитетчика с револьверными кобурами на поясе.

— Караулят, ваше высокоблагородие. Я уж с ними за грудки схватился! — сказал Семенов.

— Что вам угодно? — спросил я.

Они, не бросая самокруток, приученно нехотя прикоснулись к ремню — то ли привычно по-уставному расправили складки шинелей, то ли показали оружие.

— В комитет вас, — сказал один.

— Идемте, — сказал я.

— Мне с тобой? — спросил Коля Корсун.

— Нет, займись ужином! — отказал я.

— Я позвоню на всякий случай казакам, — громко, чтобы слышали комитетчики, сказал он.

Начальствующим в ко-ко-комитете, как обозвал его генерал Кравченко, был подпрапорщик Шумейко.

— Господи, да ведь и он оканчивался на “ко”! — подумал я.

Он привстал мне навстречу и только что не откозырял. А толпой гудящий и вокруг себя плюющий табачными харчками другой сброд на миг стих и косо уставился на нас.

— Садитесь, как вас, товарищ — не товарищ! — нервно от косого взгляда сброда показал мне Шумейко на расхлябанный стул.

— Спасибо, — сказал я, стараясь безразлично, но вдруг не лишил себя удовольствия прибавить Шумейко в тон: — Спасибо, как вас, подпрапорщик или не подпрапорщик!

— Хы-хы-хы! — кашляюще, будто с водой во рту, всхохотал кто-то из

комитетчиков и передразнил меня: — Подпрапорщик или не подпрапорщик! Врешь, небось, у нас Шумейко-то выше самого Баратова!

Другие всхохотнули на его бульканье. Шумейко увидел в этом нечто для себя нелестное — верно, так только при мне. Он, сколько смог внушительно, отмахнул обеими руками, мол, цыть, едри вас в революцию. А другой комитетчик дискантом закричал.

— Куды, Баратов! Охломя! Врешь, Кузьмин! Бери, дак здешний председатель Совнаркома наш Шумейко!

И было заметно, сколько он с чувством произносил новое слово “Совнарком”.

За соседним столом дал о себе знать приехавший из России шпак — красивый, но с неумными, внимательно насупленными глазами, с крупной волной светлых волос, худой и суховатый в оправдание своей фамилии, некто комиссар Сухман. Он значительно надулся, нахмурился так, что лицо его, прошу прощения, скуксилось в куриную гузку.

— К дисциплине, товарищи! — сказал он и строго посмотрел на Шумейко. Потом мимо меня посмотрел на ко-ко-комитетчиков, перекатил желваками. — Вместе с тем, товарищи, следует соблюдать сознательную дисциплину! — признал он необходимым прибавить.

И сколько с чувством сейчас было произнесено одним из ко-ко-комитетчиков слово “Совнарком”, столько же с чувством было произнесено Сухманом словосочетание “вместе с тем”. Они видели себя начальством. Они видели себя новым, пришедшим к власти сословием. Им было приятно выделять себя новыми, ранее неизвестными для их речи словами, этими словами отделять себя от своих товарищей, от их невежества, ставить себя выше их. Выходило, революция была делом совсем не созидательным или созидательным только для них, избранных, каковым было до революции сословие дворян, кстати, эту избранность совсем потерявшее еще до революции. Или же выходило, что не были революционерами ни подпрапорщик Шумейко, ни шпак Сухман, ни остальные их Крыленко, Дыбенко, Овсеенко и все их ко-ко-комитеты. Если революция выходила делом не созидательным, а разрушительным, то, конечно, указанные личности, бесспорно, являлись революционерами. Если же революция была делом созидательным, то революционерами являлись мы, офицеры, не желающие ни разрушения, ни самой революции, а своим сохранением старых понятий о чести и долге еще и желающие созидания.

Этак-то завернулось мне, когда я отметил страстное и ревнивое стремление ко-ко-комитетчиков оперировать новыми словами и тем отделять себя от серой шинели, от простолюдья.

Разговор со мной пошел не об убийстве Кодолбенко.

С меня только спросили, действительно ли он был убит из засады. Я подтвердил эту ложь. И мне было приятно, что никто ко-ко-комитету — даже и их ко-ко-комитетчики — не сказал правды, а все сказали ложь. При этом мне показалось, что Шумейко был удовлетворен ответом, а Сухман нет. Шумейко по

моем ответе несколько скособочился, и головой кивнул неопределенно на сторону, и плечом повел, мол, нет больше вопросов. А Сухман совсем нахмурился — так что захотелось спросить его, как спрашивали царевича Гвидона в сказке о царе Салтане: “Что ты хмур, как день ненастный?” Он, кажется, не поверил ни мне, ни казакам, ни своим ко-ко-комитетчикам. Может быть, инициатива застрелить меня в дороге и сказать, что застрелили меня из засады, исходила от него, а теперь ему говорили, что из засады застрелили того, кому застрелить меня было поручено. Было отчего нахмуриться.

Сухман с этой хмуростью и озабоченностью посмотрел на меня, но посмотрел не прямо, а вскользь, будто вовсе и не на меня, а на то, что за мной и моим ответом крылось, перекатил желваки, усмехнулся одной щекой. Тем он, кажется, хотел сказать о своем недоверии. Думаю, что он считал себя проницательным и считал при этом до поры необходимым эту проницательность скрыть.

— Да вы садитесь, — повторил он мне приглашение сесть. — Садитесь. В ногах правды нет!

— В ногах правды нет, но нет ее и выше, — не стерпел я сыграть роль и сказать об отсутствии правды в том месте, которым обычно сидят.

— Где выше? — насторожился Сухман, проницательно заподозрив в моих словах контру. — Где выше? Что вы имеете в виду?

— В том месте, которое выше ног! — сказал я.

— Вы, оказывается, шутник! — хмуро усмехнулся он. — А вместе с тем сейчас нам и вам, — он опять посмотрел куда-то позадь меня, — нам и вам сейчас вместе с тем не до шуток! — И снова повернул голову к Шумейко. — Товарищ Шумейко, зачитайте постановление комитета!..

— А что его читать! — вздернулся плечами Шумейко, возмущенный попыткой Сухмана командовать. — Что его читать! Без разрешения корпусного ревкома, в связи с тем, что имущество корпуса национализировано, — он с удовольствием произнес последнее и, по его мнению, красивое в своей необходимости для нового сословия слово, — национализировано и принадлежит власти солдат, рабочих и крестьян. В связи с этим ничего никуда никому — вам понятно, — снова запнулся он в незнании, как меня титуловать, господин или товарищ. — Так что вам понятно. Вы из корпуса в отпуске. И айдате поезжайте домой. Не надо никаких осложнений. Никакого имущества ни в Казвине, ни где-то не получайте. Не надо. Никуда не сопровождайте. А поезжайте прямо домой. Ревком корпуса вам вынес благодарность за службу революции за нынешний послецарский год в виде Георгиевского креста. Народ вы не угнетали. Ни поместья, ни фабрики, ни акций у вас нет. Так что поезжайте прямо домой и ни с какой контрой нигде не связывайтесь. Не надо… — он остановился, явно недовольный своей косной речью, в которой новых красивых революционных слов прозвучало совсем мало, и еще раз сказал. — Не надо!

Паузой его воспользовался Сухман. Я видел, насколько он был недоволен тем, что Шумейко вопреки его не то просьбе, не то приказу не прочитал постановление ко-ко-комитета.

— Вместе с тем мы надеемся на ваше благоразумие! — по-прежнему хмурясь, но после слов Шумейко с бархатом в голосе сказал Сухман. — Вы могли бы принять революцию, как это сделали многие ваши офицеры и генералы в России. Тогда бы мы вас оставили в корпусе, выдвинули бы на высокую должность. Но если вы хотите домой, мы могли бы вам выдать мандат, и там на месте, где вы собираетесь проживать, вас бы наша революционная власть приняла. Новая и бесповоротная жизнь заворачивается вместе с тем!

— Это все, господа? — спросил я.

— Это все! — стараясь вперед Сухмана, сказал Шумейко и похолодел глазами. — Советуем без этого, без всякого там! Иначе за неподчинение ревкому может быть и расстрел!

Сухман же совсем сдвинул друг к другу брови и собрал в пучок губы, прокатил желваки.

— Благодарю за оценку моей службы! — встал я.

А двери за собой я не успел захлопнуть, как услышал чисто уральский говорок.

— Маленькёй, а вонькёнькёй! — сказал кто-то.

Я вернулся, встал перед толпой ко-ко-комитетчиков, враз стихших и обернувшихся ко мне. Я увидел, им очень понравилось то, что кто-то из них это сказал, а я услышал и вернулся. Им бы не понравилось, если бы я не вернулся. Им было революционно скучно без действий, без показа своей революционной свободы и власти. Они искали повода показать их. Они его нашли в фразе, брошенной кем-то из них мне в спину с полным сознанием своей безнаказанности.

Они с вызовом и с насмешкой стали смотреть на меня. “Отчего ты вернулся и встал перед нами, ведь с тобой закончено, и товарищ Сухман с товарищем Шумейко или, наоборот, товарищ Шумейко с товарищем Сухманом тебя предупредили и тебя отпустили?” — говорили они внимательными и не совсем меня понимающими, но радующимися вдруг возникшему развлечению глазами. Мое возвращение их оскорбило. Они стали смотреть на меня с чувством оскорбленной справедливости. “Вы посмотрите-ка! — стали смотреть они на меня. — Его отпустили, а он лезет!” Они стали смотреть на меня так, будто не они меня оскорбили, а оскорбил их я. Да, собственно, так оно и получилось. Я оскорбил их уже тем, что не стерпел их оскорбления и вернулся перед ними, вернулся один против всех. Я в их глазах действительно оказывался вонькёньким. То есть справедливость действительно переходила на их сторону. И им было отчего сначала изобразить непонимание, а потом справедливо налиться ко мне злобой.

Мне же было все равно.

— Кто сейчас сказал про маленького и вонького? — спросил я.

Первым решением моим было схватиться за шашку. Кровь хлынула сначала мне в голову, потом выплеснулась в правую кисть, так что голове до колотья стало холодно, а тяжелая от крови правая кисть смогла бы сейчас развалить надвое любого из ко-ко-комитетчиков. Однако что-то подсказало мне, что это быстрое решение

сейчас не может быть лучшим, потому что сейчас я не в бою, а в революции.

— Кто сказал? — снова спросил я.

— Ну, я, а чо? — сказал кто-то, и я не увидел кто, а вся толпа ко-ко-комитетчиков в превосходстве и даже в каком-то великодушии на меня оскалилась, то есть широко и душевно рассмеялась.

Если встать на их точку зрения, то нельзя было не увидеть их великодушия. Ведь они могли бы меня сейчас просто-напросто взять на штык. Они же великодушно мне позволили встать перед ними и своим вопросом их оскорблять. Но и в следующий миг этакое великодушие должно было обернуться штыком в моем животе. Но мне уже было все равно.

— Если бы ты был не в толпе, а один, — сказал я в толпу, — ты бы сейчас передо мной тянулся и мордой своей изображал полнейшее подобострастие. Но ты — шакал. Ты смелым бываешь только в толпе!

Я повернулся и в глухом молчании сделал только два шага. Они отчетливо отметились стуком моих каблуков — тук, тук, и маленьким набатом моих шпор — тум, тум!

А потом будто посуда упала с верхних полок посудного шкафа. Так со смачным чирканьем, со скрежетом и треском, звонко, глухо и плещуще взорвалась толпа.

Глава 26

Но только на миг. Товарищ Сухман пальнул в потолок из револьвера — и толпа замерла. Штык в мой живот откладывался до следующего случая. Я снова спросил, кто же обозвал меня. И на этот раз толпа промолчала.

— Идите вместе с тем, — сказал товарищ Сухман, опять споткнувшись на слове “товарищ”.

— Слушаюсь! — издевательски откозырял я и ушел.

Толпа, то есть революция, нашла возможным ничем на издевательство не отвечать. И только потом я понял, сколько же меня берегли мои заступники Богоматерь и матушка с нянюшкой. Я это понял и вдохнул в себя здешний персидский воздух всей грудью, как бы брал его про запас. Мне стало больно, что я отрываюсь от Василия Даниловича, от Коли Корсуна. Мне стало больно, что я отрываюсь от моих терцев — вообще от всех нас. Все оставались здесь. Я же не должен был остаться. Я пошел к себе, как бы уже и не к себе. Я пошел, медленно оттягивая минуту, когда войду в свой кабинет в последний раз, а потом к себе в каморку, где мы обитали с вестовым Семеновым. Тыловые солдатики мне козыряли. Я им механически отвечал. И я думал — а почему именно мне выпало уйти. И опять какой-то дальней стороной, как бы на горизонте, мне приходило сказать благодарность и заступнице моей Богоматери, и заступникам моим матушке с нянюшкой.

— Сотник Томлин где? — спросил я у вестового Семенова.

— Так что! — улыбнулся он мне обычной своей улыбкой во весь рот. — Так что, где-то с ветеринаром Шольдером!

— Хорошо, — сказал я, попросил его что-нибудь мне приготовить, а потом велел вернуться. — Иван, — сказал я. — Мы с тобой два года. Я ничем тебя не наградил.

Он вытянулся.

— Рядовой Семенов, — сказал я. — Я благодарю тебя за службу! Если есть у тебя пожелания, я за завтрашний день их исполню. Тебе совсем не обязательно уезжать со мной. Я тебя оставлю хоть вот Коле, то есть капитану Корсуну, хоть попрошу зачислить в любой полк!

— Ваше высокоблагородие, позвольте с вами! — в отчаянии вскричал он.

— А кто же соблюдет Локая? — спросил я.

— Позвольте с вами! Разве я чем провинился! — снова вскричал он.

— Солдат! — приобнял я его. — Я не знаю, что мне предстоит. Я хотел домой. А теперь мне их превосходительство генерал Раддац ставит задачу пробиться на Терек к генерал-майору Мистулову. Ты-то куда со мной?

— Да вот с вами-то хоть куда! А тут на Терек! Это же — домой! — вскричал он.

Я пожал плечами.

— Так я — с вами? — спросил он.

— Ну, солдат, со мной! — сказал я.

— Премного благодарен! Да ведь я вот как вам отслужу! — вскричал он.

Я ему согласно кивнул.

А письмо от Элспет оказалось на русском языке! Конечно же — его перевел на русский лейтенант Дэвид, а Элспет переписала нашими, совсем чужими для ее пальчиков, но совсем родными для ее сердца кириллическими знаками. Еще раз скажу, нет смысла приводить текст письма, полного любви. Но сразу же за первыми абзацами, говорящими об этой любви, пошел текст, который… ну, вот как бы кто из нас отнесся, если бы получил то, что пошло в следующем абзаце? А там пошло — и это уже писал сам лейтенант Дэвид с согласия Элспет, там пошло мне в связи с нашими событиями предложение вступить в британскую службу, пошло со всеми обоснованиями и заверениями, что решение принято уже на самом верху, едва ли не у короля Георга. “Борис, — просила своими пальчиками Элспет. — Борис, ты не изменишь своей стране. Ты просто некоторое время послужишь в армии Англии. Мы будем вместе. А потом, когда у вас будет хорошо, мы с тобой поедем к тебе, в твою и уже мою Россию. Скажи “да!”, Борис! Я и сейчас готова пойти с тобой. Но нам здесь говорят, что у вас убивают всех офицеров, у вас совсем нет никакого закона. Зачем же я приеду, чтобы увидеть, как убьют тебя? Я возьму подданство России, я буду везде и всегда с тобой, хотя бы пришлось быть мне в вашей Сибири. Ведь смогла же уехать к вам в Сибирь и работать там в лепрозории наша сестра милосердия госпожа Мардсен! Я никогда не вздохну от усталости или сожаления. Борис, но это чуть позже. А сейчас, Борис, скажи согласие служить в армии Англии. Ты спасешься. И мы вместе спасемся. И, Борис…”

И, Борис, — а дальше были три слова с запятой: “Борис, я беременна! — Лейтенант Дэвид на самом деле хорошо знал русский язык, коли смог сказать это наше русское слово именно в русской интонации, сокращенно. — Я беременна, — написала своими пальчиками Элспет. — Я беременна, и скоро я уеду к родителям в Шотландию. Но лейтенант Дэвид все сделает, чтобы мы встретились. Нужно только через нашего у вас представителя сообщить о твоем решении”.

Сказали, что Николай Николаевич Баратов сейчас находится в Индии, то есть в Британии. Сказали, что командующий Черноморским флотом адмирал Колчак пошел в службу к Англии. Я вспомнил товарищей Шумейко и Сухмана. Я вспомнил покойного Кодолбенко. “Ко-ко-комытэт!” — вспомнил я гнев генерала Федора Ивановича Кравченко. И я вспомнил моего сотника Томлина, беспалого, не могущего мне помочь шашкой. Я вспомнил Василия Даниловича Гамалия, Колю Корсуна. Всех, с кем мне привелось судьбой быть вместе, я вспомнил, вернее, всех я представил единым целым, нахмуренно взглянувшим на меня. И потом за ужином они все смотрели на меня. Многие уже знали, что я поведу на Терек часть имущества. И многие просили замолвить за них слово у генерала Мистулова.

— Не с Кубани, так с Терека начнем! — говорили они.

Я согласно кивал.

На том же ужине я спросил Колю Корсуна о дашнаках — кто такие.

— А вон подполковник Казаров! Идем-ка к нему. Он все исключительно объяснит! — взял свой фужер с вином Коля Корсун.

— Казаров — дашнак? — удивился я.

— Да только ты и не знаешь! Все эти инородцы сразу всякие свои партии организовали за всякое свое национальное самоопределение. Якобы эта нынешняя сволочь объявила им свободу действий! — в неприязни хмыкнул Коля Корсун.

Как и большинство офицеров, подполковник Казаров относился ко мне хорошо.

— Борис Алексеевич! — взялся он рассказывать. — Ничего худого в том нет, что мы, армяне, создали свое национальное движение. Вы, русские, наверно, считаете, что спасли нас, присоединив малую часть Армении к себе. Мы понимаем, что не все зависело от России. Но посмотрите, господа. Постоянно не все зависит от нее. Постоянно она, выиграв войну, так сказать, на поле брани, проигрывает ее за дипломатическим столом. Сколько же можно это терпеть? Может, тем же нам, бедным армянам, стоит посмотреть на все по-другому?

— По-другому — обратно с Турцией? — спросил я.

— Борис Алексеевич, — спокойно сказал подполковник Казаров. — Без Турции нам никак не обойтись хотя бы потому, что почти вся Армения находится в Турции. И уж, прошу меня простить, вина за трагедию позапрошлого, пятнадцатого, года равно лежит и на России. Она захватила Ванскую область. Армяне поверили в Россию. Она же армян оставила. Турки — народ мстительный. Так что не все так однозначно. Мы создадим свое национальное государство, вернее, воссоздадим свое национальное государство, — а там на все воля Божья. Может, и у турок за все спросим ответа. Кстати, и к господам грузинам у нас есть очень нелицеприятный для них разговор.

— Полковник, — не поверил я услышанному. — Вы русский офицер!

Он улыбнулся.

— Вам, русским, держаться за Россию. Нам, армянам, держаться за Армению. И мы создадим Великую Армению в прежних ее пределах. У нас на то есть историческое право. Вся восточная Турция — это армянские земли. Вся западная Персия — тоже армянские земли У нас больше прав на персидский престол, чем у самих персов! Да я думаю, вы как образованный человек это и сами знаете! — с артистически спокойной гордостью сказал подполковник Казаров.

— Про ваше, так сказать, право на персидский престол что-то не совсем я уверен! — сдержал я себя от более резких слов.

— Отчего же, полковник, — артистически дружелюбно ответил подполковник Казаров. — Наша династия Аршакидов тому доказательством. Ее представитель, ну, если хотите, ее потомок — князь Владимир Николаевич Долгоруков-Аргутинский. Его род впитал в себя кровь византийских императоров и персидских шахиншахов.

— Эджизе мифарманд? Разрешите проститься? — только и оставалось сказать мне обычную персидскую фразу при уходе гостя из дома, а потом сказать Коле Корсуну: — Да-а-а. И это русский офицерский корпус!

— Сдадутся туркам, англичанам, немцам, зулусам, абиссинцам — кому угодно, лишь бы досадить России! Вот так, друг мой! — сказал Коля Корсун.

— Насосались маминой титьки и плюнули на нее! — сказал я.

Новая власть от всего открещивалась, все сдавала в единственном стремлении удержаться. Нас вынуждали оставить Персию. Но по здравому рассуждению, всякая душевно здоровая власть, всякое душевно здоровое правительство со всей неизбежностью видело бы наши политические и экономические интересы России здесь, в Персии, вообще на Востоке. За несколько месяцев властвования этой сволочью уничтожалась многовековая работа предшествующих поколений. И вся эта сволочь свято верила, что именно ей история поставила урок вершить судьбу своих народов.

— А ведь все придется строить заново. Все придется заново отмывать кровью! — сказал Коля Корсун.

— Может быть, я останусь? Может быть, мне к Шкуре или Бичерахову Лазарю Федоровичу пока уйти? — схватился я.

— Дома тоже надо наводить порядок. Кстати, слышал, эти, новая сволочь, в Москве по Кремлю из твоих орудий садили? — сказал Коля Корсун.

— А твои англичане с удовольствием на это смотрели! — оскорбился я за артиллерию.

— Англичане не англичане, но кто-то это ловко провернул! — не успел сказать это Коля Корсун, как вскинулся: — А, кстати, письмо от мисс Джейн получил?

Всю ночь я если и спал, то урывками. Я видел Элспет. И потом я стал рядом с ней видеть Ражиту — Ражиту не шестнадцатилетнюю мою невесту, а шестилетнюю Ражиту, мою дочь. Мне было хорошо видеть их вместе — Элспет с дочерью. Я подумал, пришло время быть мне отцом. Я их видел здесь, в Персии, в нашем Шеверине, и я их видел в Екатеринбурге, в доме моего батюшки, ныне принадлежащем сестре Маше с ее семьей, и я видел их на нашей бельской даче. Я летел к ним натурально по воздуху, как летают птицы. Вроде бы я летел в Шотландию, а выходило, что летел над бельскими лугами, над самой Белой или над нашими екатеринбургскими улицами. В воздухе я разворачивался, метался, искал направление в Шотландию. А у меня снова выходили если не бельские луга, если не екатеринбургские улицы, то обрывистые холмы противоположного берега Белой или вдруг никогда мной не виданная Бутаковка сотника Томлина. “И Ражита, увиденная мной в толпе персидских ребятишек Ражита что-то мне подсказала!” — пришло мне наконец.

Утром я написал Элспет: “Я люблю тебя и наше дите. Я к тебе и к нашему дитю приеду, как только восстановим в России порядок”. Было это высокопарно и по стилю лживо. Надо было написать просто и сердечно, надо было все объяснить. У меня не вышло. Я начал утро с этого письма. И я будто что-то разрезал.

— Нашивай, Иван, по две лычки на погон. Сейчас я испрошу у генерала Раддаца присвоение тебе младшего урядника! — сказал я вестовому Семенову и с тем ушел в службу.

Эрнст Фердинандович спросил, с которого года Семенов у меня в вестовых.

— С самого первого дня здесь, в Персии? И участвовал с вами в рейде? Мне казалось, Борис Алексеевич, вы более внимательны! — удивился он и велел писать представление вестового Семенова еще и к Георгиевскому кресту.

Утром же я узнал о возвращающемся в Керманшах небольшом транспорте. Меня будто ударило электричеством. Я нашел старшего транспорта сотника из третьеочередных.

— Сотник, вы знаете, где квартирует Терская батарея? — спросил я. — И вахмистра батареи Косова Касьяна Романовича знаете?.. Ну, вот, превосходно! — обрадовался я его утвердительному ответу. — У меня просьба. Передайте Касьяну Романовичу в подарок моего коня. А я ему вот и дарственную написал!

— Так точно, ваше высокоблагородие. Трудов не станет. Исполним с нашим удовольствием! — козырнул сотник.

Я проехал с Локаем от штаба корпуса с полверсты, спешился, схватил его морду к себе.

— Там твой друг Араб. Тебе будет там хорошо! — задрожал я голосом.

Ему мое объятие не понравилось. Он дернул головой.

— Пошел! — шлепнул я его по шее.

Один из казаков привязал его поводом к фуре.

— Доставим, ваше высокоблагородие! — сказал старый сотник.

Локай пошел за фурой покорно и без оглядки. Я тоже пошел, не оглядываясь.

— Нет, пошло все вон! — погнал я полезшие воспоминания.

Слов я не мог выговорить и только по-вороньи вскаркал да утер лицо рукавом.

Видимо, догадавшись о том, что произошло, Локай в тревоге заржал. Я заставил себя не оглянуться.

— Куды, куды, волчья сыть! — донесся от транспорта злой крик.

От картинки, как он рвется с повода и забегает вперед крупом, как тянет морду назад, спрашивая меня: “За что?” — я лишь ускорил шаг.

— Отдал? — спросил сотник Томлин.

Я смолчал.

— Сам служивый — так нечего всякие привязанности разводить. Сердце-то, небось, поберечь надо! — сказал сотник Томлин.

Как уладилось с выяснением причин и зачинщиков погрома — я уже сказать не могу. Но погром был просто неизбежен. Хамадан, как, впрочем, и Керманшах, не

говоря уж о тыловых городах, просто кишел солдатской вооруженной и бездельной массой. Казачьи части держали позиции. Но после многочисленных и злых споров между казаками и ко-ко-комитетами было принято решение в случае приказа выводить из Персии первыми те части, которые первыми в нее вошли, то есть полки Первой Кавказской казачьей дивизии. По расчетам, организованный вывод войск занимал не менее четырех месяцев. То есть вошедшие в Персию последними многочисленные пехотные части, разложившиеся еще на своих позициях других фронтов, должны были четыре месяца наблюдать уходящие мимо них домой казачьи войска. Этакого стерпеть солдатики просто не могли.

— Опять монашкам фарт! В Расею первыми их гонють, штыбы, как у пятом годе, революцию секчи! — закричала солдатская масса и без спроса, в беспорядке покатила домой.

По карманам у солдатиков вместо сухарей, денег или хотя бы командировочных аттестатов на довольствие были патроны. Вокруг же солдатиков было манящее восточное изобилие базаров невоюющей страны. Это несоответствие не могло не вызвать погрома.

Прибавил градуса солдатикам в их так называемом справедливом гневе самовольный уход Первого Горско-Моздокского казачьего полка. Моздогорцы ушли, получив известие, что инородцы захватывают их земли, жгут их станицы, угоняют их семьи в горы.

— Моздогорцам можно, им прощается! — постановили другие полки.

Странным было слышать от солдатиков, от мужиков то, что казаки отпускались в Россию, чтобы “революцию секчи”. Никого они особо не секли. Может быть, кого-то попотчевали в Москве, где беспорядки, так сказать, революционного пятого года вылились в вооруженный мятеж. Так много ли мужиков из этих, что сейчас кричали, были в то время в Москве! Выходило, кричали с чужих слов, то есть занимались, говоря на жандармском языке, пропагандой. У нас в Екатеринбурге расквартированные казачьи сотни как раз сдерживали пьяные уголовные толпы и эту пропаганду от попыток погромов.

— Вот что, Лексеич. Я с тобой на Терек не пойду. Мне с моими паклями домой пора. За зиму, поди, доберусь. Ты — как знаешь. А я — в Бутаковку. Там, поди, букейские лапотники мою избушку тоже объявили опорой империализма и контрой да прихватили под какие свои нужды! Может, в ней они свою комитету устроили! — сказал сотник Томлин на прощальном ужине.

— Но до Баку хотя бы — вместе? — спросил я.

— До Баку — вместе. Может, и до Терека — вместе. А с Терека — я домой, и ты не серчай! — сказал сотник Томлин.

Глава 27

— Так! У вас приказ командующего. А у нас приказ ревкома. Никаких орудий — никому и никуда! — сказал мне Казвин устами и суровым взглядом комиссара Стаховского, явного шпака, хотя и одетого в новую офицерскую гимнастерку.

Уже наученный иметь дело с ревкомами, я потребовал встречи с председателем, так сказать, товарищем Шах-Назаровым. “Не дашнак, так мусаватист, а то и вовсе большевик, или эсер, или вообще потомок Сасанидов, то есть того Дария, который сидит на Бехистуне!” — сказал я, некоторым образом просвещенный разговором с подполковником Казаровым.

— Товарищ Шах-Назаров — уже не председатель! — ответил Стаховский.

— Я не настаиваю именно на Шах-Назарове. Я прошу встречи вообще с председателем, будь он хоть Елизарихина коза! — вспылил я подвернувшейся на язык обычной нянюшкиной присказкой. “Нянюшка, а ты знаешь, что короля в Абиссинии называют не король, а негус?” — гордый показать свои знания, тащил я нянюшке свежий еженедельник “Нивы”. “Боренька, да назови его хоть Елизарихиной козой, только бы народу житье было!” — отвечала нянюшка, не отрываясь от прялки.

— За оскорбление революционной должности мы вас арестуем! — набычился Стаховский.

— А вы скажите сначала, кто есть кто! А то вы даже сами не представились в ответ на мое представление! — постарался я сменить тон.

Стаховский крякнул стулом, совсем как Сухман, скривил щеку, прикашлянул, вероятно, размышляя, стоит ли метать революционный бисер перед буржуазной сволочью, — именно так революция стала называть нас, хотя излишне говорить, что к буржуа мы никакого отношения не имели.

— Так, — наконец сказал он. — Так. Я товарищ председателя Стаховский, представитель центра!

— Центра чего? — спросил я.

— Центрального революционного комитета Российской республики! — с напряжением в голосе сказал Стаховский.

— Прошу прощения. Мы с фронта. Туда телеграф и газеты не доходят! — изобразил я некого придурка.

— А председателем ревкома теперь товарищ Владимиров! — с тем же напряжением сказал Стаховский.

— Ну так вот и дайте мне встречу с ним. Я же не могу не исполнить приказ командующего, как, скажем, вы не можете не исполнить приказа ревкома! — сказал я.

— Товарищ Владимиров в Керманшахе. И у нас постановление ревкома, никакого имущества без его резолюции не выдавать, тем более вам, явившемуся от

командующего. Вы это имущество либо англичанам продадите, либо против революции обернете! — сказал Стаховский.

— Товарищ комиссар! — впервые употребил я слово “товарищ” не в прямом его значении сподвижника, приятеля или заместителя начальственной должности, а в качестве обозначения титула. — Товарищ комиссар! Ну так свяжитесь с товарищем Владимировым по телефону. Пусть даст резолюцию! Ведь я повезу орудия не к англичанам, а в Россию! Для России я их сохраню!

— Для России — это что значит, по-вашему? Это значит “война до победного конца”? Вы что, не слыхали, что Совнарком заключил перемирие, и войне — конец? — снова набычился Стаховский.

Я понял, что продолжение разговора действительно закончится арестом, и снова решил словчить.

— В таком случае напишите мне резолюцию об отказе! — попросил я.

— Не могу. Не имею полномочий! — что-то поприкидывая в уме, отказал Стаховский.

— Кто же может? — спросил я.

— Ревком, — сказал Стаховский.

— Где мне его увидеть? — спросил я.

— Я представляю ревком! — сказал Стаховский.

— Поздравляю вас. Вот вы мне и подпишите отказ! — сказал я.

— Не имею полномочий, — сказал Стаховский.

— Да что же вы за власть! Как же вы руководите! — опять вспылил я.

Стаховский, явно оскорбившись, уперся взглядом в стол, напрягся в плечах, затаил дыхание. “Сейчас вызовет караул!” — мелькнуло мне.

Но новая сволочь, то есть власть, была дисциплинированней своей предшественницы, так называемой временной власти.

— Вот что я вам скажу, как вас там, представитель командующего! — не поднимая глаз, сказал Стаховский. — Поезжайте в Энзели. Там сейчас представитель Совнаркома товарищ Блюмкин. Если он даст резолюцию — везите орудия хоть… да хоть в море их утопите! Не даст… Одним словом, поезжайте!

— Слушаюсь, — сказал я.

Уловка моя с получением письменного отказа имела тот смысл, что я был предупрежден о наличии здесь, в Казвине, двух противоборствующих, но равных сил, — этого ревкома и постоянно саботирующих его приказы, или, как выразился Стаховский, его резолюции, остающихся еще верными присяге служащих в управлении тыла. Силы были равны. И если бы я сразу пошел в управление тыла, меня вполне могли бы отправить в ревком. А на отказ ревкома они могли ответить вполне соответственно. Я пошел в управление на авось.

— Борис Алексеевич! — встал мне навстречу молодой поручик, тотчас позвонил обо мне в артиллерийский парк.

Через час я был в парке, на огороженном колючей проволокой пустыре с рядами брезентовых палаток, штабелей под брезентом и зачехленных орудий, привезенных сюда для ремонта. Караул строго проверил мои документы и дал провожатого к начальнику парка капитану Сидоренко.

— Вы видели, что творится! Это непостижимо! Это приближение конца света! — после рукопожатия воскликнул он.

Я только махнул рукой.

— К делу, дорогой Алексей Иванович! — сказал я.

— Если к делу, то дело обстоит вот так! Пока мы игнорируем ревком. Сколько мы так продержимся, не знаю. Думаю, сметут нас к чертовой матери! Но пока не смели, мы потихоньку саботируем. У нас готова к эвакуации сводная батарея из шести орудий разного калибра: три пушки полевые трехдюймовые, мортира и два горных орудия. Разумеется, все держим в тайне и ищем момент вывести ее из-под ревкома. На Кавказе начинается большая заваруха. Ну да вы знаете. Инородец и иногородец, то есть горцы и мужики, почуяли эту треклятую свободу. “Грабь награбленное!”, так сказать. Солдатня распустилась абсолютно. У нас не было уверенности пробиться в Энзели, а потом на Терек. Чем ближе к Энзели, к порту, положение становится вообще ни к черту. Абсолютный разбой. А у нас семьи. Не у всех, слава Богу. Но несколько семей имеет место быть. И мы не решались — своими силами. А вот с вами сразу прибавилось уверенности. С вами дело сладится. С вами мы уведем эту батарею. А пока лучше всего вам изображать, что ничего у вас не получается! — сказал капитан Сидоренко.

— Вы тоже с нами пойдете? — спросил я.

— Нет, Борис Алексеевич! Я остаюсь. Мне уходить приказа не было. А ревкому о батарее я доложу, если хватятся, что ушли тайком и самовольно. Сейчас такое — сплошь и рядом. Думаю, обойдется! — сказал капитан Сидоренко.

Мы пожали друг другу руки.

Вечером офицеры собрались в комнате временного командира батареи поручика Мартынова. Керосиновая однолинейная лампа едва выхватывала стол, на котором стояла. Офицеры сели в круг. Я попросил их представиться — сказать, где служили, и сказать о семейном положении. Было их с поручиком Мартыновым восемь, все молодые, выпуска военного времени, все горящие желанием служить Отечеству. Я со своими двадцатью девятью годами и чином казался им древним дедом из легендарных времен войны с хазарами.

— Прапорщик Головко, холост, в действующей армии с апреля нынешнего года! — стали они мне представляться. — Прапорщик Кабалоев, холост, в действующей армии с июня семнадцатого! Прапорщик Аверьянов, холост, на фронте с июня семнадцатого! Подпоручик Языков Степан, женат, жена здесь, в парке, жена беременна, в Персии с апреля семнадцатого, отчислен солдатским комитетом Михайловской крепости как сверхначальнический! Подпоручик Джалюк Иван, в

Персии с сентября семнадцатого, до этого командир команды конных разведчиков семьдесят восьмого Навагинского полка, орден Станислава третьей степени с мечами и бантом, женат, жена в Полтавской губернии у родителей! Поручик Виктор Иванов, холост, в действующей армии с сентября шестнадцатого года, дважды ранен, орден Станислава третьей степени с мечами и бантом, в Персии с лета нынешнего года! Подпоручик Сергей Смирнов, в действующей армии и в Персии с декабря шестнадцатого, холост! — представились мне молодые офицеры.

— Я вас видел в Курдистанском отряде полковника Горбачева! — сказал я подпоручику Смирнову, конечно, вспомнив рассказ шофера Кравцова о трагедии его сестры со сватовством подлеца Аганова.

— Так точно, господин полковник! Я вас тоже там помню! — покраснел он.

— Ну и я, поручик Мартынов, женат, но жена с лазаретом ушла в Россию месяц назад, и больше вестей от нее не имею. По выпуску я среди всех здесь самый старший, потому и выбран командиром. В Персию прибыл с Западного фронта! — представился последним поручик Мартынов.

— Так, — подвел я итог. — Все представляете, на что мы идем?

— Так точно, господин полковник! — хором ответили молодые офицеры.

— Вы остаетесь здесь до благополучного разрешения вашей жены! — сказал я подпоручику Языкову.

— Я не могу оставить своих товарищей! Мы дали друг другу клятву! — запротестовал он.

— Как старший по званию и должности я с вас клятву снимаю. Вы должны сберечь жену и ребенка! — приказал я и сбавил тон: — Кстати, с которого времени вы были в Михайловской крепости?

— С выпуска, с сентября шестнадцатого! — сказал он.

— Начальник гарнизона его превосходительство генерал-майор Владимир Платонович Ляхов? — спросил я.

— Так точно! — сказал он.

— А из штаба гарнизона поручик Шерман вам знаком? — спросил я.

— Штабс-капитан Шерман? Да, знаком! Как же его не запомнить! — улыбнулся он.

— По-прежнему шумен? — спросил я.

— Так точно! — снова улыбнулся он.

— Я из академии выпустился в Батумский гарнизон, в четвертую полевую батарею, командиром, — сказал я.

— Господин полковник! Разрешите! У нас будет возможность поговорить о Батуме! — в надежде блеснул глазами подпоручик Языков.

— Отставить! — сказал я.

— Но, господин полковник! — по-ребячьи запротестовал он.

— Отставить! — сказал я.

Мы стали обсуждать предстоящее нам мероприятие.

— Люди, как видите, все надежные. Кроме господ офицеров есть несколько специалистов — фейерверкеры, канониры, разведчики, связисты, расчетчики. Есть шорник. Всего шестнадцать человек. Не хватает ездовых. Но это мы преодолеем. В конце концов, сядем на направляющих в уносах сами. Но настоящая беда — не хватает лошадей. Сейчас у нас шесть уносов. Это на два орудия. Есть договоренность с офицером отдела конского запаса поручиком Семиным. Он готов поставить еще два десятка лошадей. Но их надо заполучить скрытно.

— Дорогу себе хорошо представляете? Пойдем ведь ночью, — спросил я.

— За дорогу у нас отвечает подпоручик Языков, — посмотрел в сторону несчастного подпоручика Мартынов.

— Я ее на несколько раз через Куинский перевал пешком прошел, отметил все препятствия и прочее! — доложил подпоручик Языков.

— Но… — хотел сказать я об оставлении его в парке.

— Вместе с подпоручиком Языковым дорогу ходил смотреть и я, — встал подпоручик Смирнов. — Но все же следовало бы его взять с собой, право, господин полковник! — стал просить он за товарища.

— Давайте считать, — сказал я. — Если считать по норме, тогда у нас хватит лошадей только на два орудия. Поручик Семин предоставит еще двадцать лошадей. Нет. Будем считать, что он предоставит только шестнадцать лошадей. Это еще на два орудия. И четыре лошади на все остальное. То есть по норме не получается. Задача — как выйти из положения?

— Уменьшить количество уносов в упряжке, — несмело, видимо, ожидая от меня если не подвоха, то какого-то такого решения задачи, о котором он догадаться не мог, сказал поручик Мартынов.

— И на трудных участках впрягаться самим! — сказал подпоручик Смирнов.

— Горные орудия повезти во вьюках, — сказал поручик Иванов.

— Всем идти пешим порядком, включая ездовых. Это уменьшит вес. Укороченным упряжкам будет легче! — снова сказал подпоручик Смирнов.

— А катеров, то есть мулов, достать нет возможности? — спросил я.

— Денег ни у кого нет. Разве что вооружиться революционной совестью да отобрать силой! — усмехнулся поручик Мартынов.

— Значит, нет. А из имеющихся и из обещанных лошадей нам известно, сколько коренных, сколько средних и сколько передних? — спросил я.

Молодые офицеры переглянулись. Поручик Мартынов сказал, что это им неизвестно.

— Ну, хотя бы по внешнему виду, которая массивнее, которая суше, можно определить? — спросил я.

— Да все одинаковые, все недокормленные! — сказал поручик Мартынов.

— Хорошо, утром я посмотрю сам. Единственный наш выход — уменьшить количество лошадей на орудие, самим идти пешим порядком, помогая лошадям на трудных участках. Тут я с вами согласен. Если нет вопросов, все свободны. Завтрашний день на подготовку. Выступаем в ночь на послезавтра. Думаю, излишне предупреждать о сохранении тайны, господа! — сказал я.

По уходе молодых офицеров поручик Мартынов еще раз коротко сказал о каждом. Все выходили надежными, готовыми на любые обстоятельства. Более всего меня заботила нехватка лошадей. По одному уносу в орудие не запряжешь. А если запряжешь, толку с того не получишь. Пара коренного уноса берет на себя четыре десятых всего усилия. Пара среднего уноса при этом берет только четверть. А пара переднего уноса берет три с половиной десятых. При оставлении только двух уносов усилие складывается как семь с половиной десятых. “Оставшуюся четверть будем дополнять собой! И возьмем минимум боезапаса, а горные орудия положим в зарядные ящики!” — с грехом пополам привел я расчет к нужному знаменателю.

Утром спозаранку мы с сотником Томлиным осмотрели лошадей.

— Не дотянут, — сказал сотник Томлин.

— Там увидим, — сказал я.

— У дженгелийцев, дал бы Бог, или у этой пьяни и рвани отбить, — сказал сотник Томлин про уходящие толпы солдат.

— Там увидим, — снова сказал я.

Я пошел в ревком, напустил там на себя удрученный вид и как бы в сознании невозможности выполнить поставленную мне задачу стал искать себе оправдания.

— Все вокруг дрянь, — стал говорить я. — Посмотрел я эти ваши пушки. Пригодны только для того, чтобы банником в них орехи толочь. Как же можно так допустить! Ведь это казенное имущество! Конечно, такое я не повезу никуда. Я соотнесусь с командующим. Это невозможно — выполнить его задачу. У меня на столе совсем другие данные были. Меня, выходит, обманывали. И я обманывал командующего! Но вы-то как, вы, власть, ревком, это допустили, господин Стаховский! Ведь это подсудное дело! Хотя что вы! — сбавил я тон. — У вас забот — невпроворот! Да и кто вам поможет! Одним словом, господин Стаховский, дайте мне документ, что имущество революционное и вы его мне не выдали! Отправлю я этот документ в корпус и со спокойной совестью отбуду! — сказал я и будто спохватился, конечно, все придумав заранее. — Господин Стаховский! — сказал я.

— Товарищ Стаховский! Пора привыкнуть! — исправил Стаховский.

— Прошу прощения! Товарищ, дайте мне еще от ревкома документ о том, что я, выполняя решение ревкома, не стал выполнять приказ командующего корпусом. Дома, в Екатеринбурге, я думаю, мне это очень пригодится. Кстати, товарищ Сухман мне такой документ предлагал, документ для ревкома в Екатеринбурге. Корпусным

ревкомом я награжден солдатским Георгием. И вот еще бы ваш документ! А, товарищ Стаховский! — в артистическом унижении попросил я.

Стаховский постучал пальцами по столешнице, понаклонял голову и так и этак, повзглядывал на меня с испытанием и вдруг хлопнут ладонью:

— А вот черт с тобой, подполковник. Контра ты явно та еще! Но чем черт не шутит! Сухман мне звонил про тебя и сказал, что ты постараешься любым способом что-нибудь увести по приказу командующего. Бумаги о том, что я запретил вывозить имущество, я тебе не дам. Командующий твой и без этой бумаги все хорошо знает. А вот если ты за ум взялся, я тебе бумагу о том, что ты добровольно послужил нашему ревкому, дам. Сухман говорил, что хорошо бы тебя привлечь на нашу сторону. Вот и… не здесь, так там, куда ты отбываешь, может, послужишь нашему делу! Ну, а контрой останешься, так тебя и там с удовольствием шлепнут!

Стаховский написал мне бумагу, озаглавленную словом “мандат”, поставил ревкомовскую печать, вручил, пожал руку, спросил, когда я отбываю. Я не ожидал такого успеха. Обманывать Стаховского выходило подло. Но иного выбора у меня не было. Ни я и никто из моих товарищей революции не ждал и не готовил и подлость в ранг революционного достоинства первым не возводил. Продолжая спектакль, я сказал, что сначала отбуду в Тегеран, несколько там отдохну, а уж потом поеду восвояси.

— Ладно. Только совет — сними погоны. Не раздражай людей. Тебе же меньше неприятностей будет. Привыкай к революции! — сказал Стаховский.

Я обещал. А когда вышел из здания ревкома, мысленно похвастался.

— Ну что, Селим Георгиевич? Как вы оцените мой курбет? — вслух спросил я прапорщика Альхави, так называемого нашего штабного хитреца.

Вечером я снял погоны и почувствовал себя так, будто на мне не осталось и исподнего. Что-то беспомощное и ущемленное почувствовал я в себе. Я становился обыкновенным пиджаком и шпаком. Империя, хотя бы лишь в моем представлении, больше меня не оберегала.

Вечером пришел подпоручик Семин из управления конского запаса и сказал, что шестнадцать лошадей он перегнал на вторую версту шоссе. Пригнать сюда, в парк, втайне от ревкома было невозможно. Я велел свести имущество только до самого необходимого — до запаса пропитания и минимум боезапаса для обороны. Лошадей впрягли по полтора уноса на орудие и по лошади на прочие повозки. В два ночи присели на дорожку, встали — и я велел подпоручику Смирнову пойти головным караулом. Он замялся и сказал, что головным караулом выступил подпоручик Языков.

— А жена? — спросил я, до того догадываясь, что моего приказа подпоручик Языков не исполнит, как, наверно, не исполнил бы его я сам.

— Она с нами. Мы ее посадили на зарядный ящик. Вы не беспокойтесь. Она все вынесет. Мы все просим за подпоручика Языкова! — сказал поручик Мартынов.

— Начнет рожать, роды будете принимать сами! — как-то по-детски пригрозил

я.

— Есть роды принимать самим! — вполголоса, будто мог услышать ревком, но дружно ответили молодые офицеры.

— Это первое и последнее невыполнение моего приказа. В дальнейшем — условия военного времени! — сказал я и снова услышал дружное “Есть!”.

Я поставил задачей в течение ночи пройти Юзбаш-чай — пока в него ревком не успел телеграфировать о нашем побеге. Здешняя дорога против наших, хамадано-ханикинских, была едва ли не идеальной. Она даже звалась шоссе. Здешние горы тоже отличались от наших. Они были преимущественно известковые и меловые — мягкие, подверженные разрушению и выветриванию, следствием чего являлись бесконечные осыпи, порой значительные и неожиданные. Горные массивы и кряжи, группами уходящие вдаль, были похожи на творения ваятелей и зодчих и были видны с перевалов за несколько десятков верст. Здесь было очень мало воды. Потому здесь практически не было жизни, и горы здесь отдавали некой зловещей и безотчетной тоской. Особенно странными были горы около Юзбаш-чая. Совсем голые, они были окрашены во многие цвета радуги, но радуги не веселой, а чахоточно больной, с характерным для чахотки ярким нездоровым румянцем или, того пуще, были окрашены в цвета гангрены. И так продолжались до Менджиля. А Менджиль, хотя и венчал собой горный массив, напоследок обдавал тоской иного рода. Стоял он на каком-то донельзя ветреном месте. Сколько я мог знать, в переводе с персидского Менджиль означал тысячу ветров. Из многих ущелий, веером расходящихся в этом месте, вырывались ветры и образовывали какой-то вечный сквозняк.

Юзбаш-чая мы за ночь не достигли. Уже Куинский перевал вытянул из нас все силы. Было невозможно объяснить, как мы с него не скатились обратно. Расчет движения мы не выдержали и далее. Получилось совершенно как в рассказе “Кавказский пленник” Льва Николаевича Толстого: то лошадь встанет, то колесо слетит. Подпоручик Языков, как знающий дорогу почти на ощупь, постоянно был в головном карауле. В черноте ночи, конечно, никого и ничего разглядеть было нельзя. Был слышен только гул молча идущей батареи и изредка вырывающегося из какой-нибудь щели ветра. На нас то сыпало крупой, то лило дождем. Я, несколько раз пропуская мимо батарею, пытался разглядеть на зарядных ящиках жену подпоручика Языкова. Но разглядеть я не мог и предположил, что она, возможно, лежит.

Перед рассветом, в девятом часу, подпоручик Языков доложил, что впереди Юзбаш-чай. Я велел приготовиться к бою и прорываться, невзирая ни на что. Подпоручику Языкову я велел быть при жене и спросил, как она себя чувствует.

— Крепится. Идет! — ответил он.

— То есть как идет? Идет пешком? — спросил я.

— Так точно. Сидеть она не смогла. Говорит, что ей сильно отдает тряска! — сказал он.

— Беременная женщина всю ночь идет пешком? — не поверил я и велел меня

привести к ней.

Подпоручик Языков подвел меня к некому маленькому, с кривой и распухшей фигурой солдатику.

— Анечка, вот познакомься, это наш командир полковник Норин! — сказал он солдатику.

— Очень приятно! Спасибо вам, господин полковник! — сквозь стиснутые зубы пропищал солдатик.

— Но почему вы не скажете, что не можете сидеть! Давайте мы вам приспособим что-нибудь, чтобы вы лежали! — сказал я.

— Не беспокойтесь, господин полковник, спасибо. Я пробовала лежать. Но становится еще хуже. Мне легче идти. И это лучше, чем остаться в Казвине. Это я заставила Степу, то есть подпоручика Языкова, пойти на нарушение вашего приказа. Вы его простите! — едва сдерживая боль, пропищал солдатик и еще раз сказал, что ему, то есть ей, Анечке Языковой, лучше идти пешком.

В Юзбаш-чай мы вошли, как надоумился подсказать поручик Мартынов, с красным флагом и готовые на ответ огнем, если бы нас попытались задержать. “Как же все переменилось, если я, отказавшись стрелять в восставших против нас аджарцев, то есть в противника, теперь готов стрелять в своих же солдат!” — подумал я.

Наш побег еще не был обнаружен. Заспанные и ленивые, оборванные, неприбранные патрули с красными повязками останавливали нас. Я показывал приказ командующего и мандат ревкома. Патрули шумно зевали, обдавали зловонным дыханием, которое, кстати, было не зловонней нашего, чесались и махали рукой: “Айдате! Сейчас все тикают до России!” Ревкомовский автомобиль с пулеметом и взводом солдат догнал нас далеко за Юзбаш-чаем. Поверх нас с автомобиля прошла пулеметная очередь. Я велел смолчать, но в последнее орудие загнать гранату. Я написал на бумажке предупреждение, что всякого, кто нас попытается остановить, мы расстреляем из орудий, положил бумажку на дорогу, придавил камнем. Автомобиль остановился. Мы пошли дальше. Только один привал, самый первый после стычки с авто, нам достался спокойным. А потом арьергардный караул почувствовал погоню. Я велел ему прижаться к нам — смысла держать его на уставном расстоянии больше не было. Мы пошли, вернее, потащились. Мы потащились, спотыкаясь, падая, поднимаясь и поднимая плетьми и тычками в живот падающих лошадей, впрягаясь рядом с ними, цепляясь в колеса орудий и повозок, толкая их сзади. Мы слышали за спиной погоню. Анечку Языкову пробовали нести на руках. Молодые офицеры попарно, задыхаясь и неровно ступая, несли ее некоторое расстояние и в изнеможении падали на колени. На каждый их шаг Анечка, не выдерживая боли, кричала. Пришлось ее вести, поддерживая с двух сторон. И она, согнутая вперед и одновременно откинувшись назад, как какое-то диковинное японское деревце, мелко-мелко, но упорно шла. Несколько раз, отчаявшись видеть все это, мы укладывали ее калачиком на зарядный ящик. Но она, не выдерживая, снова поднималась, закусывала губы, закрывала глаза и шла. В ее темп батарея продвигалась еле-еле.



К вечеру погоня подкатила совсем близко. С нее замахали белым флажком.

— Переговоры! — донеслось нам.

— Никаких! — приказал я и опять оставил на дороге бумажку с предупреждением и советом не вздумать перекрывать нам дорогу.

Погоня подкатила снова.

— Мы знаем, у вас баба на сносях! Далеко не уйдете! Сдавайтесь! — закричали с автомобиля в рупорную трубу.

Я приказал орудие к бою. На автомобиле это увидели, слетели из кузова по придорожным камням. Автомобиль дал задний ход. Я в третий раз оставил на дороге бумажку. “Как вас увижу, так буду стрелять без промедления!” — написал я в распирающей меня ненависти. Мы потащились дальше. Перед деревней Ага-баба нас с придорожных скал обстреляли залпами. Но, думается, это были не наши преследователи, а дженгелийцы. Мы ответили из винтовок — снизу вверх, вслепую. Залпы снова ударили. Я велел мортиру станиной опустить в канаву, отчего ствол ее задрался на пример орудия зенитного, приспособленного стрелять по аэропланам. Дали выстрел по одной из скал. Грохот выстрела и разрыва, содрогание скалы и тугой гул в ущелье впечатлили. Нас оставили. Но оказалось, что были убиты подпоручик Ваня Джалюк, ранены прапорщик Головко, фейерверкер и две лошади.

Идти еще одну ночь было бы гибельным. Упали бы все — и мы, и лошади. Я велел устроить привал. Раненых лошадей пристрелили, нашли в скале щель, соорудили нечто вроде печки, чтобы не было видно огня, разбили крышки зарядных ящиков, стали варить ужин, кругом ощетинились штыками. Ночью снова в нас стреляли. Однако обошлось благополучно. Ночью же умер фейерверкер. Его и Ваню Джалюка кое-как зарыли, кирками расковыряв ямку. Утром, едва собрались выступать, Анечка Языкова дико закричала. Начались роды.

— Степа! Я умираю! — закричала она.

— Отгородить шинелями место! — приказал я.

И так, в этом загороженном около трехдюймового полевого орудия месте, на шинелях Анечка Языкова через два часа дикого крика родила. Сам подпоручик Языков принял младенца, перерезал пуповину, завязал ниткой, обмыл его и жену. Младенца на руках понес подпоручик Смирнов. Младенец пищал. Его писк в наших ушах перекрывал гул движения батареи, вой ветра и дыхание не отстающей погони. Анечка не могла идти. Ее, как в гроб, положили в зарядный ящик. Подпоручик Языков сел рядом и держал ей голову. Чтобы не кричать, она зубами вцепилась себе в руку. Лицо ее стало зеленым.

Я обратил внимание, что мы никого не догоняем и никто нам не идет навстречу. Приходилось догадываться, что шедших за нами сдерживала погоня. А тех, кто должен был бы идти нам навстречу, задерживали на каком-нибудь этапе.

Еще прошел день. Мы прошли деревню Пачинар. Ни в Ага-бабе, ни в Пачинаре нас никто не задерживал. Ветер стал с каждым шагом все сильнее бить в лицо.

— Впереди Менджиль! — доложил головной караул.

— Поищите место, где в виду городишки занять позицию. Около моста нас явно будут встречать! — приказал я.

Я стоял перед городишком, прилепившимся к голым, словно побритым, скалам. Верстах в двух за городишком просматривался знаменитый Менджильский мост через реку Сефид-руд. По эту сторону моста была наша застава, по другую — караульная будка. Я послал туда верхом на лошадях разведку во главе с прапорщиком Кабалоевым. Я велел ему ни с кем не связываться — только вызнать, кто в городишке и кто на заставе, нет ли ревкомовцев. Я их ждал и в бинокль смотрел на мост и заставу. Мост был пуст. По многим рассказам, в Менджиле мало кто оставался на ночевку, потому всех направляющихся от Решта на Казвин, вероятно, задерживали в ближайшей к Менджилю деревне Рудбар. Если не здесь, то там, в Рудбаре, нас ждал неминуемый бой.

Меня окликнул поручик Мартынов. Я обернулся.

— Господин полковник, Анечка Языкова умерла! — козырнул он.

Я снял папаху, перекрестился, вспомнил Элспет. “Он, — безразлично подумал я о младенце, — остался без матери. А мой останется без отца!”

— Идем, поручик. Надо проститься! — сказал я.

Вся батарея была там. Передо мной расступились. Подпоручик Языков привязывал вьючком у Анечки подбородок. Она широко открытыми глазами смотрела на него. Рядом с уже не пищащим, а похрипывающим младенцем в руках стоял подпоручик Смирнов. Я показал ему закрыть Анечке глаза. Он тронул подпоручика Языкова.

— Глаза? — спросил подпоручик Языков. — Пусть. Хочу еще посмотреть в них…

Он справился привязывать подбородок, положил руки Анечки на грудь, привязал их и склонился к ее глазам.

— Похороним Анечку, где вы сочтете нужным! — сказал я подпоручику Языкову и пошел снова смотреть городишко и мост.

Прапорщик Кабалоев вернулся уже в темноте, доложил, что ни в городишке, ни на заставе ревкомовцев и вообще каких-либо встречных транспортов и людей нет. Он протянул мне бумажку. “Борис Алексеевич! — прочитал я. — Если вы помните Горийский мост, то вот он, его строитель Владимир Леонтьевич, ныне штабс-капитан и комендант сей заставы, перед вами! Не мешкайте. Милости просим к нам!” И опять, как при прощании с Локаем, у меня дрогнул голос.

— Слава тебе, Господи! — перекрестился я и сказал прапорщику Кабалоеву вести батарею на заставу. Сам я пошел с арьергардным караулом. В какие-то секунды, пока ветер одного ущелья уходил, а ветер другого ущелья запаздывал, я услышал совсем рядом тарахтенье автомобиля, успел оглянуться и закричать команду ложиться. Длинная пулеметная очередь прошла над нами так низко, что, не случись нам вовремя упасть, она прошла бы по нам. Автомобиль сразу же стал давать задний ход за скалу.

— Ребята! Огонь! — закричал я и выстрелил в автомобиль весь барабан.

Расстояние было сажен пятьдесят. Из револьвера я едва ли кого-нибудь достал. Автомобиль в ответ успел еще выстрелить по нам, но тоже не прицельно и безрезультатно.

Мы прошли городишко и вышли к мосту. Нас встретил сам Владимир Леонтьевич. Нужно было видеть, какой радостью пылал он. За два года он посерел, стал серебриться висками и бородкой. Надо полагать, седина его тронула не только из-за возраста. Он немного потучнел и стал несколько суетлив и в обмундировании довольно волен, чтобы не сказать неряшлив. Но все это потерялось в его искреннем радушии, в его крепком объятии, как и положено большому, могучему человеку, обнявшему меня с приклоном, то есть сверху вниз. Ответить ему радостью у меня не было сил.

— Да вы, батенька, с бородой и усами! Да вы, батенька, настоящий дженгелиец! — с восторгом, готовым брызнуть сквозь пенсне, стал говорить он. — Ай, хорошо! Вот где привелось свидеться-то! Вот хорошо-то! А я уже приказал баньку затопить! За три захода все помоетесь! И бельишко поменяем! Да и эту нашу серую спутницу прожарим, вшей-то! А мне ваш прапорщик грозит из орудий нас расстрелять, если мы не пропустим. Да не колонна ли подполковника Норина, спрашиваю. Так точно, отвечает, и всех расстреляем! — Я ему говорю, да погоди, прапорщик, расстреливать! Норин — это Борис Алексеевич Норин? Он: так точно! Я: да гони же аллюром три креста, докладывай, что его ждет старый приятель!

— Владимир Леонтьевич! Мы явно объявлены ревкомом самой черной или какой там контрреволюцией! У вас могут быть неприятности! — сказал я.

— Борис Алексеевич! Об объявлении вас таковыми сообщено по всей линии Казвин — Энзели. Да что с того мне-то! Мы изобразим, что вы захватили заставу — и все! И сейчас еще хорошо было бы, чтобы дженгелийцы напали! Вы бы дали пару уроков по поиску общей гармонии, а то шибко надоели своими домоганиями! — не переставал радоваться Владимир Леонтьевич и толкал меня за локоть к двери комендатуры, низкого и длинного деревянного строения, из высокой трубы которого дым, срываемый ветром, вылетал клоками.

— Погодите, Владимир Леонтьевич! Батарея, лошади, люди! — уперся я и велел поручику Мартынову послать сигнальщиков с лампой за мост.

По их огню мы сделали наводку на случай нападения, упрятали лошадей за ветер, выводили, напоили, дали корм. Я всем распоряжался. Но я все время чувствовал неясную, ранее не испытываемую тревогу. Эта тревога была иного свойства, нежели боевая, нежели перед боем или в бою. Ведь бой, как я уже где-то сказал, это та же обыденная жизнь, только до предела сжатая. Здесь же тревога была нежизненной, а какой-то будто сверхжизненной, можно сказать, декадентской.

— Вот он, Менджиль! — зло сказал я.

— Да будет, будет, батенька! — наконец решительно потащил меня в комендатуру Владимир Леонтьевич.

Перед крыльцом, как когда-то на Горийском вокзале, сердце у меня почему-то

дало сбой.

— Здравствуйте, Борис Алексеевич! — услышал я Ксеничку Ивановну.

“Вот Менджиль! Но зачем же?” — подумалось мне.

— Подпоручик Смирнов! Где младенец? — крикнул я, не зная, как мне быть.

— Он уже там, в тепле, ваш младенец! Татьяна Михайловна его обмывает! — сказала Ксеничка Ивановна.

— Как же вы здесь? — спросил я.

— Да вот. Мы с Татьяной Михайловной решили пробиваться к вам! — сказала Ксеничка Ивановна.

Как и меня, голос ее выдал. Она все поняла.

Издалека-издалека мне вспомнилась нянюшка. “Боренька, вставать надо! Коли ты упал — надо вставать. Еще упал — еще надо вставать. Когда бы ни упал — надо вставать. Так до самой смертоньки. А когда она придет, к упавшему ли, к подъявшемуся ли, — о том только Господь наш ведает. Но вставать и подниматься надо!” — сказала она.

— Ну, вот и славно! Пройдемте к Владимиру Леонтьевичу! — попытался сказать я радостно.

— Ну что, Григорий Севостьянович? — спросил я через час общего разговора сотника Томлина.

Он посморел на меня тоже с вопросом, скрутил свой мягкий ус в круассан.

— Ну, куды мы с емя? — сказал он по-бутаковски, посмотрел на свои культи и снова спросил: — Ну, куды? — И было ясно, что он говорил про Ксеничку Ивановну и Татьяну Михайловну, но как бы говорил он про них сообразно культям. — А им куда теперь?

— Значит, падать и вставать! — сказал я.

— Значит, падать и вставать, — сказал он